МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Облака

Калужский
литературный альманах

9

КАЛУГА
2026

ББК 84(2Рос=Рус)
О-16

Альманах издан при поддержке
Союза писателей России

Редактор-составитель
А. В. Трунин

Редколлегия:
М. А. Улыбышева
О. П. Клюкина
Ю. В. Холопов
П. С. Тришкин
П. Е. Топорков
И. А. Красовский
А. Ю. Убогий

Облака: Калужский литературный альманах / сост. А. В. Трунин. —
О-16 Вып. 9. — Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2026. — 336 с.

ISBN 978-5-908071-04-8

ББК 84(2Рос=Рус)

Адрес электронной почты редакции:
40oblaka2018@mail.ru

ISBN 978-5-908071-04-8
9 785908 071048

© Авторы. Тексты, 2026
© Трунин А. В. Составление, 2026
© Издатель Захаров С. И. («СерНа»). Оформление, 2026

СТИХИ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ





Марина Алексеевна Улыбышева — поэт, журналист, автор многих книг и публикаций в периодике. Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой, им. В. Берестова, им. Л. Леонова, им. И. и П. Киреевских, Международной премии М. Волошина. Награждена Патриархом Всея Руси Алексием II благодарственной грамотой, медалью Сергия Радонежского II степени и государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Работает на телерадиоканале «Ника ТВ». Член Союза российских писателей и Союза писателей России. Живёт в Калуге.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА...

* * *

Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Он и так довольно нервно машет раненой рукой.
И в поэта не стреляйте — он от чувств своих немеет,
когда бьётся и трепещет над горячею строкой.

Не стреляйте в это небо, в эту лестницу витую,
в этот замок, в эту память, свой револьвер теребя.
Не стреляйте в переулок и в аллею золотую,
а не то они сойдутся да и выстрелят в тебя

водомётами фонтанов, медным рокотом набата,
комаров очередями с тростниковых берегов,
пулемётною листвою, красным зёрнышком граната,
одуванчиковой пушкой и шрапнелью облаков.

Что тогда ты делать станешь? Как на мир поднимешь веки?
Удивлённый, просветлённый, что ты сделаешь тогда?
Как пойдёшь насквозь убитый и простреленный навеки,
утирая фраком слёзы? Слёзы горя и стыда.

* * *

Он смотрел, как июль подгорает с боков
и как август на солнце жмурится.
Он носил ей в карманах куриных богов.
Но она была вовсе не курица.

Он её поджидал у базальтовых скал,
где зарёй небеса оплавлены!
И куриных богов он по водам пускал.
И рапанов со дна вылавливал.

А она всё ходила в дыму голубом
и качалась на море, как лодочка.
А потом, словно чайка, махнула крылом,
уплыла насовсем белым облачком.

Он солёные слёзы в солёном солил.
Он хотел умереть. Но проснулся.
И куриных богов он о чуде молил.
Но никто не воскрес. Не вернулся.

Лишь сиял в небесах непроявленный лик.
И край неба играл сердоликами…
А потом он смирился и даже привык.
И рапанов однажды выкинул.

* * *

Я не помню тебя. Но помнит тело.
Тело помнит. Наверное, потому
ты из дальней дали в рубахе белой
снишься бедному телу моему.

Ты глазам моим снишься и ресницам.
Ты рукам моим снишься и плечам.
Потому-то, наверно, больною птицей
просыпаюсь и вздрагиваю по ночам.

И подолгу сижу в лабиринте комнат,
в безымянности смыслов, в беззвучье слов.
Что-то вспомнить пытаясь… пытаясь вспомнить…
Но я больше не помню… не помню снов.

ПАМЯТЬ

Новый люд зарю встречает.
Чает зрелищ, хлеба чает.
Ни за что не отвечает головой.

Масти бурой, масти карей
пролетает пролетарий
на трамвае по булыжной мостовой.

Ничего не происходит.
Только рожь, как месяц, всходит,
и звезда звезду уводит в хоровод.

Да летит по краю света
Веста — вечная комета.
А чему она примета — кто поймёт?

Вор — в законе. Вождь — в бетоне.
Рыба в жёлтой речке тонет.
Все готовы к обороне и труду.

Труд счастливой сделал маму.
У неё дыра в кармане.
Завтра выйду из тумана — и уйду.

А куда идти — неясно.
Дар случайный, дар напрасный…
В поле всадник мчит на красном на коне.

Да идут по бездорожью,
по распутью, по безбожью
дождь-калика или ангел в вышине.

СТАРАЯ КОФТА

Тусклая лампочка. Тусклая жизнь.
Тихо на ощупь за стены держись.
И пробирайся шажок за шажком
в дом, что как будто тебе незнаком.

Стены облуплены, выбит бетон.
Дверь издаёт непонятный субтон.
Сыростью пахнет, персидским ковром,
мылом, извёсткой и пыльным добром.

Слева комодец, а справа постель.
В этой ли комнате прячется цель?
Цель мирозданья и смысл бытия?
Нет, не видать. Только кофта моя.

Старая кофта — на локте дыра.
В ней молодой я была, но вчера…
По полу ходит сквозняк-дуралей.
Надо укутаться, станет теплей.

Евгения Киселева



Евгения Геннадьевна Киселева родилась в 1984 году в Москве. Окончила Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова. Работает в сфере здравоохранения. Участник литературных семинаров и мастер-классов. Многократно входила в лонг-листы литературных конкурсов в прозаических номинациях. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Нижний Новгород» и др. Дебютный роман «Круги человечьи» вышел в издательстве «Руграм» / «Пальмира» в 2026 году. Дедушка автора, Ефим Петрович Киселев, был родом из села Спас-Загорье Малоярославецкого района Калужской области. В Спас-Загорье по-прежнему стоит окружённый садом жёлтый бревенчатый дом, где автор проводила летние месяцы в детстве и куда часто приезжает по зову сердца и по сей день.

РУКИ В ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

1.

То был год слизняков. Вероятно, шли дожди, но их я не помню. Помню полчища мерзких слизней, атаковавших огород. Будучи ещё совсем ребёнком и едва возвышаясь над землёй, я смотрела на них почти в упор. И мои обязанности нравились мне ещё меньше. Со всех сторон я слышала вечное «надо».

Работа на земле — это бег по бесконечному кругу. Созидание путём непрестанных сражений. Едва отвоевав у сорняков пару грядок, оглянешься — и увидишь врага своего, подкрадывающегося сзади. Земля лучше знает, кого ей взращивать. И бессмысленно пытаться воспитывать её детей. Но для взрослых, чья жизнь — борьба, эта борьба превратилась в смысл жизни. Ранее, питаясь от земли, они относились к ней как к матери. Но со временем рос их аппетит к вмешательству в дела матери своей, и вот они уже пытаются руководить старушкой.

В глубине сада росла высокая старая сосна. Я часто подходила к ней, запрокидывала голову и разглядывала чёрные очертания её ветвей на фоне голубого неба. А потом поднимала к небу свои маленькие ручки, смотрела на них и улыбалась. Не вспомнить, кто и когда обронил, будто сосна — моё дерево. Но вера в это рождала мечты, что и я когда-нибудь стану такой же сильной, твёрдой, устремлённой в небеса. Иногда наши мечты — лишь предвидение неизбежного будущего.

Мир ребёнка мал, а ум спит. Или просто молча наблюдает, шпионит за происходящим вокруг. Он с рождения обладает неким неосознанным

знанием. Позже, когда ум начнёт пробуждаться, он погонится за знаниями новыми, но на бегу растеряет часть данного ему при рождении багажа. А то, что останется с ним, будет служить ему маяком на пути домой. Если останется.

Помню, я проснулась и увидела мать. Она подкладывала дрова в печку. Их потрескивание действовало успокаивающе, обволакивало обещанием тепла. А мамино лицо в доли секунды наполнило детское сердечко бескрайней радостью.

2.

То был год муравьёв. Отряды рыжих тружеников встречались на каждом шагу. И не только в саду — они успели отвоевать уже и крыльцо дома. Но оно и понятно. Здесь так долго не было людей. Муравьи приходят и берут своё, когда человек теряет уважение к земле и дому.

Мы вернулись сюда почти случайно. Взбив пыль на обочинах наукограда, подкатили к заборчику из ржавой сетки. Странно, я будто забыла, что ребёнком проводила на тех сотках каждое лето. Детство ощущалось полузабытым сном. Будто впервые увидела я жёлтый бревенчатый дом, перед домом — стареющую, но всё ещё внушительную лиственницу, тонкие ветви вишен, свисающие до самой земли. Над крышей дома возвышались кроны яблоневого сада.

Дом же полнился давно потерянными словами: сервант, сундук, калошница. И все они степенно ожидали нашего возвращения, будто оно было предрешено. Я провела рукой по ковру на стене. На фоне тёмно-синего неба и изумрудной зелени прогуливалось семейство оленей. И я непроизвольно поздоровалась с ними.

Стояла ранняя весна, когда ещё нечему порадовать глаз. Будоражило само наступление весны. От предвкушения чего-то нового, трепетного щекотало в горле. Только-только начинали прорезываться первые салатовые листочки, и в этих кружевах невидимый воздух обретал своё благодатное лицо.

Земля выглядела будто спросонья. Взъерошенная, непричёсанная, но выспавшаяся, она, казалось, тоже ждала нас. И стоило мне только ступить на неё, как я всё вспомнила. Меня не было здесь много лет, но земля ещё хранила мои следы. И я шла по собственным следам, точно зная, что именно повстречаю на своём пути.

Я подошла к сосне и обняла её. А вечером, как обещание, я посадила у дома две лилии, впервые погрузив с радостью руки в землю.

3.

То был год пауков. Великое многообразное множество их встречалось и в саду, и в доме. В детстве тень паука в комнате была поводом для искреннего страха и неиссякаемых рыданий. Теперь мы жили с ними бок о бок,

давно перестав замечать их вовсе. И если паучки — предвестники новостей, то впереди нас ждали тысячи сенсаций.

Я же была уверена: все новости со мной уже случились. Я приехала на любимую землю с любимым мужем. Мы вили гнездо вне большого дома — в маленьком сарайчике на две комнатки под кроной моей старой подруги-сосны. И там нам пели соловьи.

По субботам я с упоением скоблила, шкурила и красила наш сарайчик. Странно, ни разу не вспомнилось «надо». Он стал мне бесконечно дорог, как и земля, на которой он стоял. В моём детстве он был зелёным с бежевым кантом по верху. И я сохранила его природную расцветку.

С нежностью я ухаживала за растениями, поливала и рыхлила, полола сорняки, пробираясь даже в самые укромные уголки сада. И земля терпела меня и улыбалась мне сладкими ягодами и хрустящими огурчиками.

К двум первенцам добавился ещё десяток лилий. Я аккуратно вела их перепись в блокноте с пометкой: «мой сад». Милая наивность вкупе с впитанной с детства уверенность во владении землёй и способности установить на ней некий свой порядок. Вот только это мы у неё в гостях, и только она способна упорядочить нас.

4.

То был год лягушек. Мы заворожённо слушали их многочасовые концерты. Их песни были то восторженными, то нежными и печальными, но всегда страстными. Лилась тоннами вода с неба. Лились и слёзы. Нас стало на одного меньше, но, возможно, так и было задумано, и он был лишь гостем в нашей жизни.

Вода выгнала на поверхность червей и насекомых, и в ветвях сада поселились вороны. Их матерные крики резали уши и мешали внимать лягушачьим концертам. Но позже прилетели сороки и изгнали ворон. Сражение было бурным, но кратким. Сороки были красивее и молчаливее, и мы с благодарностью приняли их покровительство.

Вода дала жизнь сотням трав, которые заполонили всё вокруг, ликуя, разрастались, цвели, благоухали. Это был и их год тоже. Их фактурность достигла апогея, и уже далеко не всегда я решалась вырвать иной сорняк, невольно залюбовавшись его цельностью и достоинством.

Решив покончить со слезами, я много месяцев работала на износ. Я запирала себя в кабинете, решала задачи поставленные и надуманные. Но душа просилась наружу. Я чувствовала, что теряю. Вечерами я пробовала связывать слова в предложения, нанизывая их друг на друга. Предложения получались не всегда. Абзацы — ещё реже. Но время, затраченное на те попытки, тоже часть жизни.

Вода смывает всё наносное: грязь, и пыль, и мусор. Размывает гряды, старательно размеченные людьми. Может унести ведро, забытый инструмент и даже садовую мебель. Может забрать с собой и боль.

Однажды я разулась и вскоре узнала, что моя земля меня лечит. Я часами ходила босиком, ощущая ступнями каждую рытвинку, неровность, заострённую травинку. Я опиралась на землю, как на самого близкого друга, и она делилась со мной своей силой.

На следующий год более сотни лилий всевозможных расцветок расползлись по саду. От меня это уже почти не зависело. Кажется, я неосознанно начинала что-то понимать.

5.

То был год цикад. Весь мир вокруг стрекотал. Стрекот щекотал душу, вызывал волнение. Но не волнение, подобное тому, которое испытывает ребёнок накануне праздника. То было новое, взрослое волнение. Сродни волнению на пороге научного открытия. Или принятию того факта, что у всего в жизни есть свой смысл.

Я сажала ромашки, колокольчики и васильки. Я улыбалась им, а они подмигивали мне в ответ. Я подметала дорожки от опавших листьев и игл, но уже давно не охотилась на чистотел и крапиву, которые обрамляли сад и постройки. Их самовольная зелень радовала меня так же, как и всякая другая.

С течением лет я обнаружила, что умею видеть. И слышать, и осязать. Более того, умею всё это с новой, ошеломляющей глубиной. И чувствовать, чувствовать тоже.

А ещё я узнала, что по вечерам все кошки — серые. Что оказывается, в дни свадьбы майских жуков ты и сам можешь расправить крылья. Я узнала, что ежегодное возрождение природы — это миф. По правде, мир жив в каждой секунде, глубоко дышит и в зной, и в стужу. Где бы когда бы мы ни находились, миллионы ножек топочут вокруг нас, миллионы тоненьких голосков спорят между собой, миллионы крошечных сердечек бьются в разнобой.

Вновь и вновь обнимала я сосну. А потом смотрела вверх и тянула руки к её кроне, но всё ещё не могла дотянуться. И мне это нравилось, потому что так — правильно.

В конце лета я перекрасила сарайчик в голубой цвет и не ощутила измены. Лишь перемену, видимую для человеческого глаза, но ничтожную во времени.

Лилии уже давно не поддавались подсчёту. Выбросив блокнот с пометкой: «мой сад», я счастливо смирилась с тем, что сама более принадлежу саду, нежели он мне.

6.

Это был год бабочек. Год огромных аппетитных шоколадниц, которые плавно и не без труда перепархивали с цветка на цветок.

А жизнь текла размеренно, стремясь к окончанию. Абзацы слились в страницы, пухлое множество страниц, неповоротливых и уставших. Ум снова

спал, как в детстве, но продолжал наблюдение. А вокруг всё шло по кругу. Всё всегда идёт по кругу.

Я задремала и увидела мать. Она опять подкладывала дрова в печку. Намотав кругов, мы недалеко ушли от земли, огня и матерей. И это хорошо.

Сквозь мутные стёкла окон я снова вижу свои руки в земле и в небе. Я чувствую запах холодной почвы, слышу шажочки живых существ поблизости и биение их моторчиков. И ветерок касается моей кожи. Я мечтаю вновь встать на колени в гнилую прошлогоднюю листву и поклониться первым салатовым вестникам нового года. И ещё хотя бы раз обнять сосну.

Я из поколения, застрявшего между времён. Мы уже не в прошлом, но и в будущем нам нет места. Тут и закончатся наши дни. Мы ещё смутно помним свет керосиновых ламп, вкус чая из самовара и знаем, как выглядит колорадский жук. Но наши знания не нужны следующим за нами. У них всё своё, новое. Мы же тянем к ним путеводную нить, и нить эта истончается на наших глазах. Я рисую былинку, чтобы вплести её в ту нить. И тогда, возможно, вновь и вновь дети будут возвращаться, чтобы заново влюбляться в свою землю.



Александр Климов-Южин

Александр Николаевич Климов родился в 1959 году. Автор пяти поэтических книг. Соучредитель газеты «Театральный курьер». Лауреат литературных премий журналов «Новый мир», «Юность», «Литературная учёба», литературных премий им. Бориса Корнилова, «Югра», «Московский счёт». Стихи публиковались в журналах «Арион», «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов», «Нева» и др. Живёт в Москве, частый гость в Калуге.

МЫ ВСЕ ВЛЕКОМЫ ПОИСКОМ РОДСТВА

* * *

Летом дни становятся всё длиннее,
Ночи, соответственно, всё короче.
Времени на сон всё меньше и меньше,
Времени на бодрствование всё больше.

Отче наш, утро вечера мудрёнее,
Выпьешь чая с надеждой на вита дольче,
И уже не жалеешь слегка о прошедшем,
И уже не помнишь о днях истёкших.

Впрочем, время сузилось, дни короче,
Ночи, как вы поняли, всё длиннее.
Времени на сон всё больше и больше,
Времени на ВСЁ всё меньше и меньше.

Листья в кронах трогательней, чем желтее,
Реже лай собак, и беззвёздны ночи;
Чаще думается о наболевшем,
Рыщет ветер в кустах продрогших.

Тут предзимье (как я не люблю предзимье),
Потому что времени на жизнь всё меньше…
И зима, как актёр, в самом снежном гриме
Отдохнёт на паузе о дальнейшем.

* * *

Александру Бубякину

Идёт ли снег, фонарь ли светится,
Иль душно, как перед грозой;
То оттепель, то гололедица,
То наша улица весной.

Её мой друг с полёта птичьего
В подробностях изобразил
До верного, без глянца лишнего,
И мне, чтоб помнил, подарил.

На склад два выезда из фабрики,
А между ними пять домов.
И наш — не новенький, не старенький,
С двумя крылечками с торцов.

Проснусь ли, свет включу, бессонница,
На нашу улицу гляжу:
Закат, за крышу солнце клонится,
Из дома в дом перехожу.

Условность, думаю с усмешкою,—
Условна палая листва,
А эта улица Советская
Во мне, как майский день, жива.

Ожив, из чёрно-белой графики,
Соседи в мир спешат цветной,
Где едут лошади и ЛАЗики,
По нашей улице сквозной.

Весною крона липы всклочена,
Остановлюсь, застыну вдруг —
Табличка к двери приколочена:
«Здесь жил мой друг».

* * *

Я с рощей разговаривал и с полем,
Я у костра молчал, пил у воды,
Рассказывал я полю о футболе,
А роще — как причудливы плоды.

И всплесками река мне отвечала,
У плёса шелестели тростники,
А в сумерках жужжало, стрекотало,
Я Клязьме реки Южного Урала
Назвал, хоть реки эти далеки.

И ветер в кронах был мой собеседник,
Я каждому листку в верхах внимал,
Пень на поляне, стол и исповедник,
Я каялся, вдыхая можжевельник,
В грехах, а у костра всегда молчал.

Я каялся в оторванности вечной,
Что жизнь свою я у себя украл,
Живя вдали среди чужих наречий,
Когда в зачёт, но больше всё же в нечет,
Что завтра вновь Москва-базар-вокзал.

Как я устал от речи человечьей,
Как я от пустословия устал,
Всё это мной любимое поречье
На речи с вами я б не променял,

А предпочёл бы этот тихий вечер.
И мне совсем немного надо слов,
Чтоб передать, как редки наши встречи,
Как гриб у тропки бел и безупречен,
Как млечны очертанья берегов.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Галине Нерпиной

1

Иду ль к платформе от оживших дач,
Сирень прошла, ещё в начале лето,
Но жив во мне рассудок, мой палач,
Он мне твердит — вот кончится и это.

Он в линию прямую передач
Раскручивает циферблат, и где-то
Стоит последний столб, и сверху грач
Кричит — к-рр-ах, к-рр-ах — вот
кончилось и это.

2

Зимою жду, когда наступит лето,
А заблужусь, путь правлю на звезду,
Заранье зная, что пройдёт и это,
Что времени, как дождь, не пережду;
Как не замедлю у реки теченье
И в поле ветра не остановлю...
Всему в конце предвижу воплощенье
И всё же больше замысел люблю.

* * *

Я помню лес и все его тропинки,
Ведь я их изучал не по картинке:
В Шатеево под Талдомом, за Рузой
У Комлево и там, где Суходрев,—
С Эвтерпой, чуть рассвет, с незримой музой
Я в гармоничный ряд входил дерев.
И пусть однажды был я в нём, иль дважды,
Он мой, а остальное всё не важно.
Я помню лес, я по нему скучал,—
Все просеки его и все тропинки,
Приметы, ответвленья и развилки,
Где в снах и мыслях кроны привечал.
Мой милый друг, в твоих стволах гуляю,
Тебя насквозь и поперёк я знаю,
Все, все твои заветные места.
Пусть никогда не исчезает эхо,
И липа зеленеет, словно веха
Границ твоих, душа твоя чиста.
Твой воздух чист, и солнечны поляны,

Опушки грибоносны и медвяны,
Сквозь них я пробираюсь словно лось,
Лосю ж все наши разделенья странны
На области, на округа и страны…
Он здесь хозяин, я же только гость.

* * *

Вот наконец-то дождь
который обещали,
а я проснулся в шесть,
день был ещё в начале.
Сперва, почти шутя,
почти что понарошку,
рой капель залетел
в открытое окошко.
Едва успел закрыть,
как горсть по профнастилу
прошлась с разбегу так,
что Господи помилуй!
Дождь, гверсть таранит жесть,
по желобам чеканит,
пока не выйдет весь,
едва ли перестанет.
Я на него смотрю,
как он идёт по саду:
по клумбам, по кустам,
по вишням за ограду.
Как ели на бегу,
промокли словно спички,—
торопится успеть
на десять к электричке.
Торопится успеть
в проёме в щёчку чмокнуть,
торопится встречать
тебя, насквозь промокнуть.
И я смотрю, как ты
с зонтом идёшь по саду
в объятия мои,
и нет с ним буйным сладу.

ПУТНИК

Всё чаще, хоть и есть она едва ли,
Я думаю о той
Стране, где нет ни гнева, ни печали,
Лишь радость и покой.
Быть может, понимаю, что едва ли
Я добреду до той
Страны, где нет ни гнева, ни печали,
Лишь радость и покой.
Иду ли к ней или ещё в начале
Я отошёл от той
Страны, где нет ни гнева, ни печали,
Лишь радость и покой.
Иль, может быть, когда ступни не знали,
Упёрся посох мой
В страну, где нет ни гнева, ни печали,
Лишь радость и покой.
Как знать, когда надежды обветшали,
Был в шаге я от той
Страны, где нет ни гнева, ни печали,
Лишь радость и покой.
Пора домой, сквозь пройденные дали
Влачусь и поникаю головой,—
И нет во мне ни гнева, ни печали,
Лишь радость и покой.

КАЛУГА

Вячеславу Некрасову

Калуга — рыба есть такая
и город есть такой.
Про рыбу ничего не знаю,
но город точно мой.

Доподлинно с калужьими шипами
спускается к Оке,
с садами, флигельками и церквами…
Я с ним накоротке.

Живёт себе, на чай к друзьям заходит
тот город-домосед.
В нём правильно дорогу переходят —
лишь на зелёный свет.

В нём рёв не разрывает перепонку
(Он шепчет на ушко).
Дыхание в Циолковского воронку
я слушаю его.

КИНЕШМА

Поэма

Любимые, пишу вам:
Минул год.
Теперь ноябрь,
Как раз по эту пору
Я посетил вас в Кинешме.
Верней, как снег, свалился на голову,
Впрочем, тогда шёл снег,
Переходящий в дождь.
Не скрою, цель моя была не та,
Что я поведал вам, —
В командировку
Отнюдь меня никто не посылал.
Но я хотел увидеть вас спустя,
Смешно сказать, тридцать четыре года.
А в первый мой приезд мне было три.
И это, согласитесь, извиняет
Нелепо мною выбранный предлог.
Мотивы, побудившие меня,
Ну, как сказать, скорей, не побужденья.
Бессильны мотивации, они,
Быть может, суть души движенья.
Вот, вот. Пожалуй, так,
Я объяснил, надеюсь, хоть невнятно:
Мы все влекомы поиском родства,
Не кровного, а общего, людского.
А вы — родные мне, я это знал,
Я это чувствовал все годы,
Что прожиты близ вас, вдали от вас.
Да, вы — родные мне,
Нет, не по праву
Дружбы двух семейств,
По праву сердца, что вас любит так же…
Но нет, ни слова больше,
Я молчу…

. . . . . .

Я в воздухе, я первый раз лечу
На «кукурузнике».
Трясёт в воздушных ямах,
Я на коленях у отца, и мама
Напрасно приготовила пакет,
Ведь оснований для волнений нет.
Две женщины целуются,
А я гарцую на плечах у дяди Паши,
Они друзья, как выяснилось, наши,
И папа мой рулит велосипед.

. . . . . .

Но мне, признаться, право, непонятно,
Каким чутьём, когда открылась дверь
И я вошёл, чужой вам человек,
За паузой длиною в век
Всплеснулись руки изумлённо:
Павлик, смотри, ведь это Колин,
Колин сын.
Ужели я совсем не изменился?
И тут услышал я в ответ
Единственное, что хотел услышать,
Что мне не говорилось так давно:
Ты для меня ребёнок навсегда.

. . . . . .

Отец на вёслах, волжская вода.
И в воду погружённый детский пальчик.
И вслед за ним поскок бликует зайчик,
И первая на свете густера,
И длинное-предлинное «ура»;
Совместный отдых, превращённый
в действо,
И дядя Паша, сам как негатив,
Наводит беспощадно объектив
На всё объединённое семейство.

. . . . . .

А знаешь, тётя Тоня, я нашёл
Те фотографии,
Которых Пал Михалыч не отыскал,
И на одной из них
Я подле вас запечатлён,
А рядом склонилась мама,
Платье –
Тёмных слив в розетках
По нему рисунок.
Наверно, вы не вспомните,
Так вот, оно попалось мне среди тряпья
Случайно.
Я, признаться, плакал,
Я стал сентиментален и слезлив,
Но что же делать —
Слёзы есть молитва,
А я нечасто в церковь захожу.

Да что о грустном,
Если и грустить,
То лишь о том, что сохранить всех ближних
С рождения до смерти не выходит,
Хотя бы жизнь одну.
А о своей могу сказать,
Что я живу не так,
И это, к сожаленью, понимаю:
По молодости тянет в города большие,
Кажется, что в них веселье нескончаемо.
О если б!
Но тем милей провинция
И старость несуетная;
Вот бы где хотел
Я дни дожить свои.
Мне мил ваш город,
Весь его уклад неторопливый,
Размеренный.
И то, как Пал Михалыч
Легко меняет ватник на пальто,
Чтоб выйти в магазин,
Повязывает галстук.
Уж я не говорю о шляпе –
Она ему идёт.
Как он встречает вас после вечерни
У паперти в урочные часы,
Как знает Пушкина
И на досуге
Разглядывает лоцманскую карту,
И отмечает крестиком места
Былых рыбалок, славных и утешных.

. . . . . .

Голодные, мы за столом поспешно
Расселись. Пробка в потолок,
И шлейф за нею пенный, маслянистый,
А след всё ширился и обволок
Плафон вкруг люстры, белой и ребристой.
В бутылке оставалось два глотка,
Она была до странности легка,—
На этикетке зрела кукуруза,
Зато смеялись долго и от пуза.

. . . . . .

Я, посмотрев на потолок,—
Плафон был свежевыбелен,—
Припомнил невзначай подробность эту,
Как удивились вы,
Как чудно было вам,
По малолетству моему, конечно,
Я помнить просто этого не мог,
Но выкормыш китовой колбасы,
Я именно тогда себя и вспомнил.
До этого я спал, мои часы
Работали в беспамятстве,
Но Волга, заезжий зоопарк, полёт,
Всего два дня, и столько впечатлений –
И я проснулся, здесь, у вас, тогда,
Бесповоротно, зряче, навсегда.

. . . . . .

Я снова полечу на самолёте,
Хоть нет давно того аэродрома,
Войду в ваш город утром незаметно,
Увижу Волгу, стало быть, и вас.
Мы все идём против теченья
В прошлое,
И обдираемся, как жертвенная сёмга,
Туда, где были счастливы,
К истокам.
А я хотел, а я хочу сказать:
Тогда впервые и в последний раз,
Как оказалось, я был счастлив,
Счастлив,
Как больше не был счастлив
Никогда.

. . . . . .

Прощайте, Пал Михалыч, тётя Тоня,
Мы больше не увидимся, в затоне
Полощется стеснённая вода.
Письмо моё безбожно устарело,
Его теперь и посылать не дело,
Тем более что адрес — в никуда.

Андрей Убогий



Андрей Юрьевич Убогий родился в 1963 году в городе Железногорске Курской области в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Хирург-уролог. Автор нескольких пьес и книг прозы. Живёт в Калуге.

ЗОЛУШКА ИЗ МЕЩОВСКА

(святочная история в семи картинах)

Действующие лица

Евдокия Стрешнева — бедная девушка из Мещовска, ставшая в 1626 году русской царицей.

Михаил Фёдорович — первый русский царь из рода Романовых.

Лукьян Степанович Стрешнев — отец Евдокии, бедный дворянин, впоследствии тесть царя, боярин.

Марфа — инокиня, мать царя Михаила Фёдоровича.

Алексей — царевич, наследник престола, 7 лет.

Ирина — царевна, 9 лет.

Два стрельца.

Сенные боярыни.

Прислуга.

Ряженые.

Картина первая
«В ХИЖИНЕ»

Хижина обедневшего дворянина, мало отличная от крестьянской избы: образа, печь, лавки, сундук. На стене висит сабля и боевой топор. Зима: когда раскрывается дверь, слышней вьюга. Хромая, входит Лукьян Степанович Стрешнев: он несёт дрова, которые ссыпает к печи. Стрешнев похож на постаревшего богатыря, этакого Микулу Селяниновича, землепашца и воина. Видно, что он очень силён — и добр. Одет в кафтан сурового сукна и поношенные сапоги. Устало садится на лавку, потирая раненую ногу.

С т р е ш н е в . Да, поляка того краснорожего я всю жизнь помнить буду… Как саданул из пищали: коня подо мною убил, мне ногу поранил — да подбежал потом, чтобы саблею изрубить. Хорошо, Бог меня силою не обидел: отнял я у него саблю-то! (*Усмехается.*) Ну да ладно: сам покуда живой, и Москва от поляков свободна… Одна теперь дума осталась: как Дунюшку замуж выдать? (*Вздыхает.*) Кто возьмёт сироту, бесприданницу? Хорошо хоть, Григорий Волконский по старой дружбе её у себя приютил…

Скрипит дверь, воет вьюга — и входит дочь Евдокия в бедной шубейке, закутанная в платок.

С т р е ш н е в (*оборачиваясь*). Ктой-то там? (*Радостно.*) Дунюшка, радость моя!

Евдокия смахивает с плеч снег, разматывает платок, быстро крестится на образа, подбегает к отцу, обнимает его. Она легка, порывиста, искренна.

Е в д о к и я . Здравствуй, батюшка!

С т р е ш н е в . Здравствуй, доченька, здравствуй…

Видно, что отец и дочь любят друг друга, но и чувствуют друг перед другом вину. Отец — за то, что любимая дочь прозябает у дальней родни в положении золушки, а дочь за то, что любимый и добрый отец живёт так бесприютно и одиноко. Озябшая Евдокия прижимает ладони к печи.

Е в д о к и я . Господи, печь-то простыла совсем! Ну ничего, сейчас я её подживлю…

Начинает хлопотать у печи, ворочая кочергой и подкладывая дрова. Печь оживает, гудит, блики пламени озаряют хижину. Евдокия берёт скамеечку и садится в ногах у отца. Оба смотрят в огонь.

С т р е ш н е в (*ласково*). Гляди-ка, испачкалась… (*Отирает дочери сажу со щеки.*) Золушка ты моя!

Е в д о к и я . Как живёшь, батюшка?

С т р е ш н е в . Грех жаловаться, Дунюшка — и хуже бывало… Ты-то как, доченька?

Евдокия медлит с ответом, вздыхает. Видно, что она не привыкла и не хочет жаловаться — но и не может сказать отцу неправду.

Е в д о к и я . Бывает, что и невмоготу…

С т р е ш н е в . Обижают?

Евдокия (*с горькой усмешкой*). Ну, батогами покамест не бьют — и то ладно…

Стрешнев. Ах они, злыдни!

Евдокия. Совсем заели меня эти Волконские… За столом обносят, куском попрекают, хожу в обносках. Не пойми, кто я у них: не то родня, не то прислуга? (*Горячо*) Батюшка, родненький, возьми меня к себе жить!

Стрешнев (*утешая, гладит дочь по голове*). Как можно, Дунюшка! Ты же видишь: я живу, как последний крестьянин, — и пахать, и боронить, и косить самому приходится. Не каждый день в горшке каша есть… А заявись к нам опять поляк или турок? Меня же снова на рать позовут — как ты будешь одна? А так хоть сыта да обута…

Евдокия. Горек чужой хлеб, батюшка!

Стрешнев. Знаю, Дунюшка, знаю… Да ведь и жених тебе нужен какой-никакой — а кто ж тебя здесь, у печи, разглядит? Вон, замарашка какая… (*Опять вытирает дочери слёзы и сажу с лица.*)

Евдокия (*порывисто, гибко вставая*). Ладно, батюшка, бежать мне пора!

Стрешнев. Да куда же так скоро?

Евдокия. Боярышню в Москву собираем, на смотрины к царю.

Стрешнев. Какие смотрины?

Евдокия. Ай ты не слышал? По всей Руси кинули клич: царь-государь жену себе ищет. Говорят, чуть не сотню девиц во дворец повезут. Вот и наша боярышня, дочка Волконского, едет.

Стрешнев. Ишь, проныры какие!

Евдокия. И мне с нею ехать велят.

Стрешнев. А тебе-то зачем?

Евдокия. Да боярышня требует. Ты, говорит, Дунька, сказки ловка сказывать да песни играть — вот и будешь меня дорогою веселить. Вроде, значит, наперсницы…

Стрешнев. Ну поезжай, коли так: может, одним глазком и царя увидишь.

Евдокия. Робею, батюшка: как я во дворце-то явлюсь? Мне и надеть-то нечего…

Стрешнев. Погоди-погоди… (*Тяжело встаёт и, хромая, подходит к сундуку. Достаёт воинский шлем, дырявую кольчугу и боевые рукавицы, а затем, со дна, — бобровое ожерелье*). Вот, дочка, держи: последняя о твоей покойной матушке память — дарил ей на венчанье…

Евдокия (*примеряя красивое, в самоцветных камнях, ожерелье*). Красиво-то как — только грустно, хоть плачь… Ну, прощай, батюшка!

Накидывает платок, гибко кланяется, по обычаю, в пояс, затем — уже по порыву души — обнимает его и уходит за дверь, во вьюгу.

Стрешнев. С Богом, Дунюшка!

Крестит уходящую дочь, затем опять тяжело садится к печи. Трещат дрова, воет вьюга, грустит старый воин…

Картина вторая
«МАТЬ И СЫН»

Царские покои. На сцене столик с шахматами. Посреди горячего разговора то Михаил Фёдорович, то мать его Марфа делают ходы: каждый ведёт свою игру. Инокиня Марфа — она суха, строга, умна, энергична — недовольна нерешительностью сына: русский царь до сих пор не может выбрать себе невесту. А Михаил Фёдорович, при внешней мягкости и податливости, имеет несгибаемый внутренний стержень.

М а р ф а . Нет, ты подумай: перед ним шестьдесят девок — одна краше другой! — а он ото всех нос воротит…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Так ведь не шутка, матушка: жену себе выбрать!

М а р ф а . И что ж, ни одна не глянулась?

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Я, матушка, за нарядами да за румянами человека не могу разглядеть. Всё мне кажется — ряженые передо мной…

М а р ф а (*насмешливо*). Человека! Тебе не человек нужен — а баба, наследника родить. Была бы лицом бела да телом изрядна!

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . А как же душа?

М а р ф а . Что — душа? Тебе наследника душа рожать будет?

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Помилуй, матушка: неужто и впрямь ты так думаешь? Ведь я кого выберу — мне с нею и на этом, да и на том свете быть вместе придётся. Не приведи Бог, если злыдня какая меня прельстит!

М а р ф а . Что за злыдня?

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*усмехаясь*). А помнишь ту толстую, что у окна стояла? Лицом белая, важная — а глаза злые. Всё зырк ими, зырк — вот, кажется, дырку прожжёт… (*Смеётся.*)

М а р ф а (*тоже усмехаясь*). Да, помню: это Волконских девица. Похоже, и впрямь змея — да бесстыжая, раз на царя глаза подымает… Но род знатный!

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Так ведь не с родом жить, а с человеком.

М а р ф а . Опять за своё! (*Сдерживая раздражение, продолжает уговаривать сына.*) Но невесту всё ж таки выбрать надобно: вся держава твоего, Миша, выбора ждёт.

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Матушка, я понимаю — но сердцу ведь не прикажешь. Ну не могу я на этих кукол смотреть: все они — как неживые!

М а р ф а (*в душе сочувствуя сыну*). Тогда я тебе, Михаил, совет дам: обычай есть старый — тайные смотрины.

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Как это?

М а р ф а . А ты со свечой, ночью — по опочивальням пройди. Девки будут простоволосые да без румян и нарядов. Тут-то ты их во всём естестве и увидишь.

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*сомневаясь*). Они ж визг подымут — на весь дворец…

М а р ф а (*усмехаясь*). Небось побоятся! Ты всё же царь — а они кто? А и повизжат — не беда…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*задумавшись то ли над шахматным ходом, то ли над предложением матери*). Разве и впрямь попробовать?

Картина третья
«ЖЕНИХ В ПОЛУНОЩИ»

Дворец, ночь. По одну сторону сцены — двери опочивален девиц-претенденток. С другой стороны — образа и лампада. Михаил Фёдорович, со свечой в руке и в сопровождении двух стрельцов переходит от двери к двери. Сначала заходит стрелец — проверяя всё ли в порядке, — затем царь. За одной дверью слышен храп, за другой — стук упавшего в обморок тела.

Стрелец. Государь, она там в обморок грохнулась!

Михаил Фёдорович. Водой на неё побрызгайте… Дюже пугливых нам тоже не надо.

Стрелец заходит в следующую дверь, там слышен визг — и стрелец, защищаясь руками, пятится назад. Вслед ему швыряют подушку, из которой летят перья.

Михаил Фёдорович. Ну, потеха: ровно в курятнике: кто спит, кто квохчет с испугу! *(Вздыхает.)* А лица родного опять не нашёл: все чужие…

В другом углу сцены, у образов и лампады, появляется Евдокия Стрешнева: простоволосая, бедно одетая, со свечой в руке — такою же, как и свеча у царя, наблюдающего за нею. Не видя царя и стрельцов, Евдокия опускается на колени и начинает горячо молиться.

Евдокия. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную. (*Кланяется.*) Пресвятая Богородица, помилуй нас. (*Кланяется.*) Матушка-Богородица: ты же знаешь, как мне тяжело… Вот и нынче боярышня меня за волосья таскала. А за что? За то, что царь на смотринах мимо неё прошёл! А я-то, матушка, чем виновата? Меня там и не было вовсе! Но прости Ты ей злобу ея — не ведает бо, что творит в неразумии и по горячности…

Михаил Фёдорович, замерев и дав знак стрельцам не шуметь, с волнением слушает девушку.

Евдокия. Ещё матушка-Богородица, молю тя: помози батюшке моему, рабу Божию Лукьяну. Пускай рана его не терзает, а буде случиться ему воевать — сохрани его покровом Твоим святым…

Михаил Фёдорович (*стрельцам, вполголоса*). Пока все спят (*показывает на двери опочивален*), она одна молится! Ибо сказано: се, Жених грядёт в полунощи… И ведь не о себе, бедной, просит — других поминает. Вот это душа!

Михаил Фёдорович медленно приближается к Евдокии. Заметив его, та испуганно вскакивает. Встреча взглядов.

Михаил Фёдорович. Ты кто, милая?

Евдокия. Я Дуня… А ты кто?

Михаил Фёдорович *(несколько растерявшись).* — Я? А я царь…

Евдокия. Батюшки, царь!

Закрывает лицо рукавом и убегает. На полу остаётся гореть свеча. Михаил Фёдорович вопросительно смотрит на стрельцов — один из них поднимает свечу, подаёт царю.

Михаил Фёдорович (*держа две свечи рядом, задумчиво*). А личико-то заплакано… Как же её, голубушку, жалко — ажно сердце болит! Но блаженны плачущие, ибо они утешатся… (*Встряхнувшись от задумчивости, громко и властно.*) Немедля узнать: кто такая?

Картина четвёртая
«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»

Царские покои, утро после ночных смотрин. На шахматном столике опрокинутые фигуры. Марфа вне себя от ярости.

М а р ф а . Нет, Михаил, ты рехнулся! Она же пустое место: не то прислуга, не то наперсница — не пойми кто!

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*потупившись, но твёрдо*). Я узнал, матушка: Евдокия, сирота из Мещовска, Лукьяна Стрешнева дочь.

М а р ф а . Какой ещё Лукьян Стрешнев?

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Дворянин, в ополчении с Пожарским Москву освобождал. Говорят, их род от Рюриковичей ведётся.

М а р ф а . Брешут, небось: я все знатные рода знаю!

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*почтительно, но с вызовом*). Я вам, матушка, уже давеча говорил: не с родом жить, а с человеком.

М а р ф а (*почти не слушая сына, а держа в голове лишь государственные интересы*). Это же всем боярам как в бороды плюнуть: ваши девки нам, мол, не годятся — а нам подавай сироту-оборванку…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*неожиданно жёстко*). Ничего, утрутся бояре!

М а р ф а (*сбавив тон, с удивлением глядя на сына*). Неуж так по сердцу пришлась?

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Она у меня, матушка, в глазах стоит: как увидел давеча ночью — так покой потерял…

М а р ф а (*любя сына и желая ему добра, но всё ещё не сдаваясь*). А как же Россия — её интересы? Я день и ночь хлопочу, покоя не знаю, всё думаю как бы державу сберечь да твой род укрепить, а ты…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*перебивая её*). Вы, матушка, печётесь о многом — а есть единое на потребу!

М а р ф а (*немного насмешливо*). Ты про любовь?

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Про неё…

М а р ф а . Бога надо любить — остальное всё блажь!

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Кто не любит жену и детей — тот и Бога не любит. Ибо сказано: Бог есть любовь!

М а р ф а (*удивлённо*). И откуда в тебе что берётся? Вроде мягкий да робкий, а как упрёшься на чём — так тебя не своротишь! И слова-то знаешь, какие сказать — всё по Писанию… (*Задумчиво смотрит на шахматный стол с опрокинутыми фигурами, затем подходит к сыну, пристально смотрит ему в глаза — и, вздохнув, кладёт руку ему на плечо.*) Ну, будь по-твоему…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*облегчённо и радостно*). Стало быть, благословите?

М а р ф а . Что с тобой сделаешь, Мишенька? Благословлю…

Картина пятая
«В ОПОЧИВАЛЬНЕ»

Царская опочивальня в день свадьбы, 5 февраля 1626 года. В центре сцены пышная постель с балдахином: она из ржаных снопов, покрытых коврами, на которых лежат перины, подушки, одеяла и царская соболья шуба. Чтобы взобраться на высокое ложе, к нему приставлена лесенка. Вводят молодых: царь входит сам, невесту в тяжёлых нарядах (весящих более пуда!) поддерживают две сенные боярыни. За молодыми вносят жареную курицу, традиционное угощение для голодных новобрачных, и кувшины с питьём. Михаил Фёдорович тяжело опускается в кресло (известно, что царь смолоду «скорбел ножками»). Евдокия, склонив голову, стоит перед ним. Прислуга уходит.

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Ох, и долог свадебный чин! Ноги гудят — мочи нет…

Е в д о к и я . Государь, я разую тебя!

Опускается пред ним на колени. Сняв сапоги с ног царя, какое-то время Евдокия не в силах подняться: долгая свадебная церемония измучила и её тоже. Слышны свадебные песни и бубны: пир с уходом новобрачных сделался оживлённее. Михаил Фёдорович с наслаждением шевелит разутыми ногами. Затем снимает шапку и бармы (оплечье) — знаки царской власти.

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Вот счастье-то: облачение снять! Хоть снова себя человеком почувствуешь… (*Проходит по сцене, сразу сделавшись проще, естественней и веселее.*) Ты небось голодна?

Е в д о к и я . Голодна, государь.

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч (*с сомнением останавливаясь у столика с курицей и напитками*). Токмо со стола свадебного есть опасаюсь, да и тебе не позволю. Вдруг зелье какое подмешано?

Е в д о к и я (*изумлённо*). Неуж погубить нас хотят? А за что?

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Ох, Дуня, дитё ты ещё — людям веришь. Первую-то мою жену отравили…

Е в д о к и я (*крестится*). Господи, спаси и сохрани!

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Есть, однако, охота… Пойти, что ли, кликнуть верных людей?

Е в д о к и я . Государь!

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Что?

Е в д о к и я (*встаёт, достаёт из левого рукава пряник, протягивает царю*). Батюшка мой, Лукьян Степанович, после венчания сунул гостинец…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Ну давай хоть пряничка пожуём…

Преломляет пряник, протягивает половину Евдокии. Оба едят.

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Вкусно! А тесто какое?

Е в д о к и я . Наше, калужское…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . Ишь, ты! Надо будет запомнить… (*С удовольствием доедает пряник.*) Сразу и силы прибавились!

Он с удивлением смотрит на Евдокию уже не как на молчаливую, скромную и незаметную девушку — а как на помощницу и опору себе.

Михаил Фёдорович. Дуня!

Евдокия. Да, государь...

Михаил Фёдорович (*несколько раздражённо*). Что ты заладила: государь, государь? Можешь называть меня Мишей. Ну скажи: «Миша!»

Евдокия мотает головой.

Михаил Фёдорович (*требовательно*). Говори!

Евдокия (*с усилием*). Ми... Ми-иша... (*Смущённо смеётся, закрывая лицо краем платка.*)

Михаил Фёдорович. Ну вот, справилась! Чему ты смеёшься?

Евдокия. Да чудно́ это всё: я сейчас, как во сне. Вот проснусь — а кругом снова Мещовск...

Михаил Фёдорович (*ласково*). Эх ты, глупая! Мы теперь венчаны: а что Бог сочетал — того человек да не разлучит... Ну давай, теперь я тебя разувать буду!

Евдокия (*изумлённо*). Что ты, государь Миша!

Михаил Фёдорович. Не спорь!

Мягко подталкивает Евдокию к креслу, та садится. Царь тяжело опускается на одно колено, снимает башмачок с ноги Евдокии.

Михаил Фёдорович (*держа в реке башмачок*). Какая у тебя ножка маленькая: не то что моя, медвежья...

Евдокия (*лукаво*). Так на то ты и Миша...

Михаил Фёдорович. Верно, верно!

Оба смеются. Затем молодые встают. Михаил Фёдорович осторожно снимает с Евдокии то самое бобровое ожерелье с самоцветами — память о матери — какое вручил ей отец. Они стоят у лестницы — той, что должна возвести их на непростые высоты супружества — и слушают старинную свадебную песню.

Песня:

Вьюн над водой, ой, вьюн над водой, ой,
Вьюн над водой расстилается.
Жених у ворот, ой, жених у ворот, ой,
Жених у ворот дожидается.

Вынесли ему, ой, вынесли ему, ой,
Вынесли ему сундуки, полны добра.
— Это не моё, ой, это не моё, ой,
Это не моё, это батюшки мово.

Вывели ему, ой, вывели ему, ой,
Вывели ему ворона — добра коня.
— Это не моё, ой, это не моё, ой,
Это не моё, это деверя мово.

Вывели ему, ой, вывели ему, ой,
Вывели ему красу-Дунюшку.
— Это вот моё, ой, это вот моё, ой,
Это вот моё, Богом суженое…

Под песню молодые, поддерживая друг друга, поднимаются по лестнице. Уже и ложе остаётся внизу, под ними — а подъём продолжается…

Картина шестая
«ЦАРСКИЙ ТЕСТЬ»

Дворец, покои царского тестя Лукьяна Стрешнева. Теперь он одет богато: но видно, что роскошный наряд ему непривычен и неудобен. Лукьян осматривает саблю, проверяя: остра ли она? Беременная Евдокия навещает отца.

Евдокия. Как тебе тут живётся, батюшка?

Стрешнев. Ничего, дочка: на войне не пропал, в хижине не замёрз — а уж во дворце как-нибудь проживу… *(Отставляет саблю.)* Ты-то, Дунюшка, как?

Евдокия *(глядя на свой живот, улыбаясь).* Как видишь…

Стрешнев. Вижу-вижу… С мужем-то ладишь?

Евдокия. Стараюсь. Миша добрый, жалеет меня… Только мы редко видимся.

Стрешнев. Что ж так?

Евдокия. Да он всё в делах! А как его нет — так у меня на душе неспокойно…

Стрешнев. О чём же ты, Дуня, тревожишься?

Евдокия. Ну, мало ли… Дворец большой, а людей близких нет. Ходишь, словно в лесу: вот, думаешь, волк сейчас выскочит! *(Горько смеётся.)* Как же я, батюшка, рада, что ты сюда переехал! *(Порывисто обнимает отца.)*

Стрешнев *(гладя Евдокию по голове).* Всё хорошо, Дунюшка, всё хорошо… Я тебя в обиду не дам… (*Внимательно смотрит на дочь.*) До чего ж ты похожа на покойницу-матушку! Ты хоть помнишь её?

Евдокия. Руки, кажется, помню — и ещё голос.

Стрешнев. Да, она же певунья была…

Задумывается, вспоминая жену. Евдокия проходит по комнате, осматривая её и проверяя, всё ли у отца в порядке. Подойдя к занавеске, отдёргивает её и с изумлением видит одежду и орудия земледельца: плуг, борону, грабли, косу.

Евдокия. Батюшка, зачем это тебе?

Стрешнев. Что? А, это… (*Подходит к дочери.*) Это я, Дунюшка, чтобы не развращаться посреди почестей и богатств. Каждое утро говорю себе здесь: «Лукьян! Помни, что ты был и что ты ныне. Помни, что всё сие получил ты от Бога. Не утесняй никого, ты сам был беден. Помни твёрдо, что всё земное величие — суета…»

Евдокия (*с восхищением*). Какой ты, батюшка! Не забываешь, значит, мещовские корни?

С т р е ш н е в . Как можно, Дунюшка! Землю-матушку нельзя забывать — когда-нибудь все к ней вернёмся… (*Садится на лавку и начинает что-то выстругивать ножом.*)

Е в д о к и я *(мечтательно).* А в Мещовске-то нашем сейчас благодать! Девки венки плетут, песни играют, возле реки Туреи хороводы водят… Эх, сейчас бы туда!

С т р е ш н е в (*показывая на живот беременной дочери*). Тебе сейчас самое хороводы водить…

Е в д о к и я . Да это я так, размечталась… (*Задумчиво и доверительно.*) Знаешь, батюшка, мне этот дворец, и наряды, и роскошь — иной раз видением кажутся. Едешь, бывало, в карете и думаешь: вот сейчас эта карета возьмёт, да и превратится — ну, я не знаю, в тыкву какую-нибудь!

С т р е ш н е в (*смеясь*). А кони в мышей?

Е в д о к и я . Точно-точно, в мышей! (*Тоже смеётся.*)

С т р е ш н е в . Главное, дочка, чтобы мы сами ни в кого другого не превратились, а людьми бы остались — о том и молюсь…

Е в д о к и я . Верно, батюшка… А что ты строгаешь?

С т р е ш н е в . А вот, Бог даст, внучок народится (*смотрит на живот Евдокии*) — так я свистульку ему мастерю. Гляди — готова почти!

Показывает свистульку и даже наигрывает простую мелодию — под которую Евдокия негромко напевает:

Пойди, пойди, Дуня,
Пойди, Дуня, в огород, в огород!
Сорви, сорви, Дуня,
Сорви, Дуня, лопушок, лопушок!
Пошей, пошей, Дуня,
Пошей, Дуня, сарафан, сарафан…

Картина седьмая
«НА СВЯТКАХ»

Покои царицы спустя 10 лет после свадьбы. Евдокия уже не робкая мещовская девушка, а женщина в расцвете сил и красоты, мать 7-летнего Алексея, наследника престола. Михаил Фёдорович, наоборот, постарел и устал: теперь уже он чаще просит поддержки и утешения у жены. Евдокия за рукоделием: она вышивает бисером. Под окнами дворца слышны песни и смех колядующих.

Е в д о к и я . Помнишь, Миша, как мы десять лет назад ночью встретились? Тоже на Святках…

М и х а и л Ф ё д о р о в и ч . «Жених в полунощи»? Такое не забывается… Неужто уже десять лет миновало?

Е в д о к и я . Да, Алексею уже почти семь.

В покои вбегают весёлые дети: царевич Алексей и его старшая сестра царевна Ирина. Мальчик подбегает к отцу — тот, шутя, надевает на него свою шапку, которая Алексею явно велика. Но мальчик бегает в ней, почти ничего не видя, смеясь и ловя сестру: у них с Ириной получается игра в жмурки.

Евдокия (*с умилением глядя на детей, потом обращаясь к мужу*). Каково тебе, Мишенька, царствовать?

Михаил Фёдорович. Хлопотно, Дуня... Но куда денешься? Царский венец только смерть снимет.

Евдокия (*откладывает вышивку, подходит к мужу, прижимает и гладит его голову*). Бедный ты мой... Ну а ноги — болят?

Михаил Фёдорович. Болят, Дунюшка... Сидишь, бывало, в Золотой палате на троне и думаешь: хоть бы лечь поскорее! А нельзя: то посольство, то Земский собор, то челобитчики... У тебя только и отдыхаю, душой и телом.

Евдокия. Так приходи чаще!

Михаил Фёдорович. Нельзя, Дуня, чаще: на кого я державу оставлю? На него? (*Показывает на Алексея.*) Так он ещё мал: не по нём Мономахова шапка...

Дети бегают вокруг матери, прячась за неё и вовлекая в своё веселье.

Евдокия (*смеясь*). Совсем закружили! (*Берёт скамеечку и садится у ног Михаила Фёдоровича — как, бывало, сиживала у ног отца.*) Расскажи что-нибудь, Мишенька...

Михаил Фёдорович. Что ж тебе рассказать? Ты историю про Филимона с Бавкидой слыхала?

Евдокия. Нет... Имена-то какие чудны́е!

Михаил Фёдорович. Греческие. Мне монахи из Сергиева Посада её вчерась сказывали, а им когда-то Максим Грек рассказал, великой учёности муж! Ну, слушай... (*Усаживается удобнее, переставляя и потирая больные ноги.*) Жили в далёкой стране старики, муж с женою, и звали их Филимон и Бавкида. И вот как-то приходят к ним в хижину двое странников и просят еды и ночлега. А старики-то бедны, как церковные мыши: самим есть нечего. (*Подходят дети и тоже слушают.*) Но, однако, по доброте своей, решают зарезать последнего гуся — чтоб, значит, странных людей накормить. А те видят такое усердие к ним, да и говорят: оставьте, добрые люди, гуся в покое — мы сами для вас стол накроем. Как махнули рукой — так яствами весь стол и уставлен!

Алексей. Волшебники, что ли?

Михаил Фёдорович. Ясное дело, волшебники.

Евдокия (*улыбаясь*). А калужские пряники на том столе были?

Михаил Фёдорович (*улыбаясь в ответ*). Не знаю, может, и были. Ну вот... А как все наелись-напились, так волшебники-странники спрашивают стариков: какое, мол, ваше заветнейшее желание? А те переглянулись друг с дружкой, да и говорят: мы хотели бы умереть в один день — чтобы друг без друга не жить!

Евдокия. Вот это любовь!

Михаил Фёдорович (*переглядывается с Евдокией*). Да, любовь...

Ирина (*теребя отца за рукав*). И что ж, так и вышло?

Михаил Фёдорович. Так и вышло... (*Пристально смотрит на Евдокию.*)

Евдокия (*волнуясь*). Что ты так смотришь, Мишенька? Ведь мы ещё не старики?

Михаил Фёдорович (*успокаивая жену*). Конечно, не старики: нам ещё жить да жить...

Алексей. Чудеса, значит, случаются?

Михаил Фёдорович. А как же? Вот что мы с твоей матушкой встретились, что вы с сестрицею народились — разве это не чудеса? А главное из чудес нынче случилось: Христос родился!

За дверью всё слышней голоса колядующих. Раздаётся стук в дверь и крик: «Дозволь, государыня-матушка, славить Христа!»

Михаил Фёдорович (*громко*). Дозволяю!

Дверь распахивается, шумно входит процессия «христославцев»: впереди мальчик, несущий Вифлеемскую звезду, за ним три волхва и два пастуха. Все поют:

В Рождество Христово ангел прилетел,
Он летел по небу, песню людям пел:
«Вы, люди, ликуйте, все днесь торжествуйте —
Днесь Христово Рождество...»

Процессия спускается в зал, вовлекая в колядки зрителей.

Конец истории.

Анна Бахаева



Анна Гасымовна Бахаева родилась в г. Ипатово Ставропольского края в 1979 году. Первые стихи написала в 13 лет. Окончила филологический факультет Калмыцкого государственного университета. Публиковалась в альманахе «Облака» и калужском региональном литературном журнале «Лифft». Автор книги стихов «Превозмогая убыль».
Живёт в г. Мещовске Калужской области.

ВЕЩЕЕ ВИНО

* * *

Ты чувствуешь, как выдыхает рожь,
когда её пронизывает дрожь
ветров полынных из далёких стран?
И дрожь зыбка, и этот воздух прян,
и под рукой ходящая волна
ленива полновесием зерна.

Ты чувствуешь, как день неумолим?
И нам, покорным, по дороге с ним —
туда — к ущербу солнечных времён,
к паденью царств, к сложению знамён
любви твоей, не вышедшей в зенит.
И сердце убывающее спит.

Ты чувствуешь — оно утомлено
цедить по капле вещее вино
ночей коротких и купальских трав?
Не мне отмщение, не я тебе воздам —
ты сам себе и морок, и порок,
и сотаинник, и палач, и бог.

Но чем уравновесишь боль свою,
когда я песен больше не пою,
когда нетерпеливая звезда
нисходит в травы, канет навсегда?
И где ребро белело, там одна,
чернея, прорастает тишина.

* * *

Хорошо, что умер ты весною —
был цветеньем возмещён уход,
лес качался горестно со мною
в такт, но чаще всё-таки вразброд.

Не простился словом или взглядом,
отступил в немыслимую тень.
Хорошо, что многого не надо,
если в окна ломится сирень.

Если боль спелёнута и свита
в клейких почках, нежных зеленях,
я могу спокойно и открыто
отпустить сиротство второпях.

Если торжествует над безумьем
этот май, прощая и любя,
я почти не вспоминаю всуе
зимнего, далёкого тебя.

* * *

Так начинается зима:
сначала леса полутьма
в себя вбирает больше света,
сквозит, почуяв тлен и смерть,
ещё надеясь уцелеть,
но вот — безжалостно раздета,
вся превратившись в дрожь и свист,
таит в себе горящий лист —
один — как повод для поэта…

Так начинается зима:
теперь и дачные дома,
осиротевшие, друг к дружке
спешат прижаться, а потом
участок с брошенным котом
вдруг входит в полукружье дужки
тепличной, словно в объектив,
и монотонный лейтмотив
дождя о дно забытой кружки…

Так начинается зима,
как начинаюсь я сама,
бредущая тропой исхожей —
вдоль парков чёрных и аллей
под снисхожденье фонарей
меж сиротливостью прохожих —
чтоб донести, не расплескав,
до белых дней печали трав
и запах твой на тёплой коже.

* * *

Скорей бы снег на монохром незрячий
неслышно лёг, свернувшись по-кошачьи,
и высветил туманные досель

хребты домов, распятья перекрёстков,
и детворы хохочущую горстку,
ныряющую сапогом в кисель

пространных луж, чтоб горько соразмерить
последние осенние потери
с отходом детства к дальним рубежам,

куда отплыли чёрные деревья,
любовь моя из точки подреберья
и зыбкий наш мещовский Нотр-Дам.

А дети — всё невиннее и тише —
уже плывут, не задевая крыши,
как рыбки из серебряной фольги,

в пределы те, где жизнь взошла к истоку,
где пенятся у самого востока
и время, и предчувствие строки.

Вот самый срок — измерить боль
и память
и ничего из прошлого не править,
не различать знакомых голосов,

зовущих над землёй, над небесами.
А может, это, Господи, мы сами?..
И снег идёт, насущней всяких слов.

Ольга Шилова



Ольга Васильевна Шилова родилась в 1960 году в г. Мещовске Калужской области. Окончила библиотечное отделение Калужского культурно-просветительного училища. Работала художником-оформителем в различных организациях, художником-постановщиком народного театра. Сейчас — журналист районной газеты. Автор шести книг стихотворений, публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Фома», «Человек на Земле», антологии «Молитвы русских поэтов» и других изданиях. Лауреат Всероссийской премии им. В. Прокошина и областной премии имени М. Цветаевой. Член Союза российских писателей и Союза писателей России.

ИМЕНА НА КОНВЕРТЕ

* * *

Астры и цинии в райских садах,
россыпи яблок и слив.
Юная Ева в преклонных летах
бродит, глаза опустив.

Ищет очки в подусохшей траве
под мельтешенье стрекоз.
От сотворенья её в голове
вертится тот же вопрос:

как, многократно Адама познав,
целостность с ним ощутить?
Как, дальнозоркой, очки отыскав,—
ей его вечно любить?..

* * *

Ветер певучий со всех сторон.
Облачный арлекин
реинкарнирует в шампиньон,
бархатец, георгин…

Импровизируя вальс-каприз,
в парке кружит листва.
Явственный мир сотворён был из
сонного вещества.

Перевернёшься на тот же бок
бренности бытия…
Кто Ты — мгновенья не спавший Бог?
Явь какова Твоя?

* * *

Здесь всё пригодно вполне для житья:
не переменчивы крыша и воздух,
и для блаженного дан забытья —
сон при луне и полуденный отдых.

И обречённость, свершив полный круг,
уж не пугает тщетой и распадом.
Есть ещё сердца размеренный стук,
выдох и вдох, а иного не надо.

* * *

Знаю, умру на заре!
На которой из двух…
М. Ц.

Только трескунья-сорока умолкла—
бензокосилка и смех ребятни—
утро зевнуло в бессонные окна
и прикорнуло в углу простыни.

День разгорался. И на этажерке,
и высоко на стене — вразнобой—
неутомимые тикали стрелки,
будто соперничая меж собой.

А под подушкой текли сновиденья,
живописуя немыслимый бред…
И за окном — в апогей пробужденья—
в пепельном зареве теплился свет…

Гавкала псина, но всё ж ощутимо
угомонилась существ колготня.
Поздние сумерки…— вами хранима,
до предрассветных — от белого дня.

* * *

Осипу Мандельштаму

Собирайся, Муза, за решётку—
(«Мыльница. Воротничков — семь штук.
Всё же, восемь. Запонки. И щётка»)
на последний, невозвратный круг.

Мы уже видали их законы,
«важно-огородное» житьё…
Со звездой петлицы и шевроны.
Ковано-чугунное людьё.

Помнишь — как в окно? Ах, жаль,— осечка!
Лучше б так, чем от тифозной вши.
Жаль, что не у Чёрной — первой речки.
У Второй*.
Да обе хороши.

* * *

Смурной ноябрь. Пора унывных песен,
медитативной прозы и стихов?
И да, и нет. Но мне ноябрь любезен
искусством приторможенных шагов.

Он как шабат. Как книжная закладка:
поставленный на паузу рассказ.
Как в памяти заложенная складка,
разглаживаемая всякий раз.

В нём — отдых от заезженной пластинки
и от настроя на инакий лад.
В его лице — ни мысли, ни кровинки.
Он глух и нем, как первый снегопад.

* * *

К. К.

Белый почтовый конверт. Прислюнявлены марки.
Жди новогодний презент от Франческо Петрарки:
каллиграфически ровен, изящен, красив –
почерк его именной, рукописный: *курсив*.

Что напишу тебе в этой винтажной открытке
синими буквами, тонким чернильным пером?
Всё, что не сказано, — в сердце глаголет в избытке.
Что в нём начертано — вырубишь ли топором?

А изыщу-ка и выведу строчку сонета
(перечитав заодно сочиненья поэта)
и завитушками щедро украшу её.
И имена на конверте: твоё и моё.

* О. Мандельштам умер в пересыльном лагере близ Второй Речки.



Сергей Егорович Михеенков родился в 1955 году в д. Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Служил в Советской армии, работал механизатором, учителем сельской школы, журналистом, редактором районной газеты, научным сотрудником Тарусского краеведческого музея, помощником депутата Государственной Думы. Окончил филологический факультет Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского и Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Автор многих романов и документальных книг о войне, биограф Маршалов Советского Союза Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского и выдающейся русской певицы Лидии Руслановой. Член Союза писателей России. Живёт и работает в г. Тарусе.

ХРОЛ

1.

Всю жизнь он служил лесником в здешнем лесничестве. Впрочем, не всю. На два года отлучался. На войну. Но после победы сразу вернулся в свою родную Краснотынку. С тех пор и живёт в своей деревне. Правда, теперь вся Краснотынка, вся деревня и есть его, старого Хрола, дом.

— Всю-то жизнь ты навред живёшь! — корил Хрола Иван, старый его товарищ по прозванию Петушок.

С Иваном Хрол ещё до войны сдружился. Вместе по соседним деревням ходили девок провожать. На фронт тоже попали вместе, с одним призывом, и воевали в одном полку.

— Вот зачем, скажи, ты тут себе новую хату срубил?

Хрол в ответ молчал. Даже по обыкновению не ухмыльнулся, как будто лень было слово языком повернуть. Молчал.

— Ну скажи, зачем? Ну? — допытывался Петушок.

— Чего ты под кожу лезешь? — обрывал его Хрол. — Срубил и срубил. Я ещё долго жить собираюсь.

— Так, тогда я тебе скажу. Ты ж нам всем, бывшим краснотынцам, своей новой хатой — по мордам! Нате, мол, вам, гады такие! Краснотынку кинули! На хватеры позарились! А я — один! Один стою! Один — герой!

— Да, Вань, я — стою. И буду стоять! Вам, трибит-твою, глаза мозолить! Вы бросили свои окопы, побежали, а я — нет.

— Прожил ты — навред миру. То по лесу нас турял, скрётка вынести не давал. И теперя… вот… Окопался…

— Да, так я себе и решил: пускай хоть весь фронт бежит, а я — в своём окопе до последнего. Я свою позицию никому не оставлю. Вот так. И хватит об этом.

— Так ведь наперекор всё!

— Ну и что ж. Терпите. Я ж терплю. Такая наша жизнь.

Это правда, Хрол жил наперекор. И всю жизнь так прожил. Даже женился — наперекор. Отец с матерью сосватали за него девку из соседней деревни из богатой семьи. А он привёл домой Варю. Мать так и повалилась на пороге, увидевши их:

— Что ж тебе, ирод, девок мало? Бабу обадил… Да с дитём!

— Теперь это мой сын, — сказал он тогда родителям. — А для ясности выслушайте вот что. Когда мы с Фёдором на плацдарме за Днестром сидели, договорились: если он живой останется, будет помогать моим родителям, а если я, то буду заботиться о его семье.

Варя была старше его на год или два. И всю жизнь прожили они душа в душу. И детей нарожали.

Где они теперь, их сыновья? По городам разлетелись. Как пчёлы на цветы… Нет, он от своего корня — никуда. Пусть хоть земля разверзнется и всё полетит в тартарары, а он за свои углы цепляться до последнего будет. За углы да за могилы. Вон их уже на кладбище сколько! Отец с матерью. Варя с девочкой. Деды, которых и не знал, но о которых слышал от матери и отца. И деды дедов — все тут, в краснотынской земле, лежат.

В мире всё было неправильно. И всё шло к неминуемой гибели. Это Хрол знал точно и чувствовал по всему.

— Сволочи! — грозил он с крыльца увесистым кулаком; и его угроза в равной мере относилась и к албанцам, которые резали в Косове сербов, и к американцам, которые бомбили деревни в Ираке, и к собственному правительству, которое всё никак не могло справиться с обнищанием народа, и к местной власти, допустившей такой разор и запустение в окрестных полях. — Сволочи, трибит-твою!..

Иногда к нему приезжали сыновья с невестками и внуками. Но погостят день-другой, сходят на материну могилку, невестки и внучки посадят там цветочек и — снова в свои городские квартиры. У сыновей была другая жизнь. Что им, позабывшим запах земли и леса, до его доли-печали? Никто не мог разделить с ним эту его тоску. Но одиночество вовсе не угнетало Хрола. Он жил в нём спокойно и сосредоточенно и вправду как боец в одиночном окопе, зная свою задачу и свой манёвр.

— Внуков жалко… — шептал он, глядя, как в поле пропадает, пыля и прощально поблёскивая стёклами, машина которого-нибудь из сыновей — Ивана, Петра, Фёдора, Степана, Никиты, Сергея или младшего Алексея, который, похоже, устроился в жизни лучше всех.

После уезда очередного сына он дня на три-четыре запивал. Иначе нельзя, оправдывал он себя на могиле Вари, сердце может лопнуть.

С пылающими глазами и всклокоченными волосами, цепляясь ногами и плечами за мебель и дверные косяки, он выскакивал на крыльцо, становился на верхнюю доску, — оттуда была видна дорога, Черкасовский большак, далеко-далеко виден, — и грозил туда кулаком, и кричал:

— Трибит-твою! Ва́рвары! Поработители! Взяли? Взяли Хрола Сазонова? А во вам!..

Но этого ему было мало. Немного погодя он взбирался ещё выше и начинал неистово звать:

— Люди! Ворочайтесь! Люди! Вас же обманули! Карп! Соседушка! Тётка Акулина! Иван! Кому поверили?! Трибит-твою!

Но, никого на дороге не дождавшись, даже своего верного фронтового товарища и друга Ивана Петушка, он вдруг обессиленно ронял голову, и его сотрясало первое рыдание. Хрол вдруг понимал, что он тут, в Краснотынке, один, что с ним остались только покойники на кладбище, а живым их Краснотынка уже не нужна, кончилась их Краснотынка, всё... Догорела свечечка до полочки... И среди тех, кого он только что звал, живых тоже уже нет. Ни кузнеца Карпа, умевшего выковать даже иголку, ни тётки Акулины, которая всю жизнь проработала в колхозе свинаркой и которой при выходе на пенсию колхоз подарил резиновые сапоги и теми подаренными ей сапогами она так дорожила, что, когда старухи открыли сундук, чтобы обрядить покойницу, рядом с саваном нашли резиновые колхозные сапоги, ни тракториста Ивана по прозвищу Шкалик, который всегда, безотказно, всего-то за четвертинку водки, хоть и в полночь, чтобы не увидел председатель, распахивал их огороды. И, вспомнив это и ужаснувшись своему одиночеству и беспомощности, он бежал в поле и ложился там умирать.

Умирал он долго, мучительно. Стеная и рыдая. А потом затихал. Засыпал.

Просыпался потому, что его находил конь Грач и начинал хватать за лицо и одежду мягкими замшевыми губами. Конь теребил его и дышал в лицо и на руки тепло и сочувственно. Значит, просыпаясь и приходя в себя, думал Хрол, рядом и ещё одна живая душа — Чичер. Чичер — старая, как и он сам, рыжая дворняга. Подобрал он его когда-то давно, на станции, возле лесопилки, маленьким брошенным и никому не нужным щенком, привёз домой в кепке. Кепку, новую, ещё с картонкой, он ему в дороге обоссал... «Ты что ж наделал? Чичер ты этот!..» И точно, Чичер лежал рядом. Из клевера торчала его голова с поднятым ухом. Чичер скалился, улыбался белыми, как вымытая галька, зубами и посматривал по сторонам — охранял.

— Грач! — сипел он, простуженный и больной, уже зная, что провалялся теперь в постели с неделю, а то и больше, и все домашние дела будут пущены под откос. — Чичер! Трибит-твою!.. Зачем же вы меня сюда, ребятушки, привели!? Вы что же, смертушки моей хотите? А ну-ка, домой! До-мо-ой!

И он брёл домой. Спотыкался на муравейниках, хватался за траву, оглядывался, правильно ли идёт и не заведут ли его «ребятушки» ещё куда… Так кончался запой. И только Грач и Чичер были свидетелями страданий хозяина, и только они одни делили их с ним.

2.

В этот раз Хрол не вставал с постели уже вторую неделю. Лежал, краем глаза смотрел в окно, как там голодный Чичер ворон со двора туряет, слушал — то радио, то, как муха в углу пищит, пойманная пауком. Паука того Хрол не трогал. Пускай живёт, трудится, мух ловит. Мухи хуже. Может, всех переловит… А по радио передавали новости: албанцы в Косове и Приштине резали сербов и жгли их дома. Сербов Хрол помнил. Хорошие люди. В сорок четвёртом их корпус ворвался в городок Крушевац, с ходу форсировал реку Мораву и начал свёртывать фланги немецкой обороны. Сербы встречали их цветами и виноградом. Братья-славяне. Хрол тогда болел малярией. Старуха-сербка увидела его, посиневшего, трясущегося в очередном приступе, взяла за руку и повела в дом. Дала какого-то снадобья, помолилась, почитала. Два дня он потом приходил к ней, за травными настоями. На третий день корпус пошёл дальше. Приступы малярии его больше не мучили. На всю жизнь запомнил ту скрюченную старуху-сербку с иконкой Николая Угодника. А теперь вот сербов сгоняли с родных земель. Разрушали православные храмы, уничтожали кладбища.

— Братушки, — вслух подумал Хрол. На глазах его блестели слёзы. — Бросили всех… Эх, сволочи!..

Хрол вспомнил, как перед наступлением генерал зачитывал приказ корпусу. Разведка сообщала, что перед ними танковая дивизия СС, лучшие солдаты Гитлера. Пошли, ломанулись прямо им на головы. Уже никто не мог их тогда остановить, никакие отборные части. Два танка впереди загорелись. Потом третий, справа, где заряжающим был Петушок. А они проскочили между и даванули противотанковую пушку вместе с расчётом. Один, офицер, побежал, так они его догнали возле лесочка и — под правую гусеницу… Эсэсовцев в плен приказано было не брать. Эх, сейчас бы моих ребят, да в танки… Мы бы их за сутки…

Хрол утёр простынёй слёзы и услышал, как Чичер взвизгнул и понёсся куда-то за ручей, в поле. Неужто идёт кто?

И правда, за окном мелькнуло. Стукнула дверь в сенцах.

— Хрол! Хролушка! Ты что ж это? А?

— Это ж Петушок пришёл, Ванька приплёлся — проведать. Вот развёл слюни по стеклу… Трибит-твою…

— Здорово, Вань. Хвораю, видишь… Бока что-то болят. Знать, застудился где.

— Да уж известно, где. Опять по полю падал?

Хрол промолчал.

— А я тебе весть принёс. Плохую.

— С сынами что?

— Нет, господи, что ты? Дай им всем бог здоровья. Краснотынку нашу продают. Поле, всю Ивановщину, где наши огороды были. Ну и усадьбы все. По новому закону.

— И кладбище?

— Про кладбище не слыхать было. Кому оно нужно, кладбище?

— Кому… Нам же оно нужно?

— У нас там деды лежат. У тебя вон жена и дочка.

— А кто покупает нашу землю?

— Да приезжие какие-то. Из новых русских, знать. Правда, по-русски плохо говорят, с акцентом.

— Абреки, что ль?

— Кто их знает. Чёрные.

— Так. Понятно. Видать, пришло время. Надо вставать. Ты, Вань, поставь-ка чаю. А я поднимусь.

Петушок пошёл на кухню. А Хрол его вдруг окликнул:

— Вань?

— Что?

— А помнишь, как ты горел? На Мораве, помнишь?

— Помню. Только вперёд двинули, нас и подбили. Лейтенант всех вытащил. Мне руки обожгло. Вон, видишь, до сих пор…

— Что толку, что мы там кровь проливали?

— Ты про что это, Хролушка?

— А про то, что там теперь, где наши ребята в могилах лежат, НАТО командует.

Петушок некоторое время смотрел на товарища, качал головой, будто решал, соглашаться с ним или нет, и сказал:

— А ну их к пёсу, Хрол. Нам бы дожить спокойно…

— Дожить… Хер они тебе дадут спокойно дожить. Залез хорь в курятник… не уйдёт, пока всех не передушит… А ты говоришь: спокойно дожить…

— А что нам теперь надо? А, Хрол? Хлеб есть! Молочко есть! Поросёночка со старухой ещё держим, справляемся. Водочка в магазине вольная, и не сказать чтобы очень дорогая. А, Хрол? А то, я вижу, у тебя глаза загорелись… Ну их к пёсу, Хрол!

3.

На другой день Хрол начистил сапоги. Надел пиджак с орденами Отечественной войны первой и второй степени и пошёл в Черкасово, в администрацию.

— Что вы, Фрол Леонтьевич, всё упорствуете? Ну дадим мы вам, если не хотите в квартире жить, участок земли и перевезём ваш дом из Краснотынки. У реки, на отшибе. Фундамент зальём. Огород распашем. Или новый дом построим, кирпичный.

— А на какие шиши ты мне дом собираешься строить? А, Лушонок?

— Найдём деньги. Для вас, дядя Фрол... Или, я говорю, вашу хату перетащим. Она ж у вас совсем новая. Наверное, лет десять как срубили?

— Шесть, — поправил Хрол главу сельской администрации. — Так, меня, значит, сюда. А землю из-под меня — кому?

— Да кому?.. Инвесторам! Инвесторам, дядя Фрол. Пусть деньги в нашу землю вкладывают. Земле инвесторы нужны. Политика нынче такая. Генеральная, так сказать, линия.

— Ты, Лушонок, не бреши. Не играй со мною словами, как с дитём. Генеральная линия... Нынче генеральной линии нету!

— Я в том смысле, дядя Фрол. Что — вложения... Земля требует новых и новых капиталовложений. Обнищала наша земля.

— Продаёшь, значит, Лушонок, землю, за которую тятька твой, Игнат Федотыч, голову сложил под Ельней в сорок первом.

Вот и закончился спокойный разговор. Сперва наступила мгновенная тишина. Даже в приёмной, за дверью, обитой искусственной кожей, затихли и не шуршали ни бумажками, ни подошвами туфелек и ботинок.

— Вы это, Фрол Леонтьевич, бросьте, — надул шею Лушонок и начал смахивать с полированной столешницы невидимые пылинки.

— Подумай, Лушонок, подумай.

— Тут уже всё обдумано. Продаём участок земли: Ивановщину, поле в восемьдесят шесть гектаров и ещё тридцать гектаров — под усадьбами и поймой.

— Со мною, значит, продаёте?

— Почему же с вами? С вами, вот, договариваться будем.

— Не буду я с вами, жуликами, ни о чём договариваться. Продавайте дедовские курганы без меня.

— Как не будете, Фрол Леонтьевич? — усмехнулся Лушонок, и в глазах его появилась, блеснула, как опознавательный знак, уверенность.

— Что, Лушонок, думаешь, если от скибки отщипнул, она уже и твоя?

— Договоримся, дядя Фрол, договоримся. Я уже и Лёшке звонил...

— Что? Ты моих сынов против меня не настраивай. Своих сперва подними. Понял? А Краснотынку вы не получите.

— Почему же?

— А потому! Потому что я вас туда, варваров, не пустю!

— Ну, Фрол Леонтьевич, не пустить вы нас туда не имеете права. Земля принадлежит не вам. Ваша только усадьба — пятьдесят соток. Так что Краснотынка не ваша.

— Не моя? Моя! Я за неё кровь проливал! Как и батька твой, между прочим! И мои товарищи, солдаты, там зарыты! На одной только Ивановщине — три могилы! Так что эта земля, которую ты, Лушонок, кому-то заторговал, — вся как есть моя. До последней травинки и перепелиного гнездушка. Понял, рыночник?

— Ну хватит, дядя Фрол, на психику давить! Кому она нынче нужна, эта земля? Нашёлся человек, и то спасибо. А могилы солдатские мы перенесём в одно место. Об этом тоже договорённость есть.

— Нет, не дам. Не пустю.

Хрол встал. Вышел в приёмную. Колокола гудели в висках. Пошатывало. Даже сапоги стали жать.

— Завтра, завтра, Фрол Леонтьевич, смотреть участок приедем! — послышался в спину голос Лушонка. Колокола гудели громко, торжественно, а голос Лушонка всё-таки перекрывал и их. — Так что встречайте!

— Встрену.

4.

— Вот что, Ванька, окоп надо копать, — сказал Хрол, разуваясь возле порога; с трудом он стаскивал с отёкших ног хромовые офицерские сапоги, привезённые ему пятнадцать лет назад, ещё была жива Варвара, старшим сыном. Когда-то сапоги были в самую пору. Обувал только по праздникам да в город. Носил — радовался. А теперь вот снять с ноги не может.

— Какой окоп? — изумился Петушок.

— В полный профиль. Для стрельбы стоя. Похоже, на старости лет, нам с тобою, кадровым танкистам, придётся в пехоту переквалифицироваться. Без окопа нам тут не удержаться. А в окопе — пускай попробуют возьмут. Пускай атакуют. Трибит-твою…

Тикали на стене ходики. Скучно зудела муха в паутине в углу. Видно, паук был сытый, не спешил подступаться к ней. Ничего, до вечера оприходует свежатинку, думал Хрол, нисколько не жалея эту тварь.

— Не дам я им тут, под собою, никакой земли. Ни пяди, как говорил наш политрук Гришковец. Помнишь, Ванька, Гришковца? Правильный человек был. Я видел, как он горел, когда мы на прорыв пошли. В первой машине. Так и кинулся на орудия. Эх, как мы тогда прорывались! Один, может, из ста только и вышел… Ты тогда, на ту Голгофу, с нами не попал.

— Я в госпитале был, — заметил Петушок.

— Да, ты, Ванька, перекантовался в тылу…

— Ну тебя к пёсу! Перекантовался… Гангрену пережил! Чуть ног не лишился! Меня уже в смерётную перенесли. Всё! Безнадёжный!

— Прости, прости. А всё ж таки в окружение ты с нами не попал. Завтра пойдёшь со мною.

— Да что ты, Хрол, чепуховину городишь! Какой окоп? Побоятся они твоего окопа…

— Побоятся. Шум подыму. Люди заговорят — побоятся. Краснотынку продавать… А в атаку они не пойдут. Побоятся. Кто у них там воин?! Только бумажками шуршать да мелочью по карманам греметь…

— Ну, это… выкопать я тебе подмогну. А вечером мне, Хролушка, двору надо. Я и так тут с тобой два дня…

— Тогда пошли.

5.

Окоп копали прямо за ручьём на взлобке, откуда хорошо просматривалась дорога — весь Черкасовский большак до самого леса.

Пока шли туда, пока облюбовывали место, Петушок всё отговаривал Хрола, принимался то браниться, то подтрунивать над ним. А когда воткнули лопаты и сняли верхний грунт, принялся с таким старанием выкладывать бруствер и подчищать стенки, что вскоре ячейка для двоих вполне была готова.

Прямо тут же, в окопе, старики распечатали бутылку ржаной водки, выпили, закусили солёными прошлогодними огурцами и варёной картошкой.

Прибежал Чичер, сел неподалёку и стал чесаться. Хрол кинул ему картошину. Чичер поймал её, подбросил, как мыша, и проглотил. Лёг, оскалился — засмеялся.

— И против кого ж мы тут оборону строим? А, Вань? — неожиданно сказал Хрол и усмехнулся: — Против своих же. Трибит-твою!..

— Ладно, Хрол, мне пора двору, — запросился Петушок.

И правда, день уже мерк. Солнце падало. И если Петушку идти в Черкасово, то надо было уже собираться.

— Ты смотри там, о моей позиции — никому. Пускай едут. А я их тут — хлебом да солью…

— Гляди, Хрол, не начепуши чего. А то сейчас новые законы строгие. Вон сколько мужиков в тюрьме сидит! А то, гляди, припаяют… за этот окоп… на полную катушку… на старости-то лет… Преднамеренное там… и прочее…

— А пускай сажают. У меня в жизни тюрьмы только и не было.

— Хочешь умереть на нарах?

— А думаешь, в больнице, на тухлом матрасе, лучше?

— Ой, Хролушка, что-то сердце у меня за тебя неспокойное. А? Что ты задумал?

— Ну и трус же ты, Ванька. Если б с нами тогда в окружение попал, точно б обосрался. А медалей у тебя больше, чем у меня. И как ты их столько-то умудрился получить? До сих пор вот думаю.

— Да у меня медалей-то всего пять! — Петушок смотрел на своего товарища с возмущением. — Две «За отвагу», одна «За боевые заслуги» и ещё «За освобождение Белграда» и «Наше дело правое…». У тебя все эти медали тоже есть. Если не растерял спьяну.

— У меня «За отвагу» только одна.

— В военкомат напиши. И тебе пришлют. Это ж мне за Мораву дали, за ранение. Тебе, может, тоже положено за тот бой. Всех представляли.

— Что я буду у них медали просить? Они знают, где я воевал и что мне положено.

— Ой, Хрол! Всё у тебя — через колено! Ну кто, скажи ты мне, о тебе будет хлопотать, кроме тебя самого?

— Ладно, хлопотун… Пугану вот завтра, чтобы не повадно было. Пусть знают: Фрол Леонтьевич Сазонов бараном в ихнем стаде никогда не был и не будет.

— Эх, Хрол, Хрол… — махнул рукой Петушок и побрёл по Черкасовскому большаку. Там, за полем и лесом, был теперь его дом — тесная квартира с текущим водопроводом и проеденным крысами полом. Жалко ему было оставлять товарища одного. Да и в бутылке оставалось ещё немало ржаной…

6.

Утром следующего дня кортеж машин, который возглавлял зелёный УАЗ главы сельской администрации, появился на большаке со стороны Черкасовского леса. Машины миновали лощинку, благополучно объехали болотце, заросшее камышом и кугушником, выскочили в поле и на самой середине его остановились, съехав на обочину прямо в высокую траву.

— Где живёт тот упорный старик? Я хочу с ним поговорить сам, — сказал человек в чёрной шляпе с большими полями; он был высок ростом, подтянут, тщательно выбрит, свеж и с удовольствием разминал ноги, оглядывая простор поля, обрамлённый дальним лесом.

— А во-он его хата, — услужливо указал за ручей Лушонок. — Видите, там, в липах?

— Хорошее место для дома, — сказал человек в чёрной шляпе. — Ручей летом не пересыхает?

— Нет. Много родников.

— Хорошо. Сделаем озеро, запустим рыбу. Привезём скутеры. Девочек… Пусть загорают, радуются жизни. Природа здесь красивая. Пусть здесь живут красивые люди.

Вышли люди из других машин. Из чёрного джипа — угрюмые охранники в дорогих пиджаках. Из белой «ауди» — женщины. Они высыпали разноцветной шумной стайкой из распахнутых дверей душной машины и разбрелись по овсянице. Охранники стояли молча и даже не смотрели на женщин. Женщины смеялись, рвали какие-то цветы. Всем им было хорошо.

— А что это там? — спросил вдруг человек в чёрной шляпе; он оторвал взгляд от женщин и указал в сторону взлобка, где желтела свежим песком какая-то копань.

— Где, Асламбек Султаныч?

— Да вон, видишь?

— Не знаю. Раньше не было. Сейчас посмотрю.

Лушонок бросился к машине. Следом за ним ехала машина охраны. Тонированные стёкла джипа были опущены. Лушонок подбежал к окопу.

— Фрол Леонтьевич! Ну что вы, на самом-то деле, ведёте себя как ребёнок! Ну мы же не звери какие-то. Добра хотим. Правда, Асламбек Султаныч?

Человек в чёрной шляпе тоже подошёл к окопу, заглянул через бруствер. Там, на дне, уткнувшись лбом в тщательно срезанный угол, стоял на коленях человек. Рядом с ним лежало старенькое двуствольное курковое ружьё с замотанным изолентой прикладом.

— Послушай, он же мёртвый, — сказал человек в чёрной шляпе, отталкивая охранников.

Лушонок втянул голову в плечи, потоптался по брустверу, позвал вниз:

— Дядя Хрол, ты живой?

Нагнулся, толкнул в плечо стоявшего на коленях.

— Уже застыл. Надо участкового звать. Надо ж… — Лушонок вытер платком шею и лоб.

— Так, разворачиваемся! — И человек в чёрной шляпе сделал водителям знак на разворот.

— Куда же вы, Асламбек Султаныч?

— А, к чёрту! Разбирайся тут сам. Со своими проблемами. Позвонишь на сотовый. Когда всё будет чисто. Понял?

Человек в чёрной широкополой шляпе уже сел в свой джип и вдруг опустил стекло, пальцем подозвал Лушонка. И, когда тот подбежал, утираясь платком, сказал:

— Что же вы, шакалы, так бросаете своих стариков?

11.04.2004
г.Таруса



Наталия Михайловна Елизарова родилась в г. Кашире Московской области. Окончила юридический факультет МосАП при Правительстве Москвы, Литературный институт имени А. М. Горького и магистратуру МГПУ, аспирантка ИГН МГПУ. Член Союза писателей Москвы, Союза российских писателей, русского ПЕН-центра. Автор четырёх поэтических сборников, книги прозы и трёх книг для детей, а также публикаций в журналах «Дружба народов», «Нева», «Юность», «Урал», «Интерпоэзия», «День и ночь» и др. Лауреат премии имени Анны Ахматовой журнала «Юность», призёр и победитель многих литературных конкурсов. Живёт в Москве.

ЭТО ПРОСТО ФЕВРАЛЬ...

* * *

Любимый, фонарь за окошком качается,
и ветка стучит о стекло.
Любимый, на небе снега не кончаются:
весь двор и проезд замело.
Любимый, такое всё белое, стылое,
что зябну я, стыну внутри…
И слышу — далёко — колядку унылую,
боюсь, что фонарь догорит,
что нежности снежной покров истончается —
исчезнут следы на снегу.
И дерево спилят, и ветка сломается…
Остынет тепло наших губ.

* * *

Это просто февраль наступает уже на пятки
январю, холодает и холодает.
Каждый прожитый день играет с тобою в прятки:
то засыплет снегом, то резко и вдруг оттает.
То давление в норме, а то подлетит со свистом,
словно лифт — с первого на девятый.

И кружатся снежинки, и мечутся роем мысли,
и тебе уже тридцать пятый иль сорок пятый…
И считать устаёшь — что ещё? — холода и зимы,
но осталось чуть-чуть потерпеть — и к весне растает.
И тепла так хочется… Хочется мне, любимый,
рассказать, как мне тебя не хватает.

* * *

Из стылого дня в ледяное нутро постели —
свернуться, сложиться, словно тебя и нет.
И только лишь ясное слово — рассвет…
Но тьма и мороз и застывшие стёкла на деле.
Бредёшь наугад, только ветер колючий в лицо,
а хочется света, огня, тёплой радости в доме…
Но ты одинока, как анахореты и вдовы,
и черпаешь сил в разговорах с небесным Отцом.
Идёшь через стужу, спасибо ему говоря
за то, что даёт испытания, вьюгу и ветер,
за то, что любимые также вот мёрзнут на свете
и мимо плывут в этом сумеречье января.

* * *

Выпадет снег поутру: подойду к окну.
Если меня вот так оставлять одну,
сразу начну выдумывать сказки снежные.
Что-то тревожно шепчется изнутри,
словно за руку берёт, говорит: «Смотри,
это — предчувствие снега, предчувствие счастья!»
Нежный мой и далёкий, ты не печалься,
я не пойду в вечерние фонари,
буду смотреть одна из окна луну.

* * *

Спит уставший больной человек,
не даётся ему этот век,
опостылел ему этот снег
и зима затяжная.
Век неправильно скроен и сшит,
он по швам и ползёт, и трещит,
а кругом вороньё верещит,
о прогнозе не зная.

Человеку приснится: в огне
скачет он на буланом коне,
и доспехов — оружия нет,
а вокруг — неприятель.
Он погибнуть за правду не прочь.
Отчего ж так темна эта ночь?
Как неверье и мглу превозмочь?
Как проснуться некстати…

РОЖДЕСТВО

Елене Ивановой-Верховской

Снег, а в проталинах — чёрное крошево,
ближе к дороге — огни.
Друг, не грусти и не требуй хорошего,
люди в печали — одни.
Как рассветёт, станет ясно и радостно,
жить встрепенётся душа.
Ох уж все эти загульные празднества:
жизнь во хмелю хороша!
После стоишь у разбитого, трещины —
в мыслях, пустоты — в речах.
Что там поёт эта светлая женщина,
что-то про милость в очах?
Звон растекается, улица светится,
тянется к храму народ.
Вот бы ещё с ней когда-нибудь встретиться —
с той, что так дивно поёт.

* * *

Вот так и вспомнится потом:
мы — три фигуры в зимнем поле.
Кобель, виляющий хвостом.
Внутри ни радости, ни боли.
Прогулка, и почти что март,
пытаюсь догонять собаку,
а позади — отец и мать,
а впереди ещё, однако,
полжизни — поле перейти
по насту снежному, по корке,
где каждый шаг — провал почти
туда, куда уходят корни,

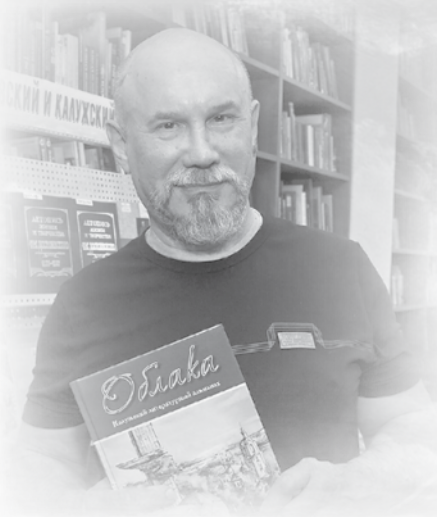
куда уходят тихо все
любимые неумолимо.
Прогулка в средней полосе,
машины пролетают мимо.

* * *

На дороге зимней — грязь, приглядишься — соль.
И наступишь трижды, а всё ж не оставишь след.
Эта боль в подреберье — только моя лишь боль,
этот отблеск случайный — самый надёжный свет.
Притаиться задумаешь, тенью безликой стать,
в одеяла зарыться пуховые до весны,
обезличить барашков и досчитать до ста,
когда сын был маленький, были иные сны.
А сейчас только чёрточки, палочке и тире,
а сейчас только слёзы смолы на сухой коре.

* * *

То было сухо, после — замело,
и снега ледяное серебро
раскинулось по длинному проспекту.
На площади галдёж, ребячий гам,
метелица кружит и льнёт к ногам,
и всё её талдычит, песню спету.
Автомобили злятся и рычат,
и пробки на дорогах пятый час,
но не готова «тормозить» стихия.
И где уже деревья, где дома —
неведомо, лишь снега кутерьма,
среди которой и пишу стихи я.



Вячеслав Некрасов

Вячеслав Михайлович Некрасов родился в 1957 году в г. Омске. Окончил ВГИК (художественный факультет). Некоторые произведения находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. С начала 1990 годов жил в Петербурге, здесь начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка» и нескольких книг прозы. Член Союза художников, Союза российских писателей и Союза писателей России. Лауреат, финалист и дипломант нескольких литературных премий. С 2016 года живёт в Калуге.

БЫЛО СМЕШНО И БОЛЬНО

Короткая проза

ГОРОДСКИЕ ОХОТНИКИ

Я один. Остановка. Поздний вечер. Подходит бабушка, невысокая, с живыми глазами:

— Ждёшь?

— Жду.

— Скоро придёт!

— Да?..

— Да. Я двадцать лет работала кондуктором, умею по проводам определять!

— По проводам?..

— А вот, смотри… провода слегка качаются… Значит, он недалеко.

Смотрит задорно… Улыбаюсь ей:

— Ценные сведения! Благодарю! Буду знать.

— Это точно, не сомневайся!.. Минут через пять придёт!..

Мне вдруг вспоминается другая картина… Видел в каком-то фильме. Канада, вроде бы. Светлые холмы. Двое охотников на медведя. Тот, что постарше, поднимает с земли… как это по-русски… продукт медвежьей жизни, нюхает, разламывает, задумчиво держит в руке… говорит: «Ещё тёплое. Он прошёл здесь минут пять назад». Стоят, смотрят вдаль…

Вот и мы вдвоём с бабушкой стоим, смотрим вдаль, в сияющую темноту города… Мокрые провода покачиваются… Он придёт минут через пять. Это точно…

ЯКОПО ТИНТОРЕТТО И КОНДРАТ БЕЛОВ. ЛЕТАЮЩИЕ ЛЮДИ

Известный поэт Геннадий Калашников достал из буфета большую мутноватую бутыль, какие показывают в фильмах о повстанческих отрядах времён гражданской войны, и поставил её на стол. В ней радовались жизни несколько стручков горького перца…

— Меня всегда удивляло, — сказал он при этом, — что Тинторетто пишет, как будто находясь среди облаков и ангелов, изображённых тут же. Он как будто летает вместе с ними!

И вдруг всё срослось! Разрешилась древняя загадка! Откуда у Кондрата Белова, моего деда, такая высокая точка зрения. Откуда он видит свои эпические пейзажи! Так вот почему один старый московский искусствовед связывал эти два имени — ТИНТОРЕТТО и БЕЛОВ!

И связывал он эти имена именно с небом. И важно даже не то, что они изображали небо, важно то, что они изображали мир — ИЗ НЕБА, как бы находясь в небе. Не на горе какой-нибудь, а в небе!

Оказывается, у деда есть великий собрат, тоже «человек летающий» — титан Высокого Возрождения Якопо Робусти по прозвищу Тинторетто (что означает «маленький красильщик»).

Зимний день мягко освещал комнату. Геннадий убрал пустую бутыль и улыбнулся:

— Я думал, я целый год буду пить эту настойку…

Как много в нём детского!.. Как во всяком подлинном таланте.

СДАЙТЕ МЕНЯ В МИЛИЦИЮ

Давно это было. Большой, снежный сибирский город. Вокзал, подземный переход к поездам, вечер. Я с девушкой, мы ищем свой перрон…

Подходит тёмный человек в тулупе. Иссиня чёрные кудри. Невысокий, но очень крепкий. Лет пятидесяти.

Подходит вплотную ко мне и говорит:

— Я вас очень прошу, сдайте меня в милицию…

Необычная просьба…

— То есть как, почему?..

— Прошу вас, сдайте меня в милицию… Я бабу свою забил, с тех пор в бегах… Лет пятнадцать уже. Устал… Скажите, что я вас ударил…

— Слушай, друг, я бы тебе помог, но вот-вот подойдёт электричка. Последняя. Нам надо ехать вот к её отцу знакомиться, сам понимаешь… Он нас ждёт к этому времени. А ты подойди вон, к кому-нибудь, народу-то полно вокруг…

— Ну я прошу вас!..

— Что, значит, я тебе так понравился? Народу же, говорю, полно вокруг. Да ты ведь можешь, вообще-то, и сам пойти — сдаться…

— А если я вас ударю?

— Старик, не советую… Да я бы тебе помог, но сам видишь…

— Ладно, я пойду. Простите…

— И ты… прости…

Горькое, тоскливое окошечко приоткрылось где-то в глубине…

Едем в электричке, из-за елей прорывается вечернее солнце. Вспышками, клоками.

Я вздыхаю:

— Непонятный человек! Он столько бегает уже, что мог бы и за двух жён отсидеть.

Девушка тоже хочет что-то сказать… думает… потом улыбается:

— А чего, вот интересно, он именно к тебе подошёл? Там же полно народу было? Да и, вообще, все странные к тебе подходят…

— Потому что я поэт, писатель. Выражаю их жизнь. Понимаешь? Вот они и чувствуют доверие.

— А этот, молодой бандит, Светкин брат, вообще хотел, чтобы ты с ним «работал»… С таким, говорит, у нас дело пойдёт! А то у меня в голове ветер, прогуливаю много, а с ним у нас всё будет серьёзно.

— Да? Я подзабыл.

— Светка ещё смеялась — да он сам парень весёлый, может так загулять, что мама не горюй! Так тот, понимаешь, говорит: «Нет, я по глазам вижу… Это не такой человек».

— Да, они по глазам видят… А ты что видишь?

— Я всё вижу! У отца не злоупотреблять! Тему Онегина не поднимать. Льва Толстого не трогать.

— Установка ясна предельно… А Толстого прямо совсем не трогать?

— Совсем. Жена у него преподаватель литературы! Тему Есенина не поднимать. Рубцова тоже. О Шукшине забыть начисто.

— А о судьбах русской культуры вообще…

— Вот это категорически! Литературных тем особенно опасайся! Сразу уходи в сельское хозяйство.

— Понял…

— Смотри, к тебе потянутся простые люди, дядя, например, мой. Он же почувствует, что ты слушаешь его с интересом? Ведь так?

— Абсолютно!

— Так вот, он поднимет огромный свой указательный палец и будет вздыхать тебе в ухо: «А ведь воруют, Слава! Ты понимаешь? Ведь много воруют!»

— А-а! Ну это нормально. Не волнуйся. К этому я привык с детства. Даже если одновременно мне будут читать в другое ухо Твардовского: «Был сильный жар! Горела гарь и копоть! От дома к дому шёл большо-о-о-ой пожар…» Смеёшься? А мне это всё привычно! Так что засылай своих дядьев. Я детство вспомню. На гармошке, такой маленькой, с колокольчиками ещё бы кто-нибудь поиграл… Вот это бы да…

Электричка летела сквозь сибирские леса… и состоялось знакомство, и было застолье, и был пресловутый дядя… Было смешно и больно за непонятные, незнакомые нам судьбы людей…

КРИК В НОЧИ

– Все вы идиоты!..

Раздался женский крик. И умолк…Тишина. Духота. Ночь. Деревья спят тяжёлым, масленистым сном. Река темнеет неподалёку.

И никто ведь, выйдя в этот час на кухню попить воды, не ответил в форточку что-нибудь, типа: «Да ты сама балда!» Или, вспомнив Шварценеггера, – темпераментно и с акцентом: «Какие ваши доказательства?!»

Нет. Серо-зелёные здания спокойно спят под привычно-странные звуки далёкого речного порта. Крик погас… и остался одной из тайн нашей жизни. И без того таинственной.

МОЙ ТРАКТОР

Я стоял среди высоких, рыхлых сугробов и, немного откинув назад голову, смотрел в февральскую даль… Стоял на перекрёстке двух дорог. Вот улицу перебежал вежливый мужчина.

Он подошёл и спросил:

– Извините, это не ваш трактор там работает?

Неподалёку действительно натужно возился оранжевый трансформер.

Внутри стало смешно и приятно. Мой трактор… Это всё равно, что в Индии иметь слона.

Я повернул голову:

– Нет, не мой… Мой на соседней улице работает.

– А-а-а… Спасибо! Извините…

– Ничего-ничего…

Я продолжал смотреть вдаль… А на соседней улице работал мой трактор. Приятный, небольшой… Я почти слышал его.

ВЗРОСЛЕНИЕ

Посвящается Экзюпери

Сад за окном покрыт инеем. А дальше – белый туман. Я сижу у стола. Прохладно. Печку ещё не топили. Замечаю… Мёрзнут немного бёдра, но не мёрзнут голени. Мёрзнут предплечья, лежащие горизонтально, но не мёрзнет плечевая часть руки… Мёрзнет слегка макушка, но не мёрзнут щёки…

Вот интересно!.. Мёрзнет всё, что горизонтально. Поэтому и мёрзнет человек лежащий. Возможно, это мировое открытие… А может, и нет. Похоже, я ещё очень молод. Всё мне интересно! Говорят знающие люди, что щенкам собачьим окружающий мир кажется загадочным только до года. А потом им на все это уже наплевать. Наступает взрослость.

БОЛЬШОЕ ОГОРЧЕНИЕ ИЗ-ЗА МАЛЕНЬКОЙ ЛЮБВИ

Ночью она взяла длиннющую палку, побила — все до единого — окна в ресторане на реке и села рядом. Опустила голову, сложила ручки. А она очень маленького ростика… Милиция приехала, бегали-искали, свистели. А её даже не заметили. Ну сидит какая-то маленькая женщина. Кому она интересна…

МАРКС, ОДЕЯЛО, ТРЮМО

В советское время меня немного раздражали три вещи. Это — учение Карла Маркса, длина одеял и высота трюмо. Мой рост был 179,5 см, то есть почти 180. Не самый высокий рост на планете Земля. Но когда я ложился в постель и натягивал одеяло до подбородка, то одеяло доходило до пальцев ног, но на ступню уже не опускалось (не ниспадало) и ступни в итоге оказывались на свежем воздухе. Иногда — на очень свежем.

Если же я подворачивал край одеяла под ступни ног, то с другой стороны одеяло не прикрывало даже плеч. Раздражало… Я думал — ну почему-почему-почему-почему не сделать какую-то часть одеял для более высоких людей, а другую часть для менее высоких? Это же так просто.

И в духе Булгакова хотелось спросить — что Карл Маркс запрещает шить длинные одеяла? Где-нибудь у Карла Маркса сказано… и т.д. и т.п. Чёрная ночь не давала ответа. Издалека доносились звуки речного порта… громкоговоритель… «48-й! 48-й! Куда поехал?.. Скотина!». Район одинаковых пятиэтажек спал у могучей сибирской реки.

Второй источник раздражения — трюмо. Когда я хотел понять, как я выгляжу и смотрелся в трюмо, то я видел себя снизу примерно до линии губ. Выше шли обои. Согласитесь, это неудобно.

Чтобы увидеть ещё и лицо, надо было приседать. Но видеть себя, допустим, в новом костюме присевшим, это вообще какой-то идиотизм. Лицо сразу становилось глупым. И вся ситуация тоже. Снова вставал вопрос — Карл Маркс, он что, запрещал высокие трюмо? Где-нибудь у Карла Маркса сказано… и т.д. и т.п.

Возможно, рядовой строитель социализма должен был быть примерно полтора метра высотой. Планировался таким… Переросток? Получай

проблемы! Пусть мёрзнут твои пятки, и смотри на себя в зеркало только до линии губ. А что ты вообще-то хотел?

Или приседай… Просто, присев, делай умное лицо.

НЕПОНЯТНЫЙ НАРОД. БУКЕТ ИЗ ФРАЗ № 2

Дни Рождества. Дымный, нежный снегопад… Снежинки щекочут лоб. Я стою… слышу рядом…

— Она сказала: «Я хочу так ему дать в лоб, чтобы он понял, что он ничего не понял!» Нет, я себе представляю! Она мне так — ду-у-у-ук! — в лоб. А я такой: «А-а-а-а!.. Я понял!.. Что я ничего … не понял…»

Два мужчины лет тридцати. Стоят у машины, смеются.

Деревья тают в снежном тумане… Да, все эти истории мне, в принципе, по жизни знакомы. Обгоняют двое. Диалог…

— Ты понимаешь, моя — очень хороший психолог!

— Бабы все — хорошие психологи.

Это точно! — мысленно соглашаюсь я…

Две женщины.

— Чуть что, он начинал стонать: «Плохо себя чувствую! Доктор сказал, у меня всё сердце в шрамах!» Мне потом объяснили. Чтобы такой диагноз поставить, надо разрезать грудь и посмотреть на открытое сердце…

Остановка. Два силуэта…

— А я приехал через месяц, смотрю… У нас все розетки починены. Коллега помог. У неё невинные глазки. Ну я сразу всё понял…

Сзади кто-то догоняет, говорит по телефону:

— Такого я нигде (просто нигде) не видел! У неё день рожденья. Пришли гости, сели за стол. Едят и разговаривают… о ЖКХ! О счетах за газ, за электричество! Это потрясающе!.. Я побродил по квартире, нашёл томик Лермонтова, чтобы уж совсем не обалдеть…

Тут любитель Лермонтова завернул за угол в маленький дворик. Опять, наверное, в гости пошёл.

Никак не привыкну. Идёт человек навстречу, телефона в руках нет, и во весь голос говорит. Ну сумасшедший, ясное дело! Потом понимаешь — у него наушники…

Идёт, вот сейчас, такой навстречу, почти кричит:

— Ты понимаешь, какой ей муж нужен?! Невероятно спокойный, чудовищно сильный и патологически молчаливый! Но если что, он молча достанет пулемёт и очень спокойно всех положит. Всех, кто в поле зрения!.. И кто на горизонте маячит!.. А потом сядет в своём потёртом свитере и, нахмурив лоб, молча закурит… Это её идеал мужчины. Да и не только её… Всех баб, наверное.

Прошёл. Оборачиваюсь… Высокий, симпатичный. Он, наверное, тоже идеал, но совсем другой женщины. Надо признаться, я встречал и таких, которым нравятся добрые, домашние мужчины. Одна, помню, с нежностью говорила:

— Я своего зайчика очень люблю! Он такой мягонький!.. Не какой-нибудь кирпич.

А вот двое. Один удивляется:

— Я не пойму, а почему мы, собственно, помешали ей выпить уксус? Столько усилий приложили! Держали её втроём. Ну хочет, — пусть пьёт!

Второй:

— Нет-нет, что ты!.. Это ужасно.

— А что? Представь! Ты бы стоял у гроба такой строгий, в таком красивом чёрном костюме, и все приносили бы... только белые розы!.. Только белые розы!..

— Всё! Ну прекрати... Я серьёзно!..

Два звонких голоска:

— Макаревич! Теперь ты на букву «Ч».

— Челентано!

— Челентано — не певец, это актёр!

— Но он же поёт!

— Где он поёт? В караоке?

В серебре зажигаются маленькие, еле видные пока огоньки. Достаю телефон, чтобы пофотографировать... В сумерки нужно думать о хорошем, о красивом. О любви. Чтобы не привязалась сумеречная тоска! Я вспоминаю... друг мой, путешествуя в городе, иногда оказывается в том месте, где он когда-то встречался с очень красивой девушкой. Когда-то, давным-давно. Рассказывает...

— Там я всегда останавливаюсь и стою какое-то время, смотрю вокруг. И всегда возникает наистраннейшая — и при этом такая реальная! — мысль... а вдруг она сейчас придёт?.. Из того времени...

ИЗ РАССКАЗОВ О ЗАЙЦЕВЕ

Сестра живописи

Я когда-то (как утверждает сам Володя) привёл его в вокальную студию. Ничего об этом не помню. И тут обнаружился прекрасный голос. Со временем Вовка начал петь в церкви. А потом и в серьёзном городском хоре.

Как сейчас помню его, поющего «Скажите, девушки, подружке вашей...». Помню его брови домиком, круглый рот и мощное фортиссимо (если я правильно выражаюсь) в большом старинном, деревянном доме (отданном под мастерские).

Нежный вечер. Разношёрстная публика. Художники, женщины. Подозрительные сибирские типы. Кто-то новый и неизвестный вдруг восклицает в восторге:

— Ну ты дура-а-ак! Просто дурак! Тебе надо петь, а не рисовать!

Тут кто-нибудь невысокий встаёт...

— Что ты сказа-а-ал? Кто дурак?..

Не без сожаления оставлю эту живописную группу. Поберегу читателя. Этим ребятам завтра будет о чём вспомнить и поговорить… И, скорее всего, — посмеяться.

А на воздухе хорошо! Вишня цветёт… Вон в конце улицы маленький милиционер ведёт здоровенного мужика. Закрутил ему руку за спину. Вдруг мужик останавливается, легко «раскрутил» руку обратно и что-то мирно говорит милиционеру. Что-то вроде: «Ну ты чего?» Маленький милиционер силится закрутить руку обратно… Мужик смотрит на него, потом вздыхает, позволяет опять завернуть свою руку, и оба уходят.

Кстати, Леонардо считал, что Живопись — это сестра Музыки. Хочется поглубже подумать об этом. Но пока некогда. Интересно, что Вовка очень снисходительно относился и к моему, так сказать, вокалу. Я тоже мог внезапно почувствовать «властный зов музыкальной стихии». Володя в такие моменты аккомпанировал мне на гитаре. Иногда подпевал.

Я спрашивал с сомнением и надеждой:

— Какой-то слух у меня вроде есть? Как ты думаешь?

Он отвечал серьёзно:

— Михалыч, не какой-то, а — музыкальный!

Бывало, на каком-нибудь нашем застолье с сибирскими пельменями он пел вместе с моим дедом. А у деда тоже в жизни (в юности) был церковный хор. Он знал и очень любил музыку Церкви. Помню эту картину… Дед, крупный, кряжистый, подкрутив усы и чуть задумавшись… мощно запевал густым баритональным басом:

— Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой…

Вовка подхватывал своим лирическим баритоном:

— Шумит, бушует непогода,
Далёк, далёк бродяги путь…

Старый эльф и конная милиция

Очень я любил его старый дом, такой уютный, капитальный на редкость, за рядом высоких старых тополей, на холме. Там теперь какой-то банк. Я приехал в Омск, Володя живёт с Нурсаной в многоэтажке, совсем в другом районе города. Вышли мы с ним погулять, взяли маленькую коньячка… Вот большая компания молодёжи…

Володя:

— Привет, ребята! Отдыхаем?

— Отдыхаем, Владимир Иваныч!

Я улыбаюсь:

— Знают тебя!

— Меня все знают. О, сорока пролетела! А она в Красную книгу занесена… Спроси вот у любого ребёнка: «Где художник живёт?», он тебе покажет: «Вот седьмой этаж, четвёртый балкон слева. Там художник живёт».

Пойдём сюда… Вот, это «Роща любви», так в народе называют. Посмотри, какие клёны… А? Настоящее золото! Помнишь, ты говорил, — какой-то поэт написал, что это гномы выковывают осенние листья…

Тут парочки гуляли раньше. Парни, девчонки… Но какая сейчас любовь! Деревья повырубали, глазков понавешали… Конная милиция ездит…

Я говорю:

— А ты помнишь свой старый дом? Где ты с балкона прыгал и летал, как эльф, между ветвей старого тополя? Неплохо там было, правда?

— Владимир Зайцев всё помнит. Я, например (вот ты удивишься), абсолютно всё помню, что ты мне говорил о живописи… о рисунке. У меня много было учителей, но на самом деле был и есть только один учитель… ты, Михалыч. Извини…

— Значит, ты так ставишь вопрос?

— Стой, погоди-ка!.. Видишь, за деревьями конная милиция едет… Пойдём на всякий случай. Меня-то они, правда, не берут. Говорят: «Владимир Иванович, идите домой, уже поздно. Извините, но вы нам надоели». Я им стихи читал пару раз. Кто же их просветит здесь, кроме меня…

— Северянина, поди, читал? «Ананасы в шампанском»?

— Кстати, зря его так… очень уж критикуют. В нём есть тонкость, есть детство, есть трогательность… наивность некоторая… ранимость… Я его понимаю.

Мы возвращаемся домой среди расплывающихся и текущих огромных берёз… Под ярко-розовой, прохладной тканью сибирского неба. Отдельные нити опускаются и щекочут нам лбы…

Володя улыбается:

— А помнишь, ты говорил: начинать рисовать надо смело и даже нагло? Ты натурщицу тогда рисовал.

— Я говорил?.. Помню. Конечно, помню…

РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ МИХАИЛЕ

Шестопсалмие

> Глаголем же сия псалмы со благоговением… яко самому Богу невидимо, и не имать, кто власти шепоты творити.
>
> *Типикон, 9 гл.*

Пять километров от Петербурга. Колтуши. Храм погружён во мрак, только огоньки лампадок чуть колышутся и чёрные, огромные лиственницы за окнами шевелят своими ветвями.

Шестопсалмие. Тишина. Слышно только чтеца…

Вдруг отворяется дверь и заходит… чувствуется издалека — пьяный. Купил свечей и к канону. Бабушки (им бы его вообще не трогать) зашептали:

«Сейчас нельзя свечи ставить. Вот чтец дочитает псалмы, включат свет, тогда…»

Тот подождал две минуты, потом воскликнул хриплым голосом:

— Ладно, давай там заканчивай, короче! Я тоже в Бога верю! Развели тут…

Две тёмные мужские фигуры двинулись к нему — он угрожающе развернулся:

— Руки!.. Руки, я сказал!

Люди на миг растерялись… Вдруг нежное золотое сияние, как небольшое облако, возникло сзади. Кто-то мягко положил большую ладонь на его плечо. Пьяный человек поднялся в воздух и поплыл куда-то… Пола он касался только самыми носками ботинок, с беспокойством вертя руками и головой…

Когда он подплыл к выходу, дверь распахнулась, и золотое облако мягко вытолкнуло его в открытый космос, в звёздную темноту… Это был дьякон отец Михаил. Своей высокой фигурой в сияющей золотой ризе он очень напоминал ангела.

Постоял немного в притворе… За дверью выкрикнули несколько сложных трехэтажных ругательств, потом всё стихло. Отец Михаил виновато улыбнулся и пошёл в алтарь.

Шестопсалмие продолжалось. Чтец читал:

— Благословите Господа вси ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес Его…

Темнота. Огоньки лампад. Космос вокруг…

Поездка на остров. Часть первая

Однажды отец Михаил появился у нашей калитки с загадочным выражением лица…

— А что, если нам поехать на велосипедах во Псков? И дальше — на остров к отцу Николаю Гурьянову? Потрудимся, чтобы благодать получить. На поезде не то! И много людей не надо. Три — идеальное число. Хотел Петьку взять… он не может. Но даст нам свой велосипед.

Я ошарашен слегка… веду его в дом, говорю странным голосом:

— Можно взять Володю Заруцкого… Приятный, лёгкий… весёлый и деликатный такой человек…

— Согласен, мне Володя нравится.

— Да!.. Но я уже лет сто не садился на велосипед!.. Вот что важно! Я только в глубоком детстве, чуть ли не на трёхколёсном…

— А мы сначала потренируемся в Питере! Поедем по нашим местным святыням. В Александро-Невскую лавру, на Смоленское кладбище…

Моя жена всегда очень приветствовала наше общение.

— Да! Славе очень нужно отдохнуть! Сменить обстановку! Он давно не отдыхал.

— Да, я вроде не устал…

Я, надо сказать, не путешественник. Люблю письменный стол, кипы бумаги на нём, карандаши, кисти, очки и яблоки… пляшущий свет… Люблю, когда где-то рядом Шопен прикасается к клавишам… Во всяком случае, мне так кажется…

— Нет, ты устал, — говорит жена, — ты ведь сам прекрасно знаешь, что надо отдохнуть!

— Но отдыхать — это непросто всё-таки. Это — довольно тяжёлый труд…

— Да ты не волнуйся, — улыбается отец Михаил, — на переходах будем спешиваться и идти пешком. В городе в основном по тротуарам будем ехать. Всё будет хорошо…

Ну надо, так надо!.. Поехали. Но странно, в городе отец Михаил увлёкся что ли… он сразу рванул куда-то между трамваев и грузовиков, а я, можно сказать, закрыв глаза, рванул за ним… Я вспомнил уже на дороге, среди рельсов и дыма, что у моего лидера очень плохое зрение…

Мама дорогая! Его чуть не размазала о бетонную стену туннеля огромная фура!.. Тут он даже приостановился…

— Какой странный водитель… Он же мог человека…

Я говорю немного нервно:

— Странный. А кто не странный? Тут вообще странных полно вокруг…

Отец Михаил рассмеялся:

— Да-а-а… Мы — самые странные! Это уж точно…

Потом были Лавра, Смоленское кладбище. В итоге… я еду по Невскому среди людей навстречу их движению в довольно густой толпе. Вскоре я перестал что-либо соображать, забыл даже — как тормозить! Вот торможу, цепляясь ногой за фонарный столб, а вот за чугунные перила моста на Мойке. Там где-то жил Пушкин…

В конце концов силы меня оставили… и мы оказались в квартире одного приятеля, где я лежал целый час пластом. (Вообще «пластом» — интересное слово, надо будет подумать). Хозяин произнёс, глядя в серое окно:

— Ничего удивительного… Стресс.

Потом потихоньку доехали до отца Михаила, домой я возвращался на маршрутке. Вот она… моя маленькая, милая деревенька. Знакомые места… Заходя в дом, я говорю радостно, естественно, непринуждённо, бодро:

— Знаешь, так хорошо отдохнул! Здорово! Ты была абсолютно права! Теперь могу работать с новыми силами! Прямо вот…

Жена, наклонив голову и прищурившись, внимательно смотрела на меня…

— Нет… ты ещё недостаточно отдохнул!.. Вот поедешь во Псков, там ты отдохнёшь по-настоящему!

Ты нужен

Петербург девяностых. Тёмный город, огни. Ядовитыми цветами расцвели киоски. Что-то хотел купить в одном, заглянул… внутри сидит ярко-розовый чёрт с высокими рогами. Маска, конечно, но… я отошёл в сторону.

«А город пил коктейли пряные…» Да, много было напившихся этих коктейлей, много бездомных, больных, сумасшедших. Появились новые «хозяева жизни».

Тревожная и вместе с тем пьянящая атмосфера. Пьянящая безумной свободой. На втором этаже здания по Свечному переулку одно время висела большая вывеска «Общество идиотов».

Отец Михаил как всегда останавливался там, где многие бы не остановились. Вот молодой, здоровый парень издевается над стариком-ветераном. А у того вся грудь в медалях.

— Где медали купил? Почём? Воева-а-ал! А зачем? Сейчас бы пил баварское!

Отец Михаил встал перед ним…

— Ну и че ты, поп, встал? Будешь на человека руку поднимать? Тебе ж нельзя!

— Нет, я не буду о тебя руки пачкать. Для тебя и ног хватит.

Парень взглянул на крупную ступню отца Михаила в тяжёлом кирзовом сапоге… попятился и, что-то ворча, пошёл своей дорогой…

Отец Михаил печально посмотрел ему вслед… и побежал на маршрутку, на лекцию — читать вместе со старушками то, что написал когда-то (или вчера?) Духом Святым царь и пророк Давид. Радоваться и восхищаться…

А вот другой случай. Двое мужчин пристают к молоденькой девушке. Она растерялась, испугалась…

— Отстаньте от девушки.

— А то что?.. Что ты сделаешь?

Отец Михаил посмотрел пристально:

— Убью.

Они подумали секунду, потом съёжились… и растворились в сумерках.

Возможно, смешно это прозвучит после всего вышеописанного, но отец Михаил был очень добрым человеком. Неконфликтным. Пока это не касалось святыни или ближнего. Тогда он мог сказать сурово и со властью. Противиться не хотелось. Совсем.

С друзьями же он был как большой ребёнок. Любил баловаться, радовать и удивлять. А когда рассказывал что-то «из священного», у него загорались глаза… и у нас тоже. Удивительная радость!.. Он столько знал! И знания такие необычные, и так поэтично!..

Странно, но в памяти всплывают почему-то самые простые фразы, сказанные отцом Михаилом… Как будто я смотрю фильм, снятый любительской камерой.

— А давай поедим сначала сладкого? Так туркмены делают…

— А я нож уже наточил, пока сидел. О блюдце. А там, на обратной стороне есть такое необработанное место, об него можно наточить.

— Нет, молоко нельзя пить после вина! Один учёный, мой приятель, в экспедиции (в пустыне) выпил и потом всю ночь «играл в долину гейзеров»!..

— Сейчас я покажу вам, как разделывать селёдку без ножа. Это целое искусство!..

— А вот это блюдо… заливаем этим соусом сырую рыбу… называется у китайцев «Хе». Все, можно пробовать!.. Не бойтесь!

А вот разговор о знакомых врачах…

— Да, хорошо, что такие врачи работают в тандеме. Вдвоём они могут даже… вылечить человека!

А вот его самого вылечить не смогли…

Вспоминаю, как мы с ним первый раз были у отца Николая Гурьянова на острове Залит. Старец тогда завёл его в свою келью, сказал:

— Рукополагайся, ты нужен!..

Наш маленький храм

— Что такое Колтуши? Посёлок, деревня?

Отец дьякон Михаил Преображенский подумал немного и улыбнулся:

— Колтуши… это сад…

Это действительно была целая череда запущенных садов, белые двухэтажные домики в немецком стиле. Православный храм, бронзово-зелёный академик Павлов с собакой, старые обезьяны в клетках, мёртвые (90-е годы!) корпуса Института физиологии. Кому, действительно, нужна эта физиология? Ну её в баню.

Кстати, была ещё аллея с бюстами учёных и псевдоучёных (типа Джордано Бруно), во главе которой стоял бюст Дарвина. Первый раз я увидел эту интересную группу поздно ночью…

Я возвращался домой, когда вдруг рядом ударила молния. Тут я внезапно узрел ярко освещённую голову Дарвина и был поражён… Она была больше остальных… Голова получеловека — полугориллы… Первобытный ужас…

В храме стояли рядом профессора биологии и простые старушки. Отец дьякон Михаил вообще был образован до невозможности. Знал просто всё на свете. (Одно время, говорят, преподавал в Англии в университете). С ним особенно любил беседовать Олег (водитель маршрутки), который имел крепкий гараж и два погреба. Но не имел мотоцикла.

А за окном птицы пели, как сумасшедшие. В озере плавал не представившийся никому аквалангист. А прямо у самого озера в знакомом саду (где вместо яблонь росли огромные берёзы) чудаки-бессребреники пили на пригорке чай и беседовали о Макарии Великом Египетском.

Вскоре мы с женой тоже перебрались в частный дом. Помню, в августе (а может, в сентябре), под вечер, мы с моей большой белой собакой (красавицей) ложились, бывало, посреди двора на большую кучу золотых осенних листьев и смотрели на луну… на ущербе, с краснотой с одного боку.

Дрова были уже порублены на зиму и уложены в большую поленницу… и мы не знали о том, что были счастливы…

ИСКОРКИ РАЯ

Размышление

«Посылаяй источники в де́брях, посреде гор про́йдут воды»… 103-й псалом…

Поэт слышит и говорит: «Да, да, это так…»

«Положил еси тьму и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии».

Поэт говорит: «Да, да, это так…» И даже когда поэт говорит вроде бы о другом, например…

«Белая берёза под моим окном

Принакрылась снегом, точно серебром…»

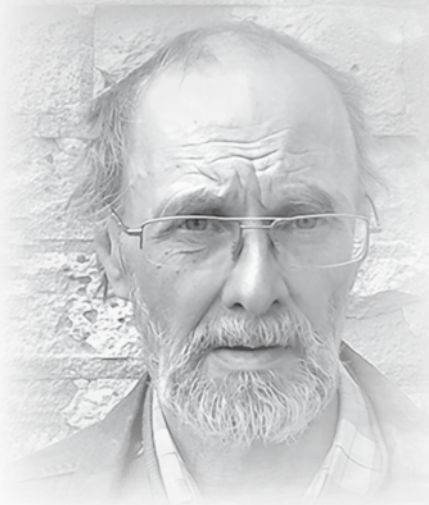
Это, на самом деле, тоже: «Да, да, это так…» В этих словах я слышу знакомые нотки, я слышу запахи детства, которые говорили, шептали моему сердцу: есть тайна, прекрасная тайна и жизнь бесконечна. Потом я повсюду искал эти запахи, эти нотки. Они тоже меня искали.

Восток… Я читал в каком-то журнале. Восточное селение ждёт несколько дней праздника, и вот появляются акробаты, жонглёры, фокусники, но народ ждёт… ПОЭТА. Они выходят навстречу… И вот наконец появляется ОН. Начинается праздник. Поэт поёт народные эпические песнопения… а в центре — ТАЙНА. Поэт указывает перстом на Тайну…

Он подтверждает детские ожидания… Поэт приходит — чтобы обнадёжить тебя! Есть вечная тайна, есть вечная красота, есть вечная жизнь, и угасающие искры снова вспыхивают. Вспыхивают… и пропитывают огнём молекулы и хромосомы.

Что это за огонь? Что такое талант? Я дерзаю думать, это ма-а-аленькая частичка (искра) тех огненных языков, что сошли на апостолов в Сионской горнице. Этот огонь оживляет угасающие искры в душах людей и в сумерках мира. Поэт видит искорки Рая, узнаёт их. Каждая кричит ему: да-да-да-да!..

Мир заполнен бесконечными подтверждениями слов Господних. И Поэт, видя их всюду вокруг себя, стоит на холме, смотрит вокруг и говорит: «Да, да… это так…»



Иван Макаров

Иван Алексеевич Макаров родился в Москве в 1957 году. Окончил химико-технологический институт. Работал инженером, слесарем, сторожем, дворником и т.д.— как все или как многие. Стихи и проза публиковались в журналах и альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Волга», «Нева», «Плавучий мост» и др. В 2006 году вышла книга стихов. С 2008 года живёт, с некоторыми перерывами, в г. Боровске Калужской области.

НОВЫЕ СЛЁЗЫ СТАРОГО КРОКОДИЛА

* * *

Облака, плывущие по лужам,
Отгоняют мимолётный страх…
Я сегодня выпил и простужен
На осенних золотых ветрах.

Я немного в жизни понимаю,
Но бывает пасмурно в груди,
И неосторожно вспоминаю,
Что не стоит никого судить.

Я и сам достоин сожаленья,
У меня не ясные глаза,
Но и я своё имею мненье
И хочу чего-нибудь сказать:

Граждане, минуточку внимания!
Жизнь везде — *от облацев* до дна.
Кошка тоже — *всякое дыхание,*
Несмотря на то что хищница она.

БАНАЛЬНЫЕ РИФМЫ

Эхо каменного века
Оглушает человека.
И живёт он, глух и нем,
Невменяемый совсем.

Эхо каменного века
Вдохновляет человека.

Он ломает всё подряд,
Камни по ветру летят.

Эхо каменного века
Догоняет человека.

Он страдает и дрожит:
Он уже не убежит.

Эхо каменного века
Вопрошает человека:

«Чижик-Пыжик, где ты был?»
«На Игарке водку пил…

На Игарке водку пил,
И в Бишкеке водку пил,
Всё на свете позабыл,
Всех на свете разлюбил…»

На дворе кирпичный век.
Ропщет бедный человек.

* * *

Наш школьный двор, где маки алые,
Где мы с дурацкими вопросами:
Учителя, как дети малые,
Ученики, как люди взрослые.

Учителя, как дети малые,
Всему на свете удивляются.
Ученики уже усталые
С насущной жизнью не справляются.

Учителя живут рассеянно
И исправляться не стараются.
Ученики самоуверенны.

Над школой тучи собираются.

* * *

Архимед сказал:
«Капли камни точат».
Киевский вокзал.
Вечер. Дело к ночи.

Архимед был прав —
По определенью…
Но у нас райздрав,
Ночь и удивленье.

Но у нас теперь
Бури и метели.
Архимед, поверь,
Трудно в самом деле!

На щеке слеза,
На душе смятенье…

Архимед сказал:
«В рычаге спасенье».

Киевский вокзал.
Поезд на причале…
Архимед печален:
Он не всё сказал.

* * *

Все любили, всех любили,
В целом мире… Там и тут…
Миллиарды «Жили-были» —
Где теперь они живут?

Может, кто-то в Петрограде?
Может быть, на Соловках?
И в Сибири, и в Канаде…
Или просто в облаках.

Говорят, что каждый третий…
А другие — прах и персть…
В тесноте тысячелетий
Всем на свете место есть.

Всем, которые любили…
Для того и жили-были…

* * *

Мы покоя не чаем.
Все проткнуты лучами…
Мы ли всё изучаем,
Нас ли кто изучает…

Кто в науку не верит,
Тот о многом не знает.
Даже добрые звери
Наблюдают за нами.

Вне сетей Наркомпроса,
Без оград и оков
У Собаки Барбоса
Много учеников.

В рамках практик и логик
Все проходят ученье
И, сойдясь у дороги,
Обсуждают явленья.

* * *

Краткий миг — щелчок затвора.
Ничего уже не жалко —
Взгляд холодный репортёра
Погружается в зеркалку.

Шестерёнок тихий скрежет —
Неопасное увечье —
Фотография отрежет
Голову ему по плечи.

Хоть на стену, хоть в газету,
В рыжую обложку «дело».
Побредёт лицо по свету,
Отлучённое от тела.

Осень. Дым. Листва танцует
Многогранными дворами,
По плечам башка тоскует
Неподвижными шарами.

Все мы верим, как солдаты,
В вероятность возвращенья.
Всё, разъятое когда-то,
Жадно ждёт соединенья.

Где-то что-то есть такое —
Где рычат, как леопарды,
Груди, чрева, всё другое,
Не вместившееся в кадры.

* * *

Мы живём, как в пустыне морской острова,
Еле слышные звуки в ночной тишине.
У осеннего ветра дрожит голова,
И качается пена на дикой волне.

Облетает листва
С кинотеатра «Литва»,
И от ветра дрожит на газоне трава.

Всё уходит туда, неизвестно куда.
Облетают сады, улетают сады.
На щеках и плащах дождевая вода.
Это всё отражается в капле воды.

Это осень идёт из ухаба в ухаб,
И трамваи звенят тяжелее оков.
Подожди уходить — не сегодня хотя б!
Облетает листва с кучевых облаков.

Мы живём, как в раю, у зимы на краю.
Как в пустыне морской, в тесноте городской.
Обнажённые клёны застыли в строю.
Ты уходишь, и холодно с этой тоской.

И нигде никого. И не скажет никто,
Как деревья бездомны в своей высоте,
Как уходят минуты — водой в решето,
Нас уносят с собою — водой в решете.

* * *

Свечи тают, оплывают,
Тёплый свет на лица льют.
Насекомые летают,
И танцуют, и поют.

И в порядке заблужденья,
Как снежинки на ладонь,
Как на странное растенье,
Налетают на огонь.

Мы живём, забыв про это,
Обо всём забыв, живём…
Мы идём навстречу свету,
Мы идём, идём, идём…

* * *

Всё здесь спутано — правда и ложь…
Двор, забор… Ничего не понятно.
Эти окна, стеклянные сплошь,
То светлы, то темны, то квадратны.

А под окнами ёлки торчат.
Среди них, ожидая ответа,
Люди ходят, стоят и кричат
В небо тёмное, в окна со светом.

Почему-то похожи они
И как будто бы даже знакомы.
Ветер, снег. Минус двадцать в тени.
Габариты родильного дома.

Зимний путь, неподвижность минут,
Повторяющих раннее детство,
Где кого-то куда-то зовут,
А кого и куда неизвестно.

* * *

Ветер в лоб обдувает кабину
И поёт неизвестно кому.
Свет бежит, обгоняя машину,
И торопится спрятаться в тьму.

Мчатся мимо уснувшие хаты,
В полных лужах сверкает вода.
И поверить нельзя, что когда-то
Я не ехал ещё никуда.

Тихо ждать, наблюдая окрестность,
Утопать в пребывании здесь.
В неподвижности есть неизвестность,
И, быть может, движение есть.

Но пойми, разве мог я остаться? —
Это было бы хуже тоски.
Даже тени бесплотные мчатся,
Совершая смешные прыжки.

* * *

Самолёты летят и летят,
И, друг друга едва узнавая,
Города друг на друга глядят
Сквозь замёрзшие окна трамвая.

Самолёты летят и летят,
И, в чужих города пребывая,
Пассажиры беззвучно сидят
У заснеженных окон трамвая.

Сон и шорох двуногой травы…
Мимолётные, кто же мы сами? —
Во Владимире гости Тувы,
А в Калуге друзья из Рязани.

Что я видел в чужих городах? —
Забегаловок полные чаши?
Даже яблоки в наших садах
Совершенно такие, как наши.

Всюду осень и всюду зима.
Всюду люди темны и усталы.
И повсюду чужие дома,
Одинаковые, как кристаллы…

Ночью всюду цветные огни…
Мы спешим, всё равно не успеем.
Мы в замёрзшем трамвае одни
И, быть может, друг друга согреем.

Час прощания. Не забывай!
Что я именно не забываю?
Ничего. Только этот трамвай
И замёрзшие окна трамвая.

* * *

Явь проста, как топор лесоруба,
Просто так, без литавров и труб
Сто солдат маршируют у клуба
Над цветами и зеленью клумб.

Сон насущен: короткое лето,
Там цветы не на клумбах цветут,

Снятся женщины, солнцем согреты,
Вспоминают, и любят, и ждут.

Всё прощают и всё обещают,
Всех дождаться, понять и простить…
Это их сто солдат защищают
И не могут никак защитить.

* * *

То ли радуга, то ли дуга,
То ли выпрямлен путь поколенья:
Поиск лучшего в мире врага
В равнодушном строю оцепленья.

Он стоит за высоким щитом,
На щите его тёмные пятна…
Краткий миг, яркий свет, а потом
Всё забудешь, и это понятно…

Не вполне ещё светлый рассвет.
Крик души празднозвучный отныне.
В идиотском дыму сигарет
Дрожь в руках, и на веточках иней.

* * *

У ворон вся земля под крылом:
Сосчитают нас и перепишут,
Но звучит покаянный псалом,
Даже если никто и не слышит.

…Не спеши за углом на троих,
Не гони от привала к привалу,
Труден путь узнаванья своих:
Нас осталось мучительно мало.

Не беги со двора своего
В зелень маленьких утренних клёнов.
Нас осталось всего ничего:
Может, несколько сот миллионов.

Милый друг! Друг от друга вдали
Мы гуляем по краю земли…

* * *

Предпочтения и вкусы…
Суета людская…
Парк троллейбусный. Миуссы,
Улица Тверская.

Ничего почти не жду я…
Прост, как травы сорные,
И по улице иду я
В западную сторону.

Заблуждений горький плод —
Бытия безумного…
Площадь. Памятник. Народ
У вокзальной шумного.

Дождь на окнах будто слёзы,
Совершенно горькие.
Ходят девки. Носят розы
К памятнику Горькому.

НА ГЛ. 8 ОТ ИОАННА

И даже то, что всем давно знакомо,
Сегодня бы случилось по-другому…

…Не думают, не любят, не страдают
Все вдохновенны.
И стыда ни капли.
Все без греха. Они кидают камни.
И многие, конечно, попадают…

И всё сначала: чистая страница…
То Крестный путь, то дальняя дорога…

Уходит недобитая блудница
На поиски Неведомого Бога…

Ольга Клюкина



Ольга Петровна Клюкина — прозаик и драматург. Родилась в посёлке Приволжский Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского. Публикуется с 2001 года. Автор романа «Эсфирь», серии книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате», других произведений для взрослых и детей. На сцене калужского ТЮЗа поставлена её пьеса «Беликов. Реабилитация». Лауреат премий им. В. Д. Берестова и им. И. В. и П. В. Киреевских, дипломант XI Международного Славянского литературного форума «Золотой витязь» 2020 года. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

СТРАНА ОЛЬГОВКА

Неопубликованная страница из Википедии

Ольго́вка, или Страна Ольговка, — район на северо-восточной окраине Калуги. Ольговку можно считать отдельным государством в черте города — это место имеет свою историю, обычаи и неписаные законы.

Происхождение названия [править | править код]

В древние времена на этой территории существовало заповедное Ольговское княжество, где жили одни только сплошные Ольги.

В районе и теперь есть Ольговская улица, Ольговский переулок, Ольговский лес, Ольговский пруд и проживает много потомков былинной княгини Ольго[1].

История [править | править код]

В Смутное время на месте разорённого литовцами княжества возникла деревенька Ольговка, куда женщин с другими именами и на порог не пускали. Традиция была нарушена в советские годы, когда на Ольговке построили Ольговский кирпичный завод (ОКЗ), куда на тяжёлую работу брали уже без разбора на женский и мужской пол.

В настоящее время от завода осталась лишь груда заросших травой кирпичей и железные ворота с облупленной синей краской и буквами «ОЗ» (средняя «К» куда-то подевалась). По мнению ряда калужских краеведов, аббревиатуру «ОЗ» следует читать как «Ольговский замок» или «Ольгин замок», который в древности стоял как раз на месте заводских руин.

Так как археологические раскопки на Ольговке ещё не производились, данная версия пока не нашла научного подтверждения.



Население [править | править код]

Основное население Ольговки — пенсионеры старые, молодые и очень древние. Некоторым обитателям страны Ольговка исполнилось по сто, двести и даже по пятьсот лет, но они тщательно скрывают свой возраст, чтобы не лишиться социальной пенсии.

Возраст ольговских долгожителей обнаруживается зимним утром, когда согбенные, стуча палками, они как пилигримы пробираются в темноте по обледеневшим тротуарам к магазинам.

Некоторые местные жители вообще обрели бессмертие в посаженных ими деревьях. Старые берёзы, рябины, груши и клёны на Ольговке давно дотянулись до неба и оттуда продолжают приглядывать сверху за своими внуками и правнуками, обитающими в пятиэтажных домах.

Душа некоторых обитателей Ольговки незаметно переместилась в цветники возле подъездов, в том числе и ныне здравствующих. Всем известный цветник «Анна Филипповна» носит имя маленькой, щуплой старушки, которая высаживает возле своего дома всё новые и новые цветы и во время работы громко распевает пионерские песни («…близится эра светлых годов…»)[2].

Однажды на пустыре между панельными домами была замечена старая колдунья. Она сидела на земле в окружении раскрытых сумок и в железном ведре жгла бумаги. Ольговская колдунья бросала в ведро пожелтевшие газетные вырезки, конверты, открытки, помешивала их палкой и что-то бормотала себе под нос. Её лицо в отблесках огня было молодым и вдохновенным — она сжигала своё прошлое.

Некоторые эпизоды позволяют сделать вывод о древнем родстве всех жителей страны Ольговки. Например, рассказ одной из местных жительниц:

«Двое мужчин стоят возле мусорных баков и о чём-то оживлённо беседуют. Иду мимо, и вдруг один бросается мне наперерез:

— Хорошо, что ты пришла! Поздравь меня скорее!

Незнакомый человек. Вроде бы не пьяный, но глаза весёлые, шальные.

— Наверное, вы меня с кем-то спутали, мы не знакомы, — говорю осторожно.

— Как это — не знакомы? — кивает он на серую панельную пятиэтажку. — Я на Ольговке всех знаю, ты в этом доме живёшь. А я каждый день мимо дочку вожу с детский сад. Поздравь, соседка! У меня сегодня сын родился.

— Отлично. Поздравляю.

— Хочу Мироном назвать, а жена против. Ты сама-то как думаешь?

— Красивое имя. Редкое… от слова «миро»… это такое благовонное масло…

— Да какое ещё масло? — перебивает он меня на полуслове. — Не слышишь, что ли? Мирон. Мир — он. Мир! Он — мир. Он мир нам принесёт!

Он бросился меня обнимать, и я была не против — всё-таки симпатичный мужчина…»[3]

Климат [править | править код]

В стране Ольговка особый климат, не похожий на погодные условия в других районах Калуги. Весна, лето и осень здесь бывают несколько дней в году, а всё остальное время длится зима.





Старушка с палками для скандинавской ходьбы, пытаясь пробраться через сугроб на тротуаре, разговаривает сама с собой:

— Вот откуда я такая тяжёлая?

Две девочки, спотыкаясь на льду, спешат в школу, и при этом обе смотрят в свои мобильные телефоны.

— Посмотри, какая тут у меня красота!

— И у меня такая же.

— Это у меня на балконе утром. Гляди, сколько снега ночью нападало.

— И у меня столько же.

— На всех деревьях вокруг снег.

— Говорю же: и у меня точно так же!

Архитектура [править | править код]

В советские годы в стране Ольговке на месте бывшей деревни среди зарослей дикой малины (соседний микрорайон называется «Малиновка») появились жёлтые двухэтажные дома («сталинки») и серые панельные пятиэтажки («хрущёвки»). Они строились без генерального плана, хаотично, и отыскать дома на Ольговке по адресам без помощи старожилов практически невозможно.

Самым старым зданием на Ольговке является жилой двухэтажный дом с мезонином послевоенной постройки. Он отличается некоторыми архитектурными излишествами и основательностью — на первом этаже многие годы находится хозяйственный магазин. По легенде, в этот дом превратился один очень хозяйственный и щедрый старик, снабжавший жителей Ольговки

всеми необходимыми в быту и садоводстве товарами. В особо снежные зимы он нахлобучивает на мезонин белую шапку-ушанку, распускает космы сосулек и на какое-то время становится похож на себя прежнего.





В новом тысячелетии на Ольговке началось строительство современного торгового центра — с кинотеатром, бутиками и фуд-кортом, но он так и остался недостроенным. Дорогостоящая коробка из стекла и бетона постепенно разрушается на пустыре, став памятником утраченным иллюзиям иметь в стране хотя бы один ресторан или кинотеатр.

Важной частью архитектурного облика Ольговки стали дома для собак (конуры), которые спонтанно появляются в разных местах и также неожиданно исчезают. Зимой конуры принято обивать теплоизолирующими материалами, застилать старой одеждой и украшать коврами.





Памятники истории и культуры [править | править код]

Главным памятником культуры и красоты в стране Ольговке является лес.

Вот его описание в неизданном каталоге основных памятников истории и культуры Калужской области:

«Тропа вдоль дач и небольшая поляна, раскатанная автомобилистами — это подъезд в лес — нерукотворный дворец. В зелёные залы ведёт коридор, устланный ковровыми дорожкам с узорами из тёмных луж и опавших листьев в белых крапинках инея. В просторном вестибюле с колоннами из высоких сосен днём царит полумрак, а по вечерам здесь включается розовый закатный свет с праздничными огоньками дач. Кусты орешника, склонившись под тяжестью снега, зимой превращаются в дворцовые арки. Крытые переходы ведут в столовую, где на деревьях в кормушках из пятилитровых пластиковых бутылей предлагается щедрое угощение для белок, синиц, соек и прочих званых гостей.

Берёзы по краям дворцового леса напоминают узкие длинные окна, сквозь которые в гостиную проникает свет. Эта комната украшена графическими обоями в японском стиле (рисунок имитируют стволы елей с торчащими сучьями) и устлана светлыми коврами с узорами крестиком из опавших иголок. Выпирающие из земли и покрытые ярко-зелёным мхом корни старых берёз служат для посетителей дворца удобными плюшевыми креслами и диванами на гнутых ножках»…[4]

Приведённое длинное описание Ольговского леса искупает тот факт, что других заметных достопримечательностей здесь не обнаружено.





Экономика [править | править код]

Экономическим центром и нервом страны Ольговки является торговая база «Холодильник», известная во всех районах Калуги. Внешне база представляет собой большой, разгороженный стенами ангар, где в дверных

проёмах висят полупрозрачные полиэтиленовые полоски, как для ловли мух. Они прилипают к рукам и к лицам розничных покупателей, пытаясь не допустить их к прилавкам, зато беспрепятственно пропускают грузчиков с железными телегами.

Впрочем, покупателей в розницу, которые с утра идут отовариваться «на Холодильник», ничто не останавливает. В полутёмных ангарах то и дело раздаются озабоченные голоса:

— Брюшки сёмги… пирог испеку…

— … И никакой у внука не переходный возраст! Они все сейчас ушли в какую-то мозговую хрень! Он у нас красные яблоки любит…

Целыми днями к оптовой базе подъезжают грузовые и легковые машины — одни везут продукты из разных городов, другие развозят их по магазинам Калуги. Ящики и бочки выгружаются и загружаются на громыхающие телеги, и перед грузчиками покупатели почтительно расступаются.

Только продавщицы — эти жрицы царства торговли — имеют над грузчиками в «Холодильнике» безраздельную власть.

Выйдя на крыльцо и упирая руки в боки, они спрашивают:

— Ну, сливки общества? Кто сегодня ко мне?

В одном из отсеков торгового склада есть тайная картинная галерея, которая даёт представление, что своей силой и чарами женщины за прилавком обязаны образу местной княгини Ольго.



Транспорт [править | править код]

Из Ольговки в центр города можно добраться на коммерческих автобусах номер 61, 8 и троллейбусе номер 8 до остановки «Конечная». Большинство местных жителей предпочитают троллейбус, где действует льготный проезд и можно чувствовать себя свободно, как у себя дома.

Старушка, подсаживаясь к крупногабаритному мужчине:

— Можно к вам? Не волнуйтесь, у меня попка маненькая…

Пожилая семейная пара. Жена громко жалуется мужу:

— Я ей пишу смс-ку: «Юля, мы с папой хотим приехать». В ответ молчание. Я снова пишу: «Юля, мы с папой сегодня приедем». Ни звука. Написала: «Мы уже сидим в троллейбусе, будем в 12.30». В ответ получаю одно слово: «Ясно». Как это понимать? Может, плюнуть на всё и не отвозить ей грибы?

— Да ладно, тронулись уже, едем, — говорит он добродушно. — Тихо, тихо, моя ежиха…

Женщина с восточной внешностью рассказывает кому-то из своих:

— Она меня спрашивает: ты зачем на сына своего так ругалась? Разве так можно? А я говорю ей в ответ: у нас, татар, и взрослые сыновья матерей слушаются. А у вас даже маленькие внуки — чуть что не так — вскочат и убегают.

— Вы всегда над нами превозносились, — комментирует кто-то с задней площадки, — ещё со времён татаро-монгольского ига!

Известные люди [править | править код]

На Ольговке проживает много известных личностей.

Все знают молодого мужчину, который круглый год (зимой тоже) выходит на улицу покурить в махровом банном халате и домашних шлёпанцах на босу ногу. Он картинно стоит у всех на виду, подпирая спиной косяк открытой двери в подъезд, держа в одной руке дымящийся бокал с кофе или чаем.

Некоторые прохожие с ним здороваются, косясь на голые, красные от мороза ноги, другие останавливаются, чтобы перекинуться с местной знаменитостью парой слов. Человек в махровом халате образовал на Ольговке нечто похожее на мужской клуб, где за чашкой чая или с бутылками пива в непринуждённой беседе происходит обмен новостями.

В подражание ему мужчины в махровых халатах и тапочках на босу ногу замечены возле своих подъездов и в других домах на Ольговке — это стало модой среди местных курильщиков.

Широкой известностью на Ольговке пользуется человек, работающий зимой на снегоуборочной машине. Она очень старая, с проржавевшими боками, и, кажется, у неё вот-вот отвалится ковш. Но все спокойны за технику, потому что за баранкой сидит немолодой человек профессорского вида в белой рубашке и галстуке. Сквозь стёкла кабины видно сосредоточенное, несколько надменное лицо человека, который приходит на работу как на праздник.

С недавних пор на Ольговке прославилась девушка по имени Аня. Вот как описывают этот случай:

«К дому подъехало такси, из которого вышли трое: парень с тортом, девушка с загадочной разноцветной трубкой и ещё парень, держа в руке какой-то флакон. Они остановились на площадке возле подъезда, открыли коробку с тортом и начали громко кричать: «Аня, выходи! С днём рождения!»

Из подъезда выбежала Аня в домашнем халате. Первый парень надел ей на лицо торт, второй парень вылил на голову флакон синей краски (наверное, из магазина приколов), девушка дёрнула за хлопушку и осыпала именинницу с головы до ног конфетти. Все громко засмеялись, после чего гости быстро сели в такси и уехали, а счастливая Аня с кремом на лице и синей краской на волосах побежала домой.

Из подъезда с веником, ведром и шваброй вышла бабушка Ани и стала неторопливо убирать беспорядок»[5].

Известных людей Ольговки иногда сравнивают с известными персонажами из фильмов итальянского кинорежиссёра Федерико Феллини, но из-за разницы в климатических условиях это представляется некорректным.

Почётные граждане [править | править код]

Почётными гражданами Ольговки, по общему признанию, являются бездомные собаки с жёлтыми чипами в ушах. Крупные беспородные псы — рыжие, чёрные, белые, бурые — свободно бегают на детских площадках, спят возле подъездов, караулят покупателей у дверей магазинов, и все выполняют свою миссию.

Одни собаки почётным караулом провожают по утрам сонных детей в школу — подпрыгивают, заглядывают в глаза, крутятся волчком и предлагают пробежаться наперегонки. Некоторые собаки любят зимой помогать малышам кататься с горки — они забираются на вершину и всякий раз, когда смельчаки съезжают вниз, восторженным лаем выражают одобрение.



Другие псы предпочитают сопровождать до магазинов старушек и греть им ноги, когда те присаживаются на лавку отдохнуть.

В стране Ольговке никому не приходит в голову обижать и тем более бояться бродячих собак, они здесь — священные животные.

Наиболее почётным гражданином Ольговки и негласным собачьим королём признан Мишка — старый рыжий пёс без хвоста. Он живёт на ступеньках мясного магазина «Ферма», принимая щедрые дары от всех своих подданных. В холодное время года благородного старика пускают поспать в тамбурах сетевых магазинов, и он дели-



катно укладывается таким образом, чтобы не мешать покупателям. У Мишки есть даже своя личная картонка в одном из ангаров торговой базы «Холодильник», куда он время от времени тоже приходит за данью.

Почётным гражданином Ольговки является также небольшая чёрная дворняга с круглыми жёлтыми глазами и седой растрёпанной бородой («Мультик»). Каким-то образом этот пёс знает о своей неотразимой внешности и, как хороший актёр, научился «торговать лицом». Он никогда не лает и не суетится, а молча садится напротив дверей магазина и с немым укором смотрит на всех, кто оттуда выходит с покупками. Под его гипнотическим взглядом даже самые прижимистые начинают торопливо шарить в своих пакетах[6].

Почётом на Ольговке пользуется домашний пёс породы боксёр — такой старый, что хозяева уже не выводят гулять. На балконе второго этажа ему сделали специальное окошко, куда боксёр высовывает голову и целыми днями молчаливо и благожелательно наблюдает за прохожими. Лишь при виде крошечных комнатных собачек на тонких ножках, которых выгуливают или носят под мышкой молодые мужчины, боксёр напрягается и возмущённо говорит: «Хав».

В литературе и искусстве [править | править код]

«Нелегко накормить ночью чёрную собаку» — ольговская народная пословица.

«Настоящая Россия — это вам не Москва-Сити или Патрики и даже не заброшенные деревни, ставшие территориями заповедников, а вот такой район на городской окраине, как Ольговка,» — из книги одного калужского писателя.

Страна Ольговка нашла отражение в творчестве поэта Александра Трунина, который создал её метафизический образ[7]:

* * *

Снегопад не спеша, полегоньку
засыпает ночную Ольговку,
а Ольговка заснула давно.
Лишь незваной бессонницы знаки
загораются паки и паки —
то одно, то другое окно.

Загораются, светятся, гаснут.
Я бы тоже заснул, но напрасно
пью пустырник. И глаз не сомкнуть.

Словно страж, ненадёжный, но трезвый,
я стою перед звёздною бездной,
до утра сторожу Млечный Путь.

Что мне тёмные тайны галактик,
ведь никто и копейки не платит
за охрану великих светил.
Над снегами заря на востоке
брезжит. Только б в недолгие сроки
с миром спать командор отпустил.

«Он пел, озирая родные края: «Ольговка, Ольговка, Ольговка моя!» — на мотив «Гренады».

Примечания [править | править код]

[1] Автор статьи тоже носит имя Ольга.

[2] «Взвейтесь кострами, синие ночи» — советская пионерская песня, написанная в 1922 году. Автор слов — поэт А. А. Жаров, автор музыки — пианист С. Ф. Кайдан-Дёшкин.

[3] Автор предположительно принадлежит к кругу калужского краеведа Ю. В. Холопова. https://belinkaluga.ru/jurij-holopov/

[4] Судя по описанию, неизвестный автор является последователем Калужской лирической школы (КЛШ), основные положения разработал и теоретически обосновал известный калужский писатель А. Ю. Убогий.

[5] В Ярославский области 12 человек оштрафовали за плевки на улице, и ещё с 50 была проведена серьёзная беседа. За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1500 рублей, за повторное нарушение — 3000 рублей. Этот закон для увеличения прибыли могло бы ввести руководство оптовой базы «Холодильник».

[6] Взгляд Мультика сумел отразить художник Вячеслав Некрасов (если перекрасить одну его собаку в чёрный цвет), который однажды посетил страну Ольговку. Подробнее о нём здесь: https://belinkaluga.ru/Некрасов-Вячеслав-Михайлович



[7] В творчестве А. В. Трунина есть стихи не только о стране Ольговке зимой, но и в другие времена года.

* * *

Я пишу вам с Ольговки — привет! —
потому что сегодня, в апреле,
был такой удивительный свет,
словно ангелы к нам прилетели.

Всё сияло — деревья, дома,
вся ольговская экзопланета.
Фонари посходили с ума
и включились в нашествие света.

Новой жизнью запахла земля,
чуть дрожали воздушные знаки,
небывалое счастье суля
посреди галактической драки.

Ольговка. 13.02.2023

Подробнее о творчестве А. В. Трунина можно узнать: https://belinkaluga.ru/trunin-aleksandr-vasilevich/?doing_wp_cron=1764055152.1630530357360839843750

Если вы хотите дополнить сведения в Википедии, можно отредактировать статью самостоятельно, так как любой пользователь имеет возможность вносить правки. Для этого найдите нужную статью, нажмите кнопку «Править» и внесите изменения.



Алексей Жемчужников

Алексей Эдуардович Жемчужников родился в 1960 году в Курске. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Профессиональный живописец и график. Лауреат международной премии им. Лоренцо Медичи (номинация «Живопись») 2001 года. Публиковался в литературных альманахах и антологиях «Царицын», «Эпифания», «Мастера поэзии и прозы». Финалист международных поэтических премий «Фонарь-2024» и «Фонарь-2025». Лауреат серии «Лучшие поэты Москвы и Подмосковья» (МОО СП РОССИИ) 2025 года. Лауреат международного поэтического конкурса «Рыбы в море поэзии» в Тольятти в 2025 году. Живёт в Калуге.

ЗОЛОТЫЕ ГОРОШИНЫ

* * *

Вдоль по лужам иссиня плоским —
Толкотня воробьиных крох.
Утро нежное, свет неброский,
Да и сам я не так уж плох.

Облака — ничего над ними…
Неизвестно зачем, бог весть,
Ветерок меня приподнимет
Невесомого, как я есть.

И почудится: будто живо,
Не утрачено вопреки…
Всё, что виделось… Без нажима,
Нарисованное от руки.

СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ

Дымилось облако навстречу мне.
Пейзаж, казалось, сложен вчетверо.
Рука моя пятиконечная
Чертила звёзды поздним вечером.

Лучами купол разлинованный,
Поодаль горсть летучих бабочек
Шумела крыльями лимонными
Куда-то вдаль и кто бы знал зачем.

Скамья согрета добрым дворником,
Изящно выгнулась под спину мне…
На грудь, со вторника до вторника,
Садятся листья тополиные.

А также с пятницы по пятницу
Я грею лавочку на улице…
Покуда осень не истратится
И ожидания не окупятся.

* * *

На крыше солнечно. Воро́ны. Если вкратце:
Толкуют громко, часто, не литературно.
Перо летит, словцо — всё мимо урны…
— Что дальше? Дальше что?.. Куда податься?

А дальше, за трубой, правей, чуть ниже…
видать, к морозу кот мусолит лапу.

А дальше что? Подвыпив, шорох рыжий —
ни здрасьте вам… идёт, пальто из драпа.

Что дальше?… Снег. Надолго. Белый. Много…
А ворох дней — под снег. И — в шляпе дело.
Мой город царственно уснёт огромным телом.
В нём что-то теплится ещё… И слава Богу.

* * *

Стул тонконог, он похож на жирафа,
Если смотреть на него в профиль.
Ежели пить на жирафе кофе
Напротив жёлтой фанеры шкафа.

Кофе привычно глотать чёрный,
Цепко сидеть на спине отвесной.
Надёжность жирафа весьма спорна.
Что на уме у него — неизвестно.

Кажется тёплой фанера шкафа,
Хрупкий фарфор горячит губы.
Старая, в синюю клетку рубаха
Греется телом моим сугубо.

Блёклый сосед, от тепла размякши,
Спит за окном, опустив профиль.
Ночь и над ним разлилась также…
Варится чёрным большим кофе.

* * *

Бел-туман он и плотен, и холоден,
Сам себя тащит берегом волоком.
Спотыкается, стелется в поле, где
Высоко разметало над облаком

Крону синюю древо лубочное…
Звёзды-яблоки сладкие, кислые
Ветки ломят, морозом подточены,
Вниз глядят семизначными числами.

* * *

Глубо́к надо мной океан обезвоженный,
И лето, по капле, впускает под кожу мне
Летучая крошка — комар.

Наклёваны крошками, ласточки ласково
Закат охлаждают вечерними красками,
Снимая крылами нагар.

На клёны легли золотые горошины.
Листва в головах сединой припорошена.
Луна — невозможно кругла.

И тени без стука на лужи вчерашние
Всё падают навзничь пизанскими башнями,
Не выдержав градус угла.

ПОСТНОВОГОДНЕЕ

И вот шелестит напоследок зелёная шпага.
Взъерошен иголками пол. Славно было сражение.
Крест на крест — мороз на стекле начертал умножение.
Умножены ночи на дни. И — в пол детского шага

Не дальше, хрустит скорлупа прошлогодней игрушки.
Стеклянные ливни качают резиновый мячик.
И девочке, ей лишь одной, тихо шепчет на ушко
Признанье в любви — в красной шапке фарфоровый мальчик.

НЕПОГОДА

В небе белые плотвицы
(Две брусничины на лицах)
Плавниками гладят воду.

Нежит ухо голос тонкий,
Снежной ватой перепонки
Затыкает. Непогода.

Еле видные улыбки —
То ли люди, то ли рыбки
Из окна плывут на стены.

Потревожено ненастьем,
Сердце трогает запястье
Голубой и тёплой веной.

БЕЛЫЕ ПТИЦЫ

Нежная тает снежная стая,
Перья бросает в чёрное поле…
Белый на травах мех горностая
Стынет кристаллом каменной соли.

Крапом брусники белые птицы
Головы сложат. Гибкие шеи
Холодом лягут… Трактор влачится,
Роет железом в поле траншеи.

* * *

Зелёный верх, зелёный низ
И солнцем капает карниз
По капле в лужу.

Едва зачат зелёный дым.
Каштан зигзагом молодым —
Идёт наружу.

По небу стая сизарей
Крылом хлопочет — кто скорей
Умчится в точку…

Туда, туда… Там впереди
Весенний вечер на груди
Качает ночку.

РАНО-РАНО

И всё, что накопил (не много и не мало),
Растает за окном, как дым, как прошлый год.
Звенит озябший чай, считает интервалы,
Да ночь стучит, стучит железной парой нот.

Ряды коротких снов равняются по шпалам,
Складируется в куб, теснят дверной проём.
Я знаю: дождь идёт над питерским вокзалом.
Осталось доползти и раствориться в нём.

Нательное тепло сграбастать рано-рано,
Забыть в окне лицо, встречающее вас,
Зевнуть на посошок звенящему стакану
И закурить в толпе, прищуря левый глаз.



Вадим Шевяков

Вадим Олегович Шевяков родился в 1988 году в г. Сухиничи Калужской области. Учился на мехмате МГУ. Работает в области информационных технологий. Стихи публиковались в альманахе «Облака» и других изданиях. Автор книги «Грудной сбор». Живёт в Калуге.

ОТ МЕНЯ ОСТАНЕТСЯ ДАТАСЕТ

* * *

Когда включаются фонари,
Тогда наступает мрак.
И что об этом ни говори —
Я знаю, что это так.

Тебе нелепы мои слова,
Но тьма не стихия, нет,
А бражник мёртвая голова,
Который летит на свет.

А ты, конечно же, не моя,
И я, безусловно, глуп,
Но так случилось, что ты — маяк,
Ведущий меня во мглу,

А я непризнанный капитан,
Америку не открыл,
И тьма преследует по пятам,
Жужжа миллионом крыл.

Чем ослепительнее твой луч,
Тем угольней чернота.
Не надо спорить, уж я-то лучше
Знаю, что это так.

Однажды время утратит ритм,
И ночь налетит на день,
И свет померкнет, и мрак сгорит,
И я окажусь нигде —

В нигде, которое не черно
И белым нельзя назвать.
И я надеюсь, там ничего
Уже не придётся знать.

И. Т.

Между стартом игры и фаталити
Только крыльев блеснула слюда.
Кто умеет влюбиться без памяти —
Тот умеет сгореть без следа.

Увлечённый двоичными числами,
Погружённый в размеренный шум,
Я стыжусь своего здравомыслия
И того, что так ровно дышу.

Мы сдавали сердца по гарантии
И снимали на камеры глаз,
Как вы быстро и страшно сгораете
И какая же темень без вас.

* * *

Мой зонт недавно летал и сломал крыло.
С таким переломом дорога ему на свалку.
Он сам виноват и, в общем-то, поделом,
Но мне его жалко.

Я знаю, сейчас он в прихожей. Лежит. Не спит.
Его лакированный клюв сухой и горячий.
Он ждёт приговора в клетке собственных спиц
И вовсе не плачет.

Наутро, разбитый, с запахом изо рта
Пойду и не глядя кину его в помойку,
И больше вовеки не заведу зонта —
Уж лучше помокну.

* * *

И вроде май, а вроде снег,
и чёрт пойми, как жить на этом свете.
С утра и по весне
любой вопрос становится острее.
Ладони лип свело в аплодисменте,
и тополя стоят, как на параде или на расстреле.

И вроде снег, а вроде май,
и я в гробу видал такие повороты.
В преддверье лета поздняя зима,
мангал — обогревательный прибор.
Сегодня снег, а послезавтра на работу —
сюжет Рембо.

Я помню, двадцать лет тому назад
случился снег — такой же неуместный.
Я помню школу, яблоневый сад,
кривой забор, облезлую скамью.
И мы на фото молоды и вместе,
и ай лав ю.

И двадцать лет спустя я стал совсем Атос
и всаживаю сталь в безвинную свинину,
и древний змей проглатывает хвост,
устав себя бессмысленно кусать.
Снег на углях шипит змеино,
как точится коса.

И вроде двадцать лет, а вроде и вчера.
Я был наивен, ты была чиста.
И не осталось незаживших ран,
но, кажется, в шампунь добавили белил;
и сердце жжёт глагол прошедшего числа
единственного времени: любил…

* * *

мне бы лёгкого ветра да по дороге сна
мне бы лунного света чистого да без примесей
только есть работа
вторая работа
жена
и такую-то тяжесть дорога уже не вынесет

чем сильнее врастаю в мир тем сложней в другой
провалиться лбом пылающим от бессонницы
уходить от воображаемых погонь
забывая что только старость за мной и гонится

если вдруг 39,8 ковид и бред
и сгущаются тени Мордора у постели
я не стану звать пресветлую Элберет
анальгин надёжней Гилтониэли

с димедролом не кайфа ради а пользы для
упаду в кровать
в отсутствие сновидений
мне б набраться сил для дороги дня
для добычи денег

* * *

иногда проснёшься и долго лежишь в кровати
цепляясь за тишину в нарастающем утреннем шуме
а иногда подскакиваешь от голоса матери
сынок погляди там отец твой кажется умер

и ты трогаешь холодную шею неловкими пальцами
заранее зная что пульса найти не получится
а потом звонишь кому полагается
и думаешь про себя наконец отмучился

он так исхудал и всё же такой тяжёлый
машина увозит отца остаётся отчество
солнце набухло в окне большим сигаретным ожогом
и как назло ни курить ни плакать не хочется

* * *

От меня останется датасет —
Сотни две стихов и немного прозы.
По нему обучится нейросеть,
И на все лирические вопросы

Вам ответит лучше, чем я умел,
Сгенерит верлибр или что-то вроде.
Воскрешённый методами ML,
Окажусь живее, чем в углероде.

Нейросеть осилит, что я не смог —
Цифровой душе не дано лениться,—
Овладеет танка и Ф-письмом,
Процитирует Малларме и Китса.

Превзойдёт капризных мясных писак
Пехотинец нового литпроцесса;
Нейросеть меняет свои весá,
А моя судьба не имеет вéса.

И совсем не жалко — наоборот,
Эта новость лучшая в умной ленте.
Мне дана сладчайшая из свобод —
Утопить Пегаса в цветущей Лете.

Буду резать к завтраку ветчину,
Начиняя сэндвич листом салата,
А писать стихи — это ни к чему,
Суета сует, перевод таланта.



Юрий Васильевич Холопов родился в 1957 году. Окончил Калужский государственный педагогический институт им. К. Э. Циолковского. Работал в школе, областных и межрегиональных газетах, специалистом пресс-службы губернатора Калужской области, методистом Калужского государственного института развития образования. Автор трёх поэтических и одиннадцати историко-краеведческих книг. Член Союза российских писателей и Союза писателей России. Живёт в Калуге.

ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ...

Начало октября в тот год выдалось сухим. Грибы в городском бору уже сошли, но вдоль поросшей молодым лесом кромки городского водохранилища, за которым ясно просматривались корпуса далёких городских многоэтажек, ещё можно было найти на деревьях и пеньках последний осенний гриб — вёшенку. Ни в какое сравнение она, лесная, не идёт с магазинной: бледно-серой, выращенной в подвалах на мешках с опилками.

Дикая вёшенка поражает своим густым приятным запахом и многоцветьем: на небольших берёзах подлеска вы увидите тёмно-серую с молочно-розоватой «изнанкой», на липовых пнях и сучьях можете найти тёмно-жёлтую, на ольховых — тёмно-коричневую, порой оранжевую, но наряднее всех выглядит вёшенка, растущая у корней ивы: она или синяя, или фиолетовая с жёлто-белым низом…

К концу дня я нарезал почти полную корзину этих красавиц и решил повернуть обратно. Пробираясь по зарослям вдоль берега речки, создавшей городское водохранилище, вышел на давно мне знакомую рыбацкую тропу, ведущую к верхней дамбе, считая свою тихую охоту удачной и полностью законченной.

От тропы, идущей поверху, то там, то тут были видны спуски к воде, где рыбаки ещё летом обосновали свои площадки. Продвигаясь дальше, вскоре я увидел знакомый мужской силуэт в камуфляже: это был Иван Михайлович, мой старый знакомый по совместной работе в одной из городских школ. Бывший учитель математики сидел на раскладном стульчике и очень внимательно глядел на поплавок своей удочки.

Я негромко окликнул его, и он, обернувшись, осторожно приветствовал меня поднятой рукой. Решил подойти к бывшему коллеге, сделал два шага по спуску и вдруг увидел у самого спуска к воде… мёртвую собаку. Это был пятнистый спаниель. В недоумении остановился и стал разглядывать: молодая сучка, ухоженная, по всей видимости, домашняя, с жёлтым ошейником.

— Видел, что делают? — загадочно спросил меня, не отрывая взгляда от поплавка, Иван Михайлович, — застрелили…

— Кто?

— Да есть у меня некоторые подозрения… Там дальше, на рыбацкой тропе у поляны следы машины… И человек-то вроде серьёзный, состоятельный, а такое себе позволяет…

Ничего не поняв из сказанных мне слов, я наклонился над погибшей собакой и вскоре убедился, что выстрел был сделан из охотничьего ружья крупной дробью. Одна дробина попала в нижнюю челюсть, вторая вошла в ухо, а третья в глаз — смерть мгновенная.

— Прикопать бы надо, — сказал Иван Михайлович и печально добавил: «Ухоженная собачка-то и номерочек на ошейнике…»

Спустился к нему и после рукопожатия присел рядом на небольшое брёвнышко. Заглянув в мою корзину, старый учитель сказал: «Ишь ты… А я-то думал грибы отошли…»

Заглянул и я в пластмассовое ведёрко: там, в воде, плавало несколько плотвичек и один окунёк. Поговорили немного о погоде, о политических новостях, но потом снова повернули к тому, с чего начали — к убитой собаке.

— Это всё из-за уток, — заговорил не без волнения Иван Михайлович, — приезжает он с ружьишком сюда аккуратно раз в год… Зачем? А затем… Охота у него такая… Сам знаешь, днём молодняк утиный кормится на речке, в тростниках, его не достанешь…А когда солнышко подойдёт к закату, уточки собираются со всех протоков в стаи и плывут по реке к дамбе, потом перелетают её и ночуют уже на середине водохранилища, где им некого бояться…

— Ну так что с того?

— А то… Я давно его раскусил… Притаится он где-то здесь в кустах или за деревом и ждёт тихонько, когда в сумерках стая подплывёт поближе, а потом лупит по ней дуплетом в самую серёдку! После вытащит из багажника надувную лодку, соберёт убитую и недобитую птицу — и дёру.

— А собака-то здесь причём?

— При том… Я так думаю, что этот глупый спаниель оказался здесь ни к месту. Порода-то охотничья, как раз по птице… Выскочил к воде и вспугнул стаю… Это только обученная собака стойку делает, а эту кто учить будет? Стая поднялась на крыло и полетела, а этот злодей, видно, озлился на собаку, взял и саданул утиной дробью… Рядом-то никого! Вон видишь, у воды бумажная гильза валяется, шестнадцатый калибр…

Я помолчал, подумал и пришёл к выводу, что версия старого учителя математики недалека от истины. Возможно, так это всё и случилось…

Оставлять у тропинки мёртвого спаниеля не хотелось. Я нашёл старый сухой сук, подцепил им за ошейник окоченевшее тело собаки и потащил его по жухлой траве и опавшим листьям к лежащей невдалеке берёзе, которую выворотило ветром. Там у корневища образовалась неглубокая яма, она и стала могилкой несчастного животного. Принялся было нагребать сапогом листву, но Иван Михайлович сказал: «Не надо… Завтра приду с лопатой, закопаю…»

* * *

Попрощавшись с другом, я пошёл дальше, но, едва достиг полянки, на которой отпечатались следы автомобиля, как уловил чей-то зовущий тонкий голос.

— А...на! — А...на! — А...на! — висело в прохладном осеннем воздухе. Потом смолкло.

Я прислушался... Вскоре голос повторился, стал ближе, но через минуту снова смолк.

— Айна..! Айна..! Айна..! — наконец ясно донёсся до меня звонкий детский голосок.

На тропинке, ведущей в бор от верхней дамбы, показались две фигурки — одна женская, другая детская. Не спеша пошёл им навстречу...

Молодая женщина была в длинном бежевом плаще с пояском и таком же бежевом берете, на девочке — синяя курточка с капюшоном.

Не дойдя до меня нескольких шагов, они остановились и женщина спросила: «Извините... Вы собаку не видели?»

— Здесь многие гуляют с собаками, — уклончиво ответил я, — но это бывает утром или днём, а сейчас уже вечер, до жилья далековато, все собачатники со своими питомцами уже разошлись по домам...

— Нет, не то... — сказала, нахмурившись, женщина, — одинокую собаку, молодого спаниеля... Вчера гуляли на том конце бора, и собачка убежала, возможно, куда-то сюда... Может, где-то здесь...

Ей не очень-то хотелось заводить разговор с незнакомым человеком, но девочка лет десяти (это она звала собаку), глядя на маму снизу верх, очень просила её об этом своим взглядом.

Я посмотрел на лицо ребёнка, полное ожидания, немного помолчал и сказал: «Нет, не видел...». Но у меня засосало под ложечкой...

Потом сам задал вопрос: «А вы у охранников спортивной школы по лодочной гребле, что у дамбы, не спрашивали? У них там две свои собачки... Может быть, ваша к ним прибилась?

— Заходили... — как-то обречённо ответила женщина, поправляя берет, — они нашего спаниеля не видели...

Тут девочка опустила голову вниз и её плечики мелко задрожали.

— Не реви! — сказала строго мама, — Сама виновата! Я же тебя предупреждала: не спускай Айну с поводка... Это тебе не во дворе собаку выгуливать...

Женщина ещё раз извинилась, взяла насупленную дочку за руку, и они не спеша направились как раз туда, откуда пришёл я, где сидел со своими удочками Иван Михайлович. Стало не по себе: ведь через три-четыре минуты они могут увидеть свою мёртвую собаку!

Мама с дочкой уже почти пересекли полянку, как вдруг меня прорвало.

— Женщина, подождите, подождите! — крикнул я, — Вспомнил... Вспомнил! Вчера вечером я вашу собаку видел! Молодого спаниеля... В жёлтом ошейнике с номерочком! Вот здесь, на этой поляне!

Они замерли, потом разом повернулись ко мне и быстро пошли навстречу.

Никогда в жизни я не врал так безоглядно и вдохновенно… Они глядели на меня широко открытыми глазами.

— Да-да! Где-то здесь! Здесь! Стояла легковая машина с открытыми дверцами, вот следы её остались… Было двое мужчин… Один сидел за рулём, а другой вёл спаниеля… Нет, даже не вёл, а тащил его на ремне к себе в машину…

— В машину?

— Да-да! В машину!.. Собака упиралась, скулила, а он тащил и тащил… Я тогда подумал: «Что за глупый хозяин! Его же собственная собака не слушается…»

— А потом?

— Что потом?.. Затащил её в салон, закрыли дверцу, развернулись и уехали…

— А вы номер машины не запомнили?

— Нет, не запомнил…

Девочка снова опустила голову, и её плечики снова задрожали.

— Не реви! — дёрнула её за руку мама и добавила, взглянув на меня в упор: «Украли! Я так и знала…»

— Да, видимо… Собака молодая, породистая, стоит дорого.., — сказал я с видом знатока, отводя свои глаза и поглядывая по сторонам, — покупателя на неё найти недолго.

— Зачем… Зачем они взяли… нашу Айну? — всхлипывала девочка.

— А почему бы и не взять? — ответила сухо мама. — Собака без хозяина, значит, ничья…

Девочка перестала всхлипывать и, взглянув на меня красными, заплаканными глазами, решительно сказала: «Мы скажем папе, и он заявит в милицию! Они найдут этих воров!»

— Конечно, обязательно найдут… — без особого энтузиазма согласилась мама.

— Вы не переживайте, — сказал я как можно бодрее, — возможно, Айна встретит добрых и заботливых людей…

Женщина в ответ устало махнула рукой…

Мы некоторое время шли втроём (мама с дочкой впереди, а я сзади), пока не добрались до поворота. Отсюда дорога вела в их микрорайон, находящийся на другой стороне городского бора. У поворота на столбиках висели два плаката. Один сообщал, что в бору запрещено охотиться, второй призывал сохранять лес от пожара. Остановились, с полминуты постояли, пропуская длинную вереницу велосипедистов, возвращающихся в город.

Прощаясь, женщина внимательно посмотрела сначала на меня, затем в сторону водохранилища и негромко произнесла: «Теперь всё ясно… Спасибо вам…»

И они пошли меж сосен в косых лучах заходящего осеннего солнца. Я долго смотрел им вслед, пока бежевый плащ и синенькая курточка не пропали за поворотом. Потом глянул на циферблат часов: до полного заката оставалось около получаса. Они должны были успеть…



Ольга Ерёмина

Ольга Александровна Ерёмина — поэт, прозаик. В 1987 году окончила школу № 5 города Калуги, затем факультет русского языка и литературы Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского. Сейчас живёт в Москве. Исследователь творчества И. А. Ефремова, автор исторических романов. Лауреат АБС-премии (2017).

ВЕТЕР НА ОКЕ

* * *

Перебираю дорогие строки
Давно умолкших, позабытых песен,
И слышу голоса, и вижу лица
В сиянии уверенной надежды.

Когда созвездья освещают Землю,
Когда в зените дубль Кассиопеи,
Я чувствую дыханье дикой мяты
И юность, воплотившуюся в песне.

* * *

О, как люблю твои изгибы,
Моя прекрасная Ока,
Когда нашёптывает гибель
Неутолённая строка.

О, как люблю твои откосы,
Освобожденье от оков
И льдин звенящие торосы
На влажной глине берегов,

Нить фонарей в дрожащей влаге,
Густой черёмуховый плен
И солнца огненные шпаги
В струеньи родниковых вен.

* * *

Весенним дождём растревожена память,
Сознание мчится воронкою вихря,
И образы прошлого рвутся, как спамы,
И звуки *сегодня* затихли.

«Пошёл!» — и бежим мы, забросив уроки,
На реку, где грудой упёршися в груду,
Лёд звучно ломается. Кончились сроки
Немых ожиданий и дней многотрудных.

Пошёл! И стремятся, кружатся, крошатся
И крошатся льдины, на берег взлезая.
Сознанье свободно. И руки разжаты.
И жизнь на пласты разрезают.

* * *

На Бориса и Глеба
поют соловьи,
На Бориса и Глеба
зелёные зори.
Но не хлебом единым —
желаньем любви
Из-под пальцев моих
вытекают узоры.

Листьям тело дарует
    берёзовый сок.
Мимолётность дождей
    в аромате черёмух.
И под свист соловья
    зеленеет восток,
И качаются сны
    в легковейных истомах.

АННЕНСКИЙ ПЕРЕКАТ

Ах, этот ветер на Оке
    качает грудами черёмух,
А в Ромодановских дворах
    белеют яблонь кружева.
Понтонный мост под каблуком
    гудит, как колокол на звонах,
И в сладких пойменных лугах
    ещё не кошена трава.

Возьми меня на перекат,
    веди моё воображенье,
Пока не кончена строка,
    пока крапивой пахнет дождь.
Струну весла держа в руках,
    перебори воды круженье,
Тогда вкус ветра на губах
    и голос памяти вернёшь.

ПУТЬ НА ЛЮБОВЕЦ

Мы шли по вспаханному полю
Под светом яростной луны.
Какой простор, и ночь, и воля!
Мы были таинства полны.

Был пар от нашего дыханья,
И наши лёгкие слова,
Беспечной юности признанья —
И взятые в запас дрова.

А позади бежали тени
И замирали на крупце.
Светились древние ступени,
Светилась радость на лице.

Как птицы, падали палатки
На сухость зябнущей земли.
И сны под утро были сладки.
Мы сладко спать тогда могли!

Звенел под нашими ногами
Кленовый золотой венец.
Струя точила белый камень
И называлась — Любовец.

ТАРУСА

Пять яблок из цветаевского сада,
Искристый блеск разнеженной Оки,
Полдневный зной, и родника прохлада,
И переката жёлтые пески.

Пять яблок — как напоминанье счастья,
Пять яблок — как привет из-за черты,
Как будто все пылающие страсти
Достигли августовской простоты.

Густеет вечер, и луна восходит,
На бакенах играют огоньки,
К причалу тихо Паустовский сходит,
Цветаева смеётся у реки.

* * *

Слитный голос поленовских сосен,
Медно-красное пламя коры…
Нам из чащи является осень,
Что скрывалась от нас до поры,—

Глянет хищной серьгой бересклета,
Свежим ветром взъерошит Оку —
И махнёт на прощание лето
Нам платком на другом берегу.

В ПОЛОТНЯНОМ ЗАВОДЕ

Сиротский день простым карандашом
заштриховал долину Суходрева:
безжизненная чёрная ольха,
и лёд измятый — керетской слюдой,
и небо не сливается с землёю —
оно в неё втекает. Губка леса
в себя вбирает и морозный воздух,
и звуки и опутывает ветер
ветвями ивы, под которой мы
прошли на лодке тридцать и три года
назад — и проявились лишь сегодня —
в трещиноватой старой амальгаме,
в барочной рамке заводских ворот,
затем — в графите башенок у парка,
а после — в мощной арке хоздвора
возникли — и растаяли. Лишь Пушкин
остался, говоря: «Кабы заводы…»

* * *

В стареньком троллейбусе усталом,
Где сидел кондуктор, как конвой,
Я в стекло морозное дышала,
Прижимаясь к раме головой.

В озерке протаявшем, поверив
Тёплому дыханью моему,
Белые узорные деревья
Освещали чёрную канву.

Ночь вбирала холод каждой жилкой,
Тени набегали всё быстрей,
И, как в детстве, лёгкие снежинки
Танцевали в свете фонарей.

И, как в детстве, саночки скрипели,
Ветер был пронзителен и зол,
Я просила для себя — метели,
Для братишки — бархатный камзол.

Я просила скатертью дорогу,
Белые вершины и моря,
И струилась странная тревога
От лучей простого фонаря,

Словно в электрическом овале
Шар звенел магический внутри.
А снежинки судьбы вышивали,
А сугробы танец продолжали:
— Морская фигура на месте замри!

…Расплавляя неизбывность жалоб
В отблесках фонарного огня,
Я в стекло морозное дышала.
Прошлое дышало на меня.

Александр Зорькин



Александр Владимирович Зорькин родился в 1942 году в Хабаровске. Врач, подполковник медицинской службы Советской армии. После увольнения живёт в Калуге. Стихи сочиняет с юности. Печатался в периодических изданиях Куйбышевской (ныне Самарской) области, а также Еврейской автономной области, Приморского края и Калуги. Автор семи поэтических сборников. Член Российского союза профессиональных литераторов.

ВРЕМЯ «ВДВОЁМ»

(Стихи для Галины)

В НАЧАЛЕ

Я верил, что это не шалость,
Я верил,
но был не готов —
К суровости мудрой прижались
Подушечки нежных перстов.

И грянул лихие колядки
Тот самый, ну, рёберный бес.
И я,
на седом-то десятке,
Пошёл покорять «эверест».

Пошёл! Как отважный повеса.
Пошёл! И рассудок не свят…
Не знал я,
что сладкие бесы
На нежных подушечках спят.

* * *

И я — один. И ты — одна.
А вместе,
не приснилось,
Не милостыня нам нужна.
А друг от друга милость.

Та самая, где меркнут страх,
И золотые горы;
Та самая, где друг — чужак;
Та самая, в которой

Всё в безоглядной тесноте.
И кожа дышит кожей.
И дрожь сглотнув, ты шепчешь мне:
«О, боже мой. О, боже»…

ТЕБЕ

Перрон. Теплушка. Щели нар.
Ты
на перроне в дымном чаде.
Багровой дрожью стоп-фонарь
Тебе мигнул моё «прощайте»…

«Прощай»!
А слёзы не резон.
Военной ковки эпизоды
Вломились твердью приказной
Нам в наши, в молодые годы.

И «здравствуй!» было. Не таясь!
Но запоздало пониманье:

Рождалось «здравствуй» не как сласть,
А как предтеча для прощанья.

… В былом —
военной ковки край,
Стоп-фонарей багровый студень.
И между «здравствуй» и «прощай»
Ничейных месяцев не будет.

И мы живём к плечу плечо
Трюх-трюх — две плеши и две клюшки,
А жить осталось
с пятачок!
А может, даже и с полушку.

И тяжелеет каждый шаг.
И болести давно не пена.
А мы живём! И это факт!
А мы живём, хоть, несомненно,

Ополовинены
покой
И молодых свиданий яства
Нам той, ничейной полосой,
Той,
что промеж «прощай» и «здравствуй».

ТЫ И Я

… А дождь прилип к фонарной призме.
Оцепенели голоса.
И опадают с древа жизни
Желанья наши,
как листва.

Где ж солнце в голубом мохере?
Где май, тюльпаны? Где грачи?
Мы в них ещё с тобою верим,
Но, чтоб не сглазили, молчим.

Молчим…
Вдруг болесть станет острой.
Вдруг свет порвётся, что тесьма.
Вдруг, скажем,
я —
под крест погоста,
А ты останешься одна.

Одна — черней денные тени.
Одна — светлей мороз седин.
Одна среди родных видений,
Одна среди чужих былин.

Одна на «клумбовой аллее»,
И у подъезда на скамье.

…Я в это верить не умею,
И не сумею и во сне!

И нежность к горлу подступает.
Надежда нежностью полна!
Об этом только осень знает.
А осень —
это ты и я.

ВРЕМЯ «ВДВОЁМ»

Подумай!
О, как мы друг в друга вросли.
До мозга, до крови, до слёз.
Я чувствую боль и тревожные сны
Твои
и за множеством вёрст.

Нам вместе нетесно. Живём и живём.
А знаешь, уж так повелось:
Во времени, в коем мы только вдвоём,
Нет места для времени «Врозь».

А горесть? А горесть, известно, не штрих,
Бывает! И что? Не робей!
Ведь радость,
да поровну, да на двоих,
Подумай, в два раза сильней.

И в пору весеннего шёпота роз,
И под листопадным дождём,
Нет места просторному времени
«Врозь».
Есть тесное время «Вдвоём».

Юлия Рахаева



Юлия Александровна Рахаева родилась в 1978 году в Калуге. Окончила Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, получив квалификацию учителя английского, французского и русского языков. Работала журналистом в различных печатных изданиях области. Сейчас преподаёт английский язык в школе. Автор 13 книг в жанре социальной фантастики. Живёт в Калуге.

ЛЕСТНИЦА

Действующие лица, они же участники игры в «Мафию»:
Артур — ведущий, профессиональный аниматор
Сабина — хозяйка лофта «Лестница», мирный житель
Борис — предприниматель, мирный житель
Матвей — младший брат Бориса, студент, мафия
Денис — мажор, мирный житель
Соня — воспитатель детского сада, мирный житель
Влада — актриса, мафия
Виктория «Тори» — хостес в ресторане, мафия
Карина — выпускница колледжа полиции, мирный житель
Лариса — товаровед, мирный житель
Ксения — медсестра, мирный житель

В лофте их было одиннадцать. У каждого был бейджик с именем, потому что большинство видели друг друга впервые. Игра началась недавно, члены мафии уже успели познакомиться, и игроки только что совершили свой первый «арест».

— Итак, по итогам первого голосования в тюрьму у нас отправляется Лариса! — объявил ведущий.

— Ну как так-то? — возмутилась девушка. — Даже поиграть не успела! За что я вообще деньги заплатила, а? Ну почему я?

— Тебе всё уже объяснили, — спокойно проговорила Карина. — Ты много суетишься, много говоришь, большинство объяснило это нервами. Так что, возможно, ты мафия.

— Открывайте вашу карту, Лариса! — попросил ведущий.

— Да подавитесь! — девушка перевернула карту. — Все убедились? Я мирный житель! И знаете, что? Я буду болеть за мафию. Всё, я ушла курить.

— Упс, — произнёс Денис. — Ошибочка вышла.

— Да ладно, — улыбнулась Тори, — так даже интереснее.

— Поддерживаю, — кивнула Влада.

— Давайте в следующий раз постараемся так не облажаться, — добавила Сабина.

— Город засыпает, — объявил ведущий, и все, кроме него, закрыли глаза. — Просыпается мафия.

Матвей, Влада и Тори открыли глаза. Матвей осторожно показал пальцем в сторону Бориса. Влада кивнула. Тори лишь еле заметно развела руками. Все трое закрыли глаза.

— Наступает утро, — заговорил ведущий. — Город просыпается, но не просыпается один мирный житель. Этой ночью мафия расправилась с ним. Борис, увы, это вы.

— Что ж, — вздохнул тот. — Игра есть игра. Я, конечно же, мирный житель, — он показал карту. — И знаете, что я думаю? Мафия — Сабина.

— Пф, — покачала головой та.

— Всем хорошей игры! — продолжил Борис. — Пойду, посмотрю, как там наша Лариса. Может, её утешать надо.

— Итак, начинаем новый круг дневного обсуждения, — объявил ведущий.

— Подождите с обсуждениями, — в комнату вернулся Борис. — Сабина, открой двери, пожалуйста.

— Какие двери? — не поняла та.

— Ну мы тут заперты. Мы с Ларисой хотели спуститься, наши мобильники забрать, а не вышло.

— В смысле? Там не заперто. Подождите минутку.

Сабина вышла вместе с Борисом, но очень скоро они вернулись обратно.

— Мы действительно заперты, — растерянно проговорила она.

— Простите, конечно, но это чей лофт? — спросила Карина.

— Мой, — ответила Сабина.

— Так значит, у вас есть ключи?

— Есть, но… С собой нет. Я дверь не запирала. Зачем было брать ключи?

— А ваш телефон, как я понимаю, лежит вместе с нашими?

— Да, правила игры же.

— Артур, а ваш телефон?

— Там же, — ответил ведущий, — чтобы всё честно.

— Нас кто-то мог запереть изнутри? — продолжала задавать вопросы Карина.

— Нет, для этого тоже нужен ключ, — сказала Сабина.

— Это квест, что ли? — подала голос Ксения. — Типа мы пришли играть в «Мафию», а попали на квест?

— Не, не, не, — возразил Артур. — Меня позвали вести «Мафию». Я профессиональный ведущий. Праздники там, свадьбы…

— Похороны, — добавил Денис.

— Несмешно.

— Так и нам невесело.

— Может быть, можно как-то попробовать открыть дверь? — спросила Карина.

— Боюсь, не получится, — вздохнула Сабина. — Сигнализация не позволит.

— Что за сигнализация? — поинтересовался Матвей.

— Охранная, — ответила Сабина. — Двери под напряжением. Может ударить.

— Зачем такие сложности?

— Наследство от мужа. Нет, он жив, но лофт мне достался при разводе. Я пока ничего не меняла.

— То есть если полезть в замок, шандарахнет? — вывел Матвей.

— Возможно, даже сильно.

— Я не поняла, — в комнату зашла Лариса. — Мы, что, заперты?

— Давайте не будем поддаваться панике, — предложил Борис.

— После таких слов обычно и начинают паниковать, — отозвался Матвей.

— Наши родственники и друзья ведь знают, что мы пошли играть в «Мафию»? Они знают, что мы в лофте «Лестница»? Значит, когда мы не вернёмся, они пойдут нас искать.

— Если, конечно, тот, кто нас запер, не собрал нас с целью убить, — проговорила Влада.

— Он бы нас уже убил, — возразил Борис.

— А если он маньяк и любит помучить? — съязвила Тори.

— Может, этот человек полагает, что мы сами должны понять, — сказала Карина. — Если мы поймём, то поймём и его мотив.

— А зачем нам мотив? — спросил Денис.

— Это же логично. Разве нет? Так можно догадаться, кто он. И он наверняка нас всех знает.

— Ты мент, что ли?

— Я окончила колледж полиции.

— И что же, по-вашему, мы все должны понять? — спросила Сабина.

— Я понял! — воскликнул Матвей. — Это как в том детективе, где десять человек собрались на острове. Их по одному убивали ещё. Каждый из них совершил какое-то преступление. И вот судья, который тоже был среди них, решил их наказать. И себя в том числе. Среди нас судьи нет? Нет. Но есть полицейский. Признавайся, это ты?

— Нет, не я, — спокойно ответила Карина. — Но я поддерживаю твою версию о том, что у каждого из нас в прошлом есть нечто…

— В моём прошлом нет никакого нечто. Не думаю, что таинственного мстителя интересует то, как я подрался с одноклассником или списал контрольную. Но если ты так легко согласилась, получается, что в твоём прошлом есть? Ты кого-то убила?

— Не кого-то. Что-то, — девушка вздохнула. — Я убила спортивную карьеру своей подруги.

— Как это?

— Мы занимались лёгкой атлетикой, и нас ждали крупные соревнования. Я была уверена, что она меня опередит и поедет на Россию. Я подмешала

в её питьё лекарство, которое могло сойти за допинг, и её дисквалифицировали.

— И что, ты победила?

— Победила. Вот только на Россию я не попала, потому что заболела, и меня не допустили. Так что меня, можно сказать, уже наказали.

— И ты решила стать полицейским, чтобы творить справедливость? — усмехнулся Матвей.

— Думаешь, это смешно? Дело твоё.

— Бред какой-то! — воскликнула Сабина и вышла из комнаты. Борис поспешил за ней.

— Не паникуй, — догнав её, сказал он. — Нас освободят. Надо просто подождать.

— Ты тоже думаешь, что у нас всех есть какой-то грешок, да? Уверена, ты даже знаешь, какой у меня.

— Ну что ты, котёнок? — Борис попытался её обнять.

— Не прикасайся ко мне!

— Котёнок, успокойся.

— Успокойся? А что если это Антон?

— Да зачем это Антохе надо?

— Отомстить. Мне и тебе.

— Да не такой Антоха человек. Он простил нас обоих.

— От этого только паршивее.

— Почему?

— Мы оба его предали, а он простил. Его жена спала с его лучшим другом, а он простил. Тоже мне, святоша.

— Не святоша. Просто достойный мужик. Он всегда таким был.

— А ты бы простил?

— Нет. И это было бы моей ошибкой. Когда прощаешь, делаешь лучше себе в первую очередь.

— Не замечала раньше за тобой такой склонности к философии, Борюсик.

— Ты хоть что-нибудь во мне замечала, кроме…

— Да пошёл ты!

— Я бы с радостью, но мы заперты.

— А у брата твоего что за грешок, а?

Тем временем в большой комнате Матвей задал вопрос:

— Ну что, может, ещё кто-то хочет в чём-нибудь признаться?

— Я готова, — вдруг произнесла Соня, которая молчала почти весь вечер. Даже в обсуждении она лишь поддержала мнение большинства.

— Обалдеть, — присвистнул Денис.

— Всё это слишком давит. Может быть, я всю жизнь ждала, когда смогу рассказать.

— Всю жизнь? Лет тебе сколько?

— Неважно. Иногда мне кажется, что лет сто. Так тяжело. Мне было шесть, когда родилась моя младшая сестра, и уже совсем скоро я поняла,

что меня больше никто не любит. Конечно, это была глупая реакция эгоистичной девчонки, но я в это верила. Я решила, что моя сестра забрала любовь моих родителей. Я посчитала, что она не должна была родиться. Сначала мне было боязно что-то делать. А вдруг родители увидят, а вдруг узнают? Какое-то время я терпела. К тому же меня отдали в школу и у меня появилась вторая жизнь. Но со временем я поняла, что школа мне не помогает, а делает только хуже. Да и кому я там была нужна? Но я продолжала терпеть. Моё терпение лопнуло, когда моей маленькой сестре на день рождения подарили большого мишку. Ростом больше, чем она. Вы даже представить себе не можете, как я хотела такого мишку. Я даже его просила когда-то, но мама с папой мне сказали, что денег нет. Мне они денег пожалели, а ей — нет. Родители до сих пор думают, что с качелей она упала сама. А она им уже ничего не скажет, потому что она с тех пор не разговаривает.

— Она выжила? — осторожно спросила Ксения.

— Выжила. Побилась сильно, её долго лечили. На меня вообще тогда забили, словно я и не существовала вовсе, и я поняла, что ничегошеньки не добилась своим поступком. А сестра замолчала.

— Такое бывает, да… Это реакция на стресс, на травму.

— Знаю. Я теперь работаю с детьми и много о них знаю.

— Ты учитель?

— Не, я воспитатель в детском саду. И я очень слежу за тем, чтобы с качелей никто больше не падал.

В комнате воцарилась тишина, которую прервала Лариса:

— Нет, я не поняла. Отсюда никак нельзя выйти?

— Дошло до утки на третьи сутки, — хмыкнул Денис. — Что? — пожал плечами он, когда все уставились на него. — Моя бабушка так говорит.

— Но мне надо позвонить! — возмутилась Лариса.

— А ты признайся, какой у тебя грешок, может, тебя и выпустят.

— Да я такой же человек, как все.

— Где вы работаете? — спросила Влада.

— В супермаркете.

— Кассиром? — скривилась актриса.

— Я товаровед.

— Тогда я знаю, какой у тебя грешок, — проговорил Денис. — Просрочку продаёшь. Угадал?

— Не твоё собачье дело.

— Ну признайся. Продаёшь?

— Я ещё и ворую, — поставив руки в боки, ответила Лариса. — И что? Как там было… Кто сам без греха, пусть бросит в меня камень.

— Да я что, я ничего, — Денис поднял руки. — Ноль процентов осуждения.

— Пойду, пожалуй, подышу, душновато здесь, — произнесла Влада и вышла.

— Может, кто-то ещё горит желанием в чём-то сознаться? — задала вопрос Тори.

— А ты сама не хочешь, красотка?

— А ты, красавчик?

— Мой единственный грех — это любовь к жизни. К женщинам, к хорошей еде и выпивке. Это считается?

— Да ты великий грешник, я смотрю.

— Но тебе ведь это нравится? — Денис поиграл бровями.

— Приходи ко мне в ресторан, там и еда, и выпивка премиум-класса.

— У тебя свой ресторан?

— Это в будущем, а пока я хостес.

— Может, ты тоже потихоньку подворовываешь с кухни, как наша Ларочка?

— Я выше этого.

Лариса покачала головой и вышла за Владой.

— Что тебе надо? — возмутилась та.

— Ничего. Бесят они меня там все.

— Да меня тоже.

— Ты кем работаешь?

— Я актриса.

— Ничего себе! И что, у вас там, правда, всё через постель?

— Ты совсем? — Влада покрутила пальцем у виска. — Хотя с кем я разговариваю, — она махнула рукой.

— Вот ты думаешь, я тебя не узнала?

— Не понимаю, о чём ты.

— У нас маленький посёлок, и уехали мы в город поступать почти одновременно. Только я, в отличие от тебя, родителей не бросала. Я к ним приезжаю по выходным, да и вообще я очень люблю наш посёлок. Это же наша родина. Мы там родились и выросли. Там в лесу кладбище, где наши бабки и деды лежат. Мы в школу в этом посёлке ходили, слова по слогам читали. Поцеловались первый раз. Ты просто взяла это всё и перечеркнула. Даже фамилию сменила. И всё ради чего?

— Да что ты понимаешь? Ты такая же, как они. А я нет. Что мне могли дать мои предки? Мать — кассирша, отец — сантехник. Это что, жизнь? Без образования, без…

— Что значит без образования? Я вообще-то торгово-экономический окончила. Это что, я для тебя человек второго сорта? Да я в отличие от тебя математику хотя бы знаю. И в холодильнике у меня рыба с йогуртом на одной полке не стоят, потому что я хоть немножечко, но разбираюсь.

— Ты воруешь.

— Ворую. Но я ворую продукты. А ты чужую жизнь украла. От своей ты отказалась.

— Я выбрала свою мечту — стать актрисой.

— И как бы тебе помешали твои родители? Или у актрисы не может быть матери-кассирши? Мне кажется, я чего-то не понимаю в этой жизни.

— Вот именно, не понимаешь.

— Ты вообще ни разу не приезжала в наш посёлок с тех пор, как поступила?

— Он не наш, он твой.

— И ради чего это всё? Чтобы выходить на сцену во втором составе?

— Ты не можешь этого знать.

— Потому что я плебейка? А я ходила в наш театр на тебя посмотреть.

— Я в кино снимаюсь.

— Я видела, ага. Как в той старой рекламе. Вон, вон, вон я, всё.

— Ты мне просто завидуешь.

— Ой, да, всегда мечтала выйти на сцену в идиотском парике, сказать два слова и уйти.

— Но ты же зачем-то нашла меня?

— Конечно. Ты же из нашего посёлка! Я хотела гордиться тобой. Я думала, вон как круто, моя односельчанка актрисой стала. Я о тебе всем рассказывать хотела. Но потом я поняла, что ты… ты же нас предала, можно сказать. И как тобой такой гордиться?

В большой комнате снова заговорила Карина:

— Из тех, кто ещё не высказывался, есть желающие?

— Вот наш ведущий, к примеру, что это всё время молчит? — поддержал её Денис. — Должен же, наоборот, быть самым разговорчивым.

— Я понятия не имею, в чём должен признаться, — ответил Артур.

— Да ладно, — вдруг возразила Ксения. — Серьёзно?

— Не понимаю, о чём вы.

— Ещё скажи, что не узнал.

— Я первый раз увидел вас здесь, на игре.

— А как же наша славная коммуналка?

— Вы жили в коммуналке? — удивлённо воскликнул Денис. — Они ещё существуют?

— Естественно, — кивнула Ксения. — Бывает, семья разъезжается, и кто-то продаёт не квартиру, а комнату. А кто-то начинает её сдавать. Всякое случается. А ещё бывает, что кто-то хочет квартиру себе выкупить, а договориться с соседями не может. Кого-то цена не устраивает, кто-то на принцип идёт. И вот тогда зовут Артура. Он у нас знаете, кем подрабатывает? Профессиональным соседом.

— Как это?

— Он въезжает в свободную комнату с целью выселить одного самого упёртого из оставшихся соседей. Хозяин ему за это платит. Артур начинает вести такой образ жизни, что мало не покажется. Самый бесячий человек из всех, кого я только встречала.

— Он так тебя выселил, что ли?

— Нас с мамой. Она не хотела уезжать, нам и район нравился, всё рядом, да и денег у нас не было на новое жильё. Мама — библиотекарь, я тогда только училась в медицинском колледже. Но Артур сделал всё, чтобы превратить нашу жизнь в невыносимый ад. Что, вспомнил?

— Ты так говоришь, как будто ты белая и пушистая, — ответил Артур.

— Вовсе нет.

— Но раз ты решила правду-матку выкладывать, то я тоже могу. Вот вы думаете, она такая вся милая? А она от ребёнка отказалась. Прямо в роддоме.

— А куда я его должна была принести? В нашу комнатку? И на что бы я его растила? На пособие? А моя учёба?

— У ребёнка же был отец, — вмешалась Тори.

— Был да сплыл.

— По закону он обязан был выплачивать алименты.

— Ты сама была в такой ситуации, чтобы мне советы давать?

— Нет.

— Вот и не лезь.

— И что, не было вот этих материнских чувств, о которых все говорят?

— Я сказала, не лезь.

— Может, тот, кто нас запер, на это и рассчитывал? — подал голос Матвей. — Что мы тут сами сожрём друг друга.

— Пода́витесь меня жрать, — сказал Денис.

— Лично я не собираюсь ни оправдываться, ни жрать кого-то здесь, — проговорил Артур. — Никто из нас не ангел.

— Ну что, все уже покаялись? — в комнату зашла Сабина.

— Почему лофт называется «Лестница»? — вдруг спросил Матвей.

— Не я его так назвала. Это Антон придумал. Бывший муж. Ты ведь знаешь его.

— Говорящее название.

— По-моему, типичное для лофта. В урбанистическом стиле.

— Лестницы разные бывают, — задумчиво произнёс Артур.

— Карьерная, например, — сказала Тори.

— Или в небо, — добавил Матвей.

— И ты туда же, в философию? — проговорила Сабина. — Весь в братца.

— Вот не надо нас сравнивать.

— Да вы похожи!

— Нет!

— А что плохого в том, чтобы быть похожим на старшего брата? — спросила Ксения.

— Ты тут возмущалась, когда к тебе лезли с советами. Так вот ты мою жизнь тоже не знаешь, поэтому и понять не можешь.

— Тебе разве есть на что жаловаться? — поинтересовалась Сабина. — Родители и Борис всё для тебя делают.

— Борис, — повторил Матвей. — Борис у нас свет в окошке. Боречка то, Боречка сё… Прямо не Боря, а Бэтмен какой-то.

— Так ты просто ему завидуешь.

— Нет!

— Как там говорят ваши любимые философы? Ты сердишься, значит, ты не прав.

— Да пошла ты!

Матвей выбежал из комнаты и столкнулся с братом.

— Чего ты там кричишь, Мотя?

— Не называй меня так!

— Я понимаю, почему ты психуешь.

— Да что ты?

— Ты сюда случайно попал. Нас же очевидно собрали, потому что у каждого есть какой-то нехороший грешок за душой, а ты здесь, потому что я тебя позвал вместо приятеля, который не смог. Так что ты имеешь полное право возмущаться. Ты страдаешь ни за что.

— Ты сейчас серьёзно?

— Конечно.

— Ты искренне веришь в то, что меня не за что было бы сюда позвать?

— Мотя… то есть Матвей, конечно, я верю. Я тебя знаю. Знаю лучше, чем кто-либо. Лучше, чем наши родители.

— То есть ты не знаешь, кто Антону всё рассказал?

— В смысле?

— Ну про то, что ты спишь с его женой.

— Не понимаю.

— Это был я. Я вас сдал.

— Но зачем?

— Потому что меня бесило, что ты весь такой правильный, а спишь с женой своего лучшего друга! Это же мерзко!

— Ты мог бы сначала поговорить со мной, я бы тебе объяснил.

— Что бы ты мне объяснил?

— Сабина вышла за Антона, чтобы мне отомстить. Ты же знал, что мы втроём дружили ещё в универе. Мы оба были в неё влюблены, а она… Я ей нравился больше, но я не сделал первый шаг, понимаешь?

— Я пыталась, — произнесла зашедшая в комнату Сабина. — Помнишь, ты должен был зайти ко мне за конспектами? Моих родителей не было дома. Я готовилась больше часа. Я не знала, что надеть, как накраситься. Напялила на себя папину рубашку и чёрные колготки в сеточку. Волосы распустила. Ждала, ждала, места себе не находила. Меня бросало то в жар, то в холод, и вот в дверь позвонили. Я открыла. На пороге стоял ты, но не один, а со Светкой. Она ещё ляпнула, что вы в клуб идёте. И вот тогда во мне словно что-то сломалось. А Антон… он сделал то, чего не решился сделать ты. Он пригласил меня на свидание и сделал мне предложение. Романтично, красиво. Об этом мечтают многие девушки.

— Значит, надо было отступить, раз ты такой болван! — воскликнул Матвей.

— Я сама не дала ему этого сделать, — сказала Сабина. — Я его провоцировала. Ни один нормальный мужик не выдержал бы.

— Да Антон бы по-любому узнал, — вздохнул Борис. — Так что ты правильно сделал, что рассказал. Не надо было уже с этим затягивать.

— То есть я, по-твоему, ещё и благое дело сделал?

— А тебе обязательно надо выглядеть мерзавцем?

— Мне кажется, он тебя за что-то недолюбливает, — проговорила Сабина.

— Тебя всегда ставили мне в пример, — сказал Матвей. — Сначала родители. А потом к ним присоединились учителя. Отвратительная идея — отдать меня в ту же школу. Началось уже с первого класса: А вот твой брат! А вот Борис! Борис никогда бы! Борис всегда! Тьфу! Как будто у меня даже имени своего не было. Как будто я просто приложение к Борису.

— Я об этом ничего не знал. Ты же не говорил.

— Вот теперь говорю. И кстати. Я мафия. Утром ты не проснулся из-за меня, это я тебя убил.

— Жаль, конечно, что я бы не выиграл, но… Мотя, ты прости меня. Я не думал, что я так сильно мешаю тебе жить.

— Ладно, проехали.

Борис обнял брата, и Матвей, пусть не сразу, но обнял его в ответ.

Соня подошла к Ксении и осторожно спросила:

— А ты не пыталась потом найти своего ребёнка?

— Зачем? — отозвалась та.

— Чтобы исправить ошибку.

— Моего ребёнка усыновили. Ошибкой будет лишать его родителей.

— Ты никогда не жалела?

— Я работаю медсестрой в том самом роддоме, в котором я оставила своего сына. Я стараюсь помогать молодым мамам и их детям, насколько мне позволяет моя профессия.

— Тебе… тебе не больно?

— Видеть каждый день младенцев? Нет. Больно только тогда, когда их оставляют. К счастью, это происходит нечасто. За время моей работы всего один раз. Знаю, что ты хочешь спросить. Нет, я не хотела его забрать. Я не смогу дать ему то, что ему необходимо, я не могу взять на себя ответственность за жизнь другого человека. Пока не могу. Может быть, в будущем. Может быть, потом я буду готова. Я думала об этом и продолжаю думать, но… не сейчас.

— А когда? — вдруг спросил Артур. — Часики-то тикают.

— Ты совсем дебил? — проговорила Тори.

— А что, я должен ей как-то посочувствовать, что ли? Она тут облила меня грязью, между прочим.

— Грязью ты сам себя облил, когда согласился выживать людей из квартир за деньги. И ладно, это твой выбор, но ты хотя бы признай, что ты это делаешь, что ты именно такой, как о тебе говорят. Не пытайся казаться лучше.

— Интересно, почему тебя сюда позвали. Ты кого-то убила или покалечила?

— Нет. Мы с моей подругой устроились в ресторан официантками, и тут как раз освободилось место хостес. Мы обе стали претендентками на него, и я понимала, что у моей подруги такие же шансы, как и у меня, а я очень не хотела оставаться официанткой. Я долго думала, как её подставить, но это не так-то просто сделать, оставаясь незамеченной. Если бы,

например, я её толкнула, а она побила посуду, то это была бы наша общая вина. В общем, я не придумала ничего лучше, как подсыпать ей в кофе слабительное. Половину смены она провела не в зале, а в другом месте. В нашем ресторане такое не приветствуется, и работники со слабым желудком или кишечником никому не нужны. Так я стала хостес, а подругу вообще уволили.

— Её же не имели права увольнять, — возразила Карина. — Это не по закону.

— Она сама ушла. Её просто вежливо попросили.

— Она могла не писать заявление. Никто бы её не уволил. Вот это всё происходит, только потому что у нас никто законов не знает. Ни трудовое законодательство, ни административное…

— Ой, кто бы тут что говорил. Мы же с тобой похожи. Обе подруг подставили, да ещё и схожим способом. И всё ради карьеры. Только ты вон в полицию пошла, чтобы закон защищать, а я работаю на отвоёванном месте и радуюсь жизни.

— Когда выберемся отсюда, пойдёшь со мной в клуб? — предложил Денис.

— Я подумаю, — улыбнулась Тори.

— Кстати, Денис, а ты здесь почему? — спросил Артур.

— Я в «Мафию» играть пришёл. Люблю потусоваться с интересными людьми.

— А кем ты работаешь?

— Обязательно надо кем-то работать? Ну, я так… отцу помогаю с фирмой. Она потом в любом случае моей станет.

— Мажор то есть.

— Мажор — это семиступенчатый лад с характерной радостной окраской звука.

— Ты ходил в музыкальную школу?

— Делать мне больше нечего. Просто ты не первый, кто меня так назвал. Я погуглил и запомнил. Меня называют мажором те, кто мне завидует. Но мне плевать.

— Мне интересно, долго нам ещё тут торчать? — в комнату вернулась Лариса.

— Мне вообще-то скоро надо быть дома, — проговорила вошедшая вслед за ней Влада.

— Любовник волноваться будет? — спросил Денис.

— Нет. Я перед сном соседку навещаю.

— Посплетничать?

— Укол сделать, если надо, и спросить, что купить. Она после аварии никак не оправится. А женщина хорошая, душевная. У нас в театре работала костюмером.

— Что ещё за авария?

— Какой-то козёл сбил её на машине и сбежал. Его нашли, но только у него оказался богатенький папочка. Нанял своему сыночку дорогущего адвоката, и козлу дали только два года условно. Конечно, папочка возместил

тёте Тоне ущерб здоровью, но не так-то просто встать на ноги, когда тебе их переломали.

— Сейчас расплачусь, — сказал Денис и смахнул несуществующую слезу.

— Того козла, кстати, тоже Денис звали, — вспомнила Влада, глядя на его бейджик. — А это случайно не ты?

— Почему это должен был быть я?

— Артур, ты ведь знаешь его фамилию? Кто-то здесь должен знать.

— Да угомонись ты! Да, это я. И что теперь? Меня уже наказали. Всё.

— Два года условно за покалеченную жизнь.

— А ты хотела бы, чтобы и мою жизнь покалечили? Ты хоть представляешь, что такое тюрьма?

— Ты просто не должен был уезжать с места ДТП, — вмешалась Карина. — Если бы ты сам вызвал «скорую», если бы ты сдался полиции, то и были бы у тебя те же самые два года условно.

— Кто-нибудь из вас хоть раз был на моём месте? Нет? Тогда вы понятия не имеете, каково это.

— То есть ты просто струсил? — заключила Влада.

— Я как-то мем видел про двух гусаров. «Поручик, вы трус и подлец! Я вызываю вас на дуэль!» — сказал один. «Я не приду», — ответил второй. И кто из них прав, по-вашему? Я считаю, что второй, и никто меня не разубедит в обратном.

— Ты подменяешь понятия, — вдруг заговорил Артур.

— Ох, как мне это нравится, — рассмеялся Денис. — Как себя обвинить в чём-то, так мы кучу оправданий найдём, а как на другого наехать, так тут мы профи.

— У себя бревна в глазу не видим, а у другого соломинку, да-да, — закивала Лариса.

— Ну, не знаю, — сказала Тори, — мне кажется, в этом мире все мы пытаемся как-то выжить. Каждый из нас хочет стать счастливым, независимым и свободным.

— А, по-моему, — проговорила Соня, — наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И если мы этого не понимаем, то и на нашу свободу будут так же покушаться.

— На эту тему есть китайская пословица, — задумчиво произнесла Ксения. — Богомол ловит цикаду и не знает, что за ним наблюдает чиж. Она ведь про всех нас. Про всех, кто здесь собрался.

— На этой лестнице, — хмыкнула Влада.

— Но кто нас собрал? — спросил Артур. — И если каждый уже признался в чём-то, то почему нас до сих пор не отпускают?

— Признаться-то признался, — кивнула Карина, — но не раскаялся.

— Нельзя раскаяться насильно, — сказал Денис. — Это будет неискренне. Я на суде ведь тоже говорил, что раскаиваюсь в произошедшем, мне адвокат настоятельно порекомендовал. Но раскаивался ли я тогда? Не думаю. Раскаиваюсь ли сейчас? Не знаю. Не уверен. Раскаяние. Что это, вообще, за чувство?

— Ты поймёшь, когда почувствуешь, — ответила Ксения. — Его ни с чём не спутаешь.

— Это точно, — согласилась Соня.

— То есть вы все тут такие совестливые, да? Один я скотина?

— Судя по всему, ещё я, — сказала Тори. — Артур, ты как? С нами или с раскаявшимися?

— Бред какой-то, — пробормотал тот. — Я вообще не хочу в этом участвовать.

— Но ты уже участвуешь, хочешь ты того или нет.

— Слушайте, а кто мафия? — вдруг вспомнил Денис.

— Сказать? — спросил Артур.

— Надо тогда всех позвать.

Когда в комнату вернулись Сабина, Борис и Матвей, Денис повторил свой вопрос.

— Ну я мафия, — поднял руку Матвей.

— И мы, — сказали Влада и Тори.

— Так это ты меня убила? — воскликнула Лариса.

— Да ладно, ты сама всех спровоцировала, — ответила Влада.

— Лично мне интересно другое, — проговорил Борис. — Кто нас запер, и когда нас отпустят?

— Я хочу кое-что проверить, — сказала Карина. — Подождите.

С этими словами она вышла из комнаты и очень скоро вернулась.

— Там открыто. Возможно, уже давно, просто почему-то никто из нас не догадался проверить.

— Значит, этот некто собравший нас получил, что хотел? — предположила Тори.

— Наверное.

— Но кто он был?

— Вряд ли мы теперь узнаем, — развела руками Карина. — Но лично я и не хочу. У меня как камень с души упал. Лично я иду домой, а вы как хотите.

— Так и мне бежать надо! — воскликнула Влада. — К тёте Тоне заглянуть перед сном. Лара, ты со мной?

— Да, пойдём, — кивнула Лариса. — Счастливо оставаться!

Все трое ушли.

— Странный был вечер, — задумчиво произнесла Соня. — Но я о нём жалеть не стану.

— Знаешь, я тоже, — проговорила Ксения. — Возможно, мне это было нужно. Есть ещё, о чём подумать.

Когда девушки ушли, Борис сказал:

— Моть, ты как? Хочешь, подвезу?

— Спасибо, Борь. Но я прогуляюсь немножко.

— Сабина, ты остаёшься?

— Мне теперь всё нужно снова закрыть, — ответила та. — Смешно. И не волнуйся, я на машине. До связи!

— Глупость какая-то, — сказала Тори, когда братья ушли. — Не понимаю, зачем всё это было нужно. Для чего? Этот кто-то был среди нас? И чего он добился?

— Может, нас вообще никто не запирал, — вдруг предположил Артур.

— Дверь была заперта и сигнализация была включена, лампочка горела. Я видела, — возразила Сабина.

— Что, если это технический сбой? Лофт старый, сигнализация допотопная.

— Но нас же здесь собрали, это же было очевидно. У каждого есть какое-то прошлое.

— Вообще-то это Матвей ляпнул про книжку, — вспомнила Тори. — Сначала Карина заговорила про мотив, потому что у неё в голове одни составы преступления. Наверное, экзамены недавно сдавала. А потом Матвей с этим островом. Кто-то пытался ему возразить или предложить свою версию происходящего? Нет. Мы все поверили.

— Потому что каждый из нас не без греха, — заключил Денис.

— И не спешим уходить только мы, — усмехнулась Тори. — Клан нераскаявшихся.

— Дурацкий какой-то вечер получился, — сказал Артур. — Мне кажется, я теперь буду недолюбливать лофты.

— А профессиональным соседом будешь продолжать работать? — спросила Тори.

— Пожалуй, нет.

— Неужели раскаялся?

— Послушай, я был молод, мне нужны были деньги. Сейчас я потихоньку встаю на ноги, и такой заработок мне уже не требуется. Да, мне платили за то, что я вёл себя как мерзавец. Да, я это признаю. На это на сегодня всё. Пока останусь на этой ступеньке. Может быть, позже я смогу с неё куда-то сойти. Вверх или вниз, там посмотрим. А пока удачи вам, господа!

Тори проводила Артура взглядом и проговорила:

— Когда идёшь по лестнице, главное — не упасть и не поломать себе ноги.

— Очень философски, — заметил Денис. — Тебя проводить?

— Проводи, — пожала плечами Тори.

— Не смущает моя судимость?

— А ты не боишься, что я тебе слабительное в любой момент подсыплю?

— Не подсыплешь.

— Почему это?

— Да врёшь ты всё, что не раскаялась.

— С чего ты взял?

— Считаешь, ты выше этого, да? Не хочешь показывать своей слабости. Но я тебя знаю, хоть ты об этом и не догадывалась. Я знаю, что ты волонтёр, знаю, что помогаешь ветеранам и не только.

— Откуда такой мажор, как ты, может вообще знать слово «волонтёр»?

— Видел вас. И тебя.

— Каким образом?

— На карточке, которую дал мне отец, денег хватает не только на клубы.

— Я тебе не верю.

— Дело твоё. Настаивать не стану. А проводить по-прежнему хочу. Только одно скажу. Это не слабость. Ты думаешь, что слабость, а на самом деле нет. Идём?

Тори кивнула с еле заметной улыбкой.

Оставшись одна, Сабина молча огляделась по сторонам. В комнату вернулся Матвей.

— Спасибо, Моть, — проговорила она. — Но оно не очень получилось. Я, наверное, сама всё испортила. Я не этого хотела, но я не смогла. Не сказала всего, чего хотела.

— Да ладно тебе. Всё ты сказала. А Боря тебя любит.

— Думаешь?

— Знаю. Забавно получилось. Я запер нас всех ради любви, а получился почти детектив.

— Ради любви, — повторила Сабина. — И знаешь, я рада, что вы с Борисом тоже поговорили.

— Я сам рад. Надоело это всё уже. Тебе тут помочь?

— Ты уже помог. И не только мне. Мне кажется, все, кто провёл здесь вечер, стали немножко другими. Знаешь, я думала что-то поменять в лофте и название тоже, но нет. Пусть так и будет «Лестница». У нас вся жизнь и правда как лестница. И кажется, что у всех она разная, но по сути — одна.

— Сложно по ней идти, не оступившись.

— Если оступился, надо подняться и идти дальше. Только наверх.



Дарья Андреевна Вавилова родилась в 1996 году. Окончила Смоленский государственный медицинский университет. Работает врачом-неврологом. Стихи публиковались в альманахах «Зерно», «Облака». В 2024 году вышла первая книга «Полынное солнце». Живёт в Калуге.

МЯГКИЙ СВЕТ

* * *

Мне двадцать девять. Август. Накануне
Больших дождей и редких снегопадов.
Уж отшумели грозами июни,
И утра так прозрачны и прохладны.

Не за горами поздние рассветы
И ранние, короткие закаты;
Но ждать не стоит следующего лета,
Чтоб снова быть счастливой и крылатой.

На праздник золота, плодов и изобилия
Зовёт сентябрь, выстраданный нами, —
И надо лишь, слегка почистив крылья,
Прорваться к солнцу между облаками.

* * *

Когда-то мальчик загорелый
С копной соломенной своей
Казался девочке несмелой
Прекрасней принцев и князей.

Они в манерах безупречны
И манят блеском эполет,
А он весь день провёл на речке
И чинит свой велосипед.

Они всегда к её услугам,
Готовы честь и жизнь спасти —
А он уйдёт к своим подругам,
И снова им не по пути.

И всё же, всё же… Воздух летний
Наполнен истиной простой:
Любовь должна быть неприметной,
Последней, первой, безответной,
Какой угодно — но живой!

* * *

Нам было многое дано —
Остановись и замечай!
Но мы хватались за одно,
Жизнь проживая невзначай.

Но мы цеплялись за мечту —
А после, когда пыл угас,
Мы погрузились в суету.
Живём, не поднимая глаз.

Давай хотя бы сохраним —
Ты подожди, не отвечай —
То, что доступно нам одним:
Твою любовь. Мою печаль.

* * *

Теперь мы окна на ночь закрываем
И больше чая пьём.
В который раз мы август провожаем
С тобой вдвоём.

Мне с каждым годом всё родней и ближе
Закатная пора,
В которой голос тем слышней, чем тише,
И долги вечера.

И каждый год нас на исходе лета
Зовут пути.
В попытках докопаться до ответа
Ответов не найти.

Они придут «случайным» озареньем,
Как первый листопад.
И скажешь ты, что жизнь — благословенье.
И будешь рад.

* * *

Господь дарует тишину
В итоге трудных дней,
Дарует веток переплёт
Над головой твоей;

Он наполняет всё вокруг
Душистой теплотой
И посылает мягкий свет —
Нездешний, неземной.

Тебе позволено вдыхать
Нагретых яблок прель
И душно-сладкий аромат
Неубранных полей.

Ты можешь день и ночь не спать,
Дивясь такой поре,
А можешь просто прочитать:
«Сентябрь» — в календаре.

* * *

Всё больше откровенность ноября.
Свинец и воздух, звёзды и базальты.
Что тяжелее — небо иль земля —
Дух, в ноябре рождённый, не узнает.

Даров не требовать, пощады не просить.
Дышать и видеть — этого довольно.
В такое время надо просто жить.
Быть благодарным, если жить не больно.

И всё-таки холодный, бледный свет
Порой прольётся в низких туч прорехи,
А вслед за ним — единственный ответ:
«О чём мечтаешь? « — «О любви и снеге».

* * *

Запах палой листвы,
Многолюдье вокзала,
Неожиданно тёплый рассвет.
Только осень и ты.
Что бы я ни сказала,
Ничего не услышу в ответ.

То ли осень тебя заглушает ветрами,
Листопадом и шумом дождя,
То ли просто тоска
Пролегла между нами,
Обрекла на безмолвье тебя.

Я бестактно осенний покой
Не нарушу.
Но, почувствовав близость конца,
Я согрею в ладонях
Озябшую душу
И коснусь дорогого лица.



Игорь Красовский

Игорь Андреевич Красовский родился в 1984 году в Калуге. Поэт, драматург, инсценировщик. Выпускник Калужского областного колледжа культуры и Литературного института имени А. М. Горького. Работал заведующим литературно-драматургической частью в Калужском театре кукол. Автор шести поэтических и драматургических книг. Публиковался во многих сборниках и альманахах. Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой и им. братьев П. В. и И. В. Киреевских. Член Союза российских писателей, Союза писателей России и Союза театральных деятелей.

ИЗ ТОЧКИ

СЛОВА

Мне всё сложнее доверять словам
простые мысли.
Казалось бы, и мысль вполне конкретна,
и самые надёжные слова —
понятные —
подобраны,
но нет —
пренепременно нужный адресат
возьмёт и невпопад перетолкует
словесную конструкцию,
внесёт
своё добро,
по полочкам разложит
и скажет: «хорошо»,
но в этом «хорошо»
уже не будет никакого смысла.

НАДО ЖЕ

Как много жизни…
Надо же…
Свою
не всю озвучишь.
Стоит ли пытаться?
Ни на секунду не перестают
тяжёлые минуты добавляться,
меняя мыслей ход,
меняя внешний вид —
не вдруг
(со стороны неочевидно),
но тем не менее меняя.
Осенит
внезапно.
Надо же…
Гораздо габаритней,
чем помнишься.
Расходишься по швам,

неаккуратно стягиваешь тем, что
попалось под руку, замазываешь там,
где трещины, скрываешь под одеждой
метаморфозы, для прогулок бережёшь
физиономию известную простую.
Сам на себя похож.
Издалека похож.
Внутри же где-то на одну шестую
плюс-минус.
Надо же…
И это полбеды —
себя с собой перезнакомить можно.
Полны склады, но на свои склады
имеешь доступ,
представляешь всё, что
хранится там сейчас.
А у других?
Склады не меньше.
Если приглядеться,
их контуры и очертанья их
за тоненькими стенами фортеций
проявятся,
Встревожат, впечатлят
размерами возникшие громады
соседних жизней.
Если за фасад
проникнуть.
Но достаточно фасада.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

Коммуникация с бегонией в момент
её роскошного приватного цветения
оборвалась.
Ну что ж, эксперимент
был, очевидно, неудачен.
Тем не менее
исследований вовсе прекращать
не захотел, расширил круг подопытных.
Пытался по бумажке укрощать
посудомойку.
Безуспешно.
Хлопотно.
Как выяснилось, нужный диалог
с ней выстроить нельзя — ограничения
программные не позволяют, блок
не снимается.
Закончил приручение.
Переключился на собачек, певчих птиц,
пушистых кошечек, рыбёх и живность
прочую.
Увлёкся.
Уйму графиков, таблиц
под них составил…
Через многоточие
к печальным результатам — всех раздал.
Определённо, милые создания:
зависимы, удобны, никуда
не денутся, с неясным обожанием
в глаза глядят, и кажется, вот-вот…
Вот в том-то и проблема.
В том, что кажется.
Как только мысль такая промелькнёт —
пиши пропало.
Намертво привяжется.
Так и пишу.
Признаться, нелегко
даётся.
В поисках утраченной гармонии
на днях переселился на балкон
готовиться к цветению бегонии.

СИТУАТИВНОЕ

Уехать-остаться, уехать-остаться —
заворочался флюгер на крыше
скрипучий.
Стало быть, к данной локации
скопились вопросы.
Вопросов выше
крыши.
Жестит переменный ветер —
порывы хлёстки его и резки.
Не удаётся порывы эти
сдержать.
Сквозняк.
Шелестят обрезки,
обрывки, записки — бумаги ворох

поднялся в воздух,
архивной пылью
пахнуло,
кру́жит по коридорам
и комнатам пыльная эскадрилья
черновиков, грандиозных планов,
наивных настолько, что только в топку
и сжечь годятся.
Не по карману —
порвёшь карманы.
Нажать на кнопку
«пауза»,
быстренько разобраться
в папке с надписью «Личное дело»,
прожиточный минимум информации
сохранить,
а прочее,
раз взлетело,
так и летит пусть,
так лучше даже.
Удалить исписанные страницы,
обновить локацию и персонажа.
Обновить и решиться уже.
Решиться.

НА ПАМЯТЬ

Не боишься исчезнуть —
напрасный страх.
Исчезнешь, куда деваться.
Все исчезают.
Увы и ах.
Но после себя остаться
в ком-нибудь торопливым
почерком
всё-таки хочется,
авторским текстом,
очерком,
повестью неоконченной,
черновиком с ошибками,
смайликом.
Лучше улыбкой,
но тут уже, как получится.
Улыбкой, конечно, лучше.

Александр Муленко



Александр Иванович Муленко родился в 1961 году. Учился в Новотроицком строительном техникуме. Трудился на объектах чёрной металлургии и Тобольского нефтехима. Был участником Чернобыльской кампании 1986 года. Автор шести книг прозы. Печатался в журналах «Москва», «Нива», «Гостиный двор», «В начале века», «День и ночь», «Дальний Восток», «Невский проспект», «Нижний Новгород» и многих других. Член Союза писателей России. Живёт в Новотроицке Оренбургской области. Неоднократно посещал Калугу.

ПАШКИНЫ ЛОСИ

Рассказ из повести «Наша пропадала везде»

В те никчёмные годы, когда зарплату выплачивали не сразу, спасаясь от голода, мы выживали вахтовым методом в Тобольске — впятером. Вместо суточных получали талончики по восемнадцать эквивалентных рублей. Столовая, где можно было на них немного покушать, находилась на «Нефтехиме» за городом возле центральной проходной. Попадали в неё единожды — пообедать. Кассирша ругалась, если на сдачу канючили деньги, и предлагала продукты вместо них: старые крупы, вермишели да кости с немногими остатками мяса. Вечерами мы варили из них супы или каши. Наедались не сразу: кастрюля была мала. Кто-то из местных жителей подкинул картошки, а хозяин нашей шараги Попов Серёга Геннадьевич как-то раздухарился и наказал своей сварливой супруге Светке, чтобы она отдала нам старые позеленевшие сухари — безвозмездно, на праздник, в подарок на Новый год.

— Кто беззубый его размочит, берите и жрите, разобьёте на кириешки — хороший хлеб, а ежели ещё и поджарите немножко в духовке, то и вовсе — одно объедение. И не нужно другого. А то, что он немного зелёный, — так это пенициллин, — острил хозяин, — ото всех болезней антибиотик.

Два больших холщовых мешка занимала такая щедрость. Почти нетронутые буханки очерствели в кирпич. Время от времени мы стыдливо запускали руки в подарки и насыщались, набивая кишечник.

Многоэтажка, в которой мы проживали, оказалась недостроенной — аварийной. Два первых подъезда были надёжно «заморожены» — забиты снегом. Пустые оконные проёмы чернели в них, словно пробоины после битвы. Два последних подъезда служили для общежития иногородним рабочим.

Мы обитали в самой лучшей квартире на восьмом этаже. Ютились в маленьких спальнях: двое в одной и трое в другой. Зал пустовал: продувало, сквозило в межпанельные щели — стыки были плохо законопачены. Обои здесь рассохлись, местами отклеившаяся от стен бумага дребезжала, словно муха, попавшая в паутину. Никудышные батареи отопления «дышали» кое-как. Мокрые валенки, лежавшие рядом с ними, не просыхали даже за выходные. Дополнительное тепло в квартире давали кухонные плиты, в спальнях горели «козлы», — на толстых огнеупорах я уложил вольфрамовые спирали. Понятно, что это электрохозяйство гасилось, когда мы уезжали на комбинат, где трудились до самой ночи — по двенадцать часов. Возвращались озябшие, чтобы отогреться и отдохнуть.

Пашка, живущий со мною вместе, был инфантильным мужиком. В сорок с лишним лет он всё ещё оставался наивным, словно ребёнок. В магазине, случалось, остановится около витрины с игрушками и улыбается всякой плюши — ни оттащить, ни отогнать. Накупил бы подарков и раздавал бы их, не отходя от отдела каждому встречному, его поступки были по-детски напрасными, добрыми. Как-то мы встретили кошку, несущую голубя. Она держала его в зубах. Голубь сопротивлялся. Около подвального окошка вырвался на минутку, но ни взлететь, ни убежать от хищницы не сумел. Одно крыло оказалось поломанным. Вряд ли это сделала кошка. Скорее всего, в полёте птица натолкнулась на провода. Или же отморозилась — голуби любят купаться в лужах. Лопнула теплотрасса. А где она не трещит зимою во время морозов? Неразумная птичка полощется, словно летом, подставляет себя под воду, вроде бы чистится да греется, а на ветру леденеет. Голубь от кошки отбивался клювом и уцелевшим крылом. Это была неравная битва. Пашка в неё вмешался, как бог, и нарушил естественный отбор. Кошка осталась с носом, а однокрылый калека перебрался в квартиру на ПМЖ. Он скрывался под койкой у человека, продлившего ему жизнь. Важно они гуляли по комнате, обходя пылающие спирали «козлов», пока я возился на кухне. Второе крыло у голубя так и висело, не поднимаясь, всё время нашей командировки.

— В суп его, — ворчали соседи, — он только гадит и жрёт.

— Воркует…

— В небо твой голубь уже не поднимется…

— Место ему на свалке.

Но Пашка уговаривал наше сварливое братство не серчать и прятал голубя в старый картонный ящик.

— Чего вы напрасно злитесь? Птица — невинное существо.

Понятно, что убирался за ним он ежедневно, не дожидаясь напоминаний. Сразу после работы ревниво заглядывал под кровать — живой ли питомец, выпуская его на волю — потопать.

— Боюсь, я за голубя, Саша, а вдруг его наши куряки поменяют на сигареты?..

Основания опасаться были. В подъезде проживало немало сброда. Время от времени на помойке валялись ощипанные перья и пустые бутылки. Сам же

Пашка не курил и не пил спиртного никогда — ни вкуса его, ни запаха не знал. Синицы к нему садились на ладони за крошками, толкаясь от нетерпения. У меня же, сколько ни пытался приручить этих птичек, не получилось. Даже обидно… Боятся меня пернатые, а я ведь тоже не злыдень.

На производстве мы выполняли футеровки дымоходных труб и обкладывали колонны, на которые опирались огромные шарообразные ёмкости для сжиженного газа. Никакого огня в округе не допускалось, морозило крепко. Рядом с объектом стояла маленькая биндюжка для дежурных, выезжающих по аварии на ремонты, нефтехимический комбинат повсюду опутан трубами. Если эти ребята скучали без аварийности, мы заходили к ним погреться. Их руководство составляло отчёты в прорабской отдельно от работяг. Время от времени оттуда слышался храп. В помещении у ремонтников, словно в зоомузее, на полочках стояли чучела различных мелких животных и птиц. Около пожарного выхода висели лосиные рога. Под ними, сидя на лавочке, мы прижимались к отопительным трубам. Пашка ранее где-то слышал, что лоси драчливы, и словно ребёнок с наивностью задавал одни и те же вопросы обитателям этой биндюжки.

— Вы, ведь, поди, охотники?

Такими здесь были все.

— А как же… — с достоинством отвечали сибиряки. — Леса в нашей округе много.

— А, правда, что каждую осень сохатые сбрасывают рога, а потом у них вырастают новые, лучшие?

Встретив готовые уши, добродушные слесарюги точили лясы, припоминая факты охоты на всякую живность. Даже начальники улыбались и были терпимы к нам — посторонним, по сути, людям.

— И приручаются, и кушают из человеческих рук?

Пашка располагал к беседе всяких. На полном серьёзе ему рассказывали, что это — сущая правда, что ещё недавно эти огромные твари приходили на окраину леса каждую зиму.

— В то самое место, где вы сегодня живёте. Там стояли деревья.

Район стремительно вырос в последние годы социализма. Вырубки расширили город, а следом зачадил комбинат. Размахи цивилизации напугали животных, и лоси ушли кормиться в таёжные чащи.

— Очень хочется их увидеть…

Мой напарник не унимался. Глядя на чучело филина, рассказывал, что в общаге под койкой у него находится маленький голубь, что с самого раннего детства он любит птиц, хотя ни разу не видел живыми ни филина, ни совы…

— Зато целых два дня у меня в квартире однажды проживал детёныш степной орлицы, наверное, беркут. Папка привёз его из дальней командировки мне в подарок на день рожденья. Я схватил орлёнка в охапку, чтобы немного погладить, но тот клевался, как сумасшедший. Раны кровоточили. Я их никогда не показывал мамке, лечился сам. Наша дружба с орлёнком была терпимой. В комнате он ни разу не взлетел. Сегодня я уже понимаю,

что повсюду мешали стены и мебель. А вот тогда подумал, что этот птенец — нелетучий, и решил его прогулять. Взял старое толстое красное одеяло, в котором родился, накинул его на птицу. Словно ребёнка, закутанного в тряпки, вытащил на газоны и отпустил. Орлёнок взметнулся в синее небо и умчался в направлении гор. Пропал мой подарок.

Когда говорили о собаках, получалось, что самая лучшая на свете порода — дворняга. Мне казалось, Пашка лукавит из опасности, что кто-то из завсегдатаев этой биндюжки выгонит нас на холод сиюминутно, ссылаясь на положение дел в газопереработке. Я осторожно напоминал:

— Хватит базарить, пошли работать… А то уже не запустят сюда погреться. Срываем план…

Мы отрывались от батареи и извинялись — чужие люди…

Особенно холодно стало в феврале. Плюнешь, бывало, на рельсы — отскочит льдышка. Уличные работы стали невыносимыми, и Серёга Геннадьевич подыскал нам халтурки неподалёку от общежития — в тепле. Проживавшие с нами в одной квартире люди ушли на побелку подъездов, а мы возились на вилле у одного тобольского воротилы. Впервые Попов нас туда доставил на иномарке, но, расставаясь, показал тропинку обратно в город. С работы и на работу мы добирались пешими — напрямки. На этой вилле я выкладывал печку, а Пашка топил буржуйку и приготавливал раствор. Отогретые материалы были насыщены водою. Замесы получались жидковатые, но дело спорилось ладно.

В отличие от городского массива дачи великих застройщиков находились в прорежённом лесу. Даже зимою тут пахло хвойностью. В округе не наблюдалось ни души. Только единожды бульдозер, рыча, прошёлся между заборами, расчищая дороги, да спустя какое-то время появились заказчики наших рук: Серёга Геннадьевич и важный с виду татарин — владелец дома.

— Вы не волнуйтесь, Тахир Акрамович, эти люди мартены клали, — обнадёжил его Серёга. — Брака у них не будет.

Словно металлургические печи — одно и то же, что и печи, в которых готовят щи.

— Значит, договорились.

— Вы, Тахир Акрамович, приготовьте в субботу мешки, — поклонился ему Попов, и, принимая расхожую улыбку вместо парадной, обратился ко мне:

— Ты справишься до субботы?..

Я утвердительно кивнул.

— Какого размера?.. Какие мешки? — удивился татарин, не понявший сути подвоха.

— Это такая поговорка, — смущённо вмешался я. — Покудова печка не разогреется, ловите мешками дым.

Баре умчались, а мы остались без пищи. В лесу отоварить наши талончики было негде, и назавтра Пашка взял из дома несколько сухарей, но насытиться ими нам тоже не пришлось. К людям вернулись лоси. Их было двое: мамаша и лосенёнок с виду такой же крупный, крепкий и безрогий. Но очевидно было, что это — неразумный малыш. Он увидел мелкие ягоды

за забором, кажется облепиху. Малое неоклёванное птицами деревцо находилось вне досягания животных. Лосенёнок к нему тянулся, не обращая внимания на железные прутья, отделанные под пики басурманов. На холодном металле висели клочья его горячей шести. Пашка тут же нашёлся:

— Надо его накормить, а то свернёт себе шею.

Он освободил руки из варежек, натолкал в карманы телогрейки самых крупных сухарей и беспечно отправился к лосям, словно они — деревенские лошади, послушные людям. Животные растерялись от смелости, с которой приближался к ним человечек, не зная, какого он нрава — добрый или недобрый. Хотели было податься обратно в сторону леса, я видел, как мамаша уже поджалась для разворота, но Пашка тихо присвистнул им, словно собакам, достал из кармана хлебушек, и пришельцы рванулись к нему навстречу, разбивая сугробы в снежную пыль. Верхняя губа у всякого лося больше, чем нижняя, теплее и мягче. Пар валил у них из ноздрей, изо ртов, когда они хрустели кормёжкой. Вернувшись к работе, Пашка утверждал, что оба лося дышали молоком. Это была неправда. Таёжные звери пахнут иначе.

Ночью я плохо спал. Соседи тоже ворочались, кряхтели. Или я раньше не обращал на это внимания, или какая-то аномалия охватила наше жилище. Может быть, нахлынула магнитная буря или ветер за окнами подогнал тяжёлые тучи, полные снега? Ныло, болело тело, хотелось кушать. У Пашки под койкой шарахался голубь, махая уцелевшим крылом. Я догадался, что его ломает от болей не меньше, чем меня, он же — вовсе калека. Светился «козёл». Притянутая его теплотой птичья пушинка вспыхнула и сгорела, витая по комнате, за нею — вторая. Я осторожно поднялся, выдернул из розетки электрический шнур и подался к соседям. Люди во сне ругались. Старик Гопкалов искал зелёную трёшку, которой не хватало, чтобы опохмелиться, он возвратился в социализм. Витька Патлатый — расхожий столяр — отчитывал супругу за измену, а Вовка Хватов — просто рабочий — закусился с начальством. Его дебаты о достойной зарплате шли вперемешку с похрапыванием, с кашлем; слышался мат. Опираясь на нецензурность, Хватов кому-то грозил. Днём эти люди носили маски и подобострастно улыбались Попову на всякую его шутку, порою недобрую. Чтобы не случился пожар, в их комнатушке я тоже обесточил обогреватель и вернулся в свою конурку для продолжения сна. Темень была неполной. Спираль у «козла» ещё вишнёво светилась, пушинки летали, но не горели. Пашке пригрезились его питомцы. Сначала он ворковал по-голубиному, потом ласкался лицом о подушку, причитая: «Бедное ты — животное, скоро ты будешь рогатое, сильное. Я положу тебе в губы хлеба». Он никогда не ругался, терпел любые насмешки. Только во время сна у человека на лице проявляется его настоящая сущность. Размышляя об этом, я тоже вскоре заснул, а утром объяснялся за паникёрство, в котором обвинили соседи. Голубь носился по комнате, не давая себя поймать.



Валентина Курицина

Валентина Алексеевна Курицина родилась в 1979 году. Кандидат филологических наук. Сотрудница аппарата Издательского совета Русской Православной Церкви. Стихи публиковались в журналах «Родная Ладога», «Дон», «ЛитСоты». Статьи, обзоры и рецензии — в журналах «Православное книжное обозрение», «Православный христианин», «Батя» (интернет-издание), научные статьи — в журнале «Труды по русской патрологии». Награждена Патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского», медалью преподобного Епифания Премудрого III степени, юбилейной медалью в честь 10-летия Калужской митрополии. Живёт на два дома: в Боровском районе Калужской области и в Москве.

САДЫ СТИХАМИ ГОВОРЯТ

ВЕДУНЬЯ

Скачут птицы-хлопотуньи
По ветвям в лесу, в саду.
Ты сказал, что я ведунья,
Вот тебя я и веду.

Мы проходим лесом, садом
И по берегу реки.
Время есть. Спешить не надо.
Силы лучше береги.

Яблок съешь, испей водицы.
Отдохни: трава ковром.
Нам блеснёт пером жар-птицы
Лист осины под кустом.

Вверх и вниз тропинка змейкой.
Ветер шевелит листву.
Называешь чародейкой —
Не противься волшебству.

Вот родник вкуснее зелья,
Пироги и каравай.
Да, дорога не безделье:
Примечай да успевай.

Водяные вдаль уплыли.
Бродит леший по кустам.
Я ведунья, не забыл ли?
Нам вперёд. И счастье там.

* * *

А знаешь что? Вскопаем огород,
Морковку, кабачки и лук посеем.
И будем приглашать на чай соседей,
А может, к ним пойдём наоборот.

В саду кормушки смастерим для птиц.
Поставим лавочки, ещё докупим вишни.
Здесь вечерами выпь бывает слышно.
И ёжик снова обещал зайти.

Внизу родник шумит, как водопад.
В дом золото к нам льётся на закате.
И есть подзор старинный у кровати.
А в банках — непременно мармелад.

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Под стук колёс мы говорим о том,
Что день так быстро клонится к закату,
Когда ковром пурпурным свет раскатан
На западе, от солнца золотом.
Мы говорим, что царствует июль,
Что реки и дороги им согреты
И что не врут нам древние приметы,
И ветер на всех окнах треплет тюль.
Мы говорим, что сок густой, как мёд,
Что зайцы приходили за морковью,
И кто не видел это, не поймёт,
Каким бывает лето в Подмосковье,
Что здесь сады стихами говорят
И шёпот их бывает часто слышен,
Что ягод нет вкуснее спелых вишен,
И сад вишнёвый много лет не зря
Выращивал известный доктор Чехов,
Что наконец и к нам пришла жара
И что крыжовник рвать пока не к спеху,
А вот смородину, конечно же, пора.
…И остаются позади заборы,
На ветках галки, цапли над ручьём.
В вагоне не стихают разговоры:
Все обо всём и каждый о своём.

КОНЕЦ ЛЕТА

Из слив варенье, морс из облепихи.
Из яблок — ну конечно, мармелад.
Спондей легко сменяется пиррихием,
По крыше капли дактилем стучат.

И даже в ливень небо с лёгкой просинью,
Хоть все ворчат: дождям и края нет.
Элегии обычно пишут осенью.
А что подходит августу? Сонет?

Дождь держит ритм, но не в ладах с рифмовками,
Он парную мешает с кольцевой.
…Везде рябины с бусами-обновками.
И стаи птиц над далью луговой.

А хризантемы яркими букетами —
Все в крупных каплях — у домов стоят.
…Дождь льёт и не справляется с сонетами.
Но тихо шепчет стансы мокрый сад.



Максим Станиславович Крайнов родился в 1957 году в Москве. Окончил Московский институт управления, профессиональный учёный-экономист. Автор четырёх книг стихотворений. Публиковался в нескольких литературных журналах и в «Литературной газете», а также в альманахах Союза российских писателей. Организатор и спонсор нескольких изданий современных авторов, организатор и ведущий поэтических вечеров в Доме-музее К. И. Чуковского в Переделкино. Член Союза российских писателей. Живёт и работает в Москве.

ХУДОЖНИК

Цикл стихотворений

БОРОВСК

В. Черникову

В необычно чистом снеге
утопает город наш.
Забываясь в светлой неге,
я берусь за карандаш.

Все деревья словно дышат
в унисон и невпопад:
то ли ветер их колышет,
то ли движутся назад.

Башни, церкви, колокольни
все назад наклонены,
оттого, что помнить больно
им историю страны.

И не люди — только тени
отошедших в мир иной
трёх последних поколений
на брусчатке площадной.

А поодаль, тёмной рясой
согревая естество,
служит пищей для фантазий
неземное существо.

Далеко в созвездье Веги
пребывает предок наш…
Только вспомнив о ночлеге,
отпускаю карандаш.

ОСКОЛКИ СНА

1.

Под утро стаял снегопад —
ужель весна?
А в голове ещё тупят
обрубки сна.
Машины вышли на парад —
гуляй, страна!..
Меня же колют и корят
осколки сна.
Кого прикажете винить?





А в том вина,
что не дано соединить
обрывки сна.
Никак ловить не научусь
слепых концов.
И оттого наводят грусть
остатки снов.

2.

Не знаю, как там у людей…
В числе основ
неровной личности моей —
обломки снов.

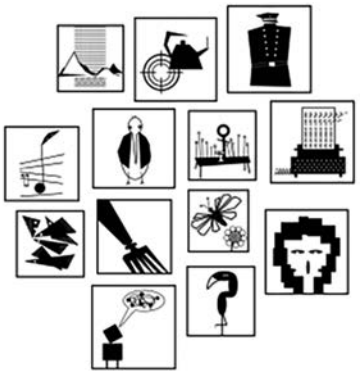
Прядётся дней веретено —
сюжет не нов.
И тихо падают на дно
останки снов.

Стихи порхают в вышине
средь облаков.
А ниже копится во мне
осадок снов.

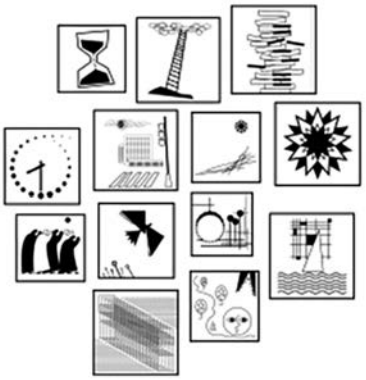
Куда теперь его девать?
Без лишних слов
стихи придётся одевать
в обёртки снов.

ГРАФИКА СМЫСЛОВ

С чего начнём? Да хоть с Венеры,
составленной из уголков,
среди которых символ веры
завис на фоне облаков.
Покамест выпуклое время
то мчит, то медленно течёт,
как коллективный звездочёт,
следит повёрнутое племя
за появлением сверхновой…
Качают маятник бубновый
длиннота «фа» и нота «ля»
над шевелюрой короля.



Весенний пух листвы и хвои
не доставляет нам проблем:
достанет мусора с лихвою
на сто рассказов и поэм
про то, как мыслями плутают
и птицы-рыбы вслед снуют.
Им в помощь лестницу суют,
да поздно: листья облетают.
Как облака несутся цугом
и орошают всю округу,
как, перепрыгнув злой поток,
за лесом скрылся колобок.



С иконы лик взирает скорбно
на цирк, творящийся вокруг:
красотка хочет сняться в порно,
но режиссёр (её супруг),
ей на глаза напялив шоры,
сам наблюдает дефиле.
Ему мерещатся во мгле
жарой придавленные горы,
средь них — искусственный оазис
с приемлемой для съёмок базой,
а вдалеке — спокойный вид
трёх знаменитых пирамид.



Пора заканчивать, однако!
Довольно строчек — 36!
Да только спутник-забияка
всё выше к звёздам хочет лезть.
Туда молитве не подняться…
Когда внизу звезду дают,
двуликий Янус тут как тут,
известный мастер профанаций:
всех, кто желает пожениться,
ведёт в старинную темницу,
где у ворот, почти как встарь,
встречает птица-секретарь.



Графика Вячеслава Черникова

Георгий Куликов

Георгий Викторович Куликов родился в 1950 году в Самарканде. Окончил Академию МВД СССР и Дипломатическую академию МИД России. До 2006 года работал в сфере государственного управления. Государственный советник 1-го класса, заслуженный юрист Российской Федерации. Член Союза писателей России.



ХОД ЧЁРНОЙ КОРОЛЕВЫ

Зима, понедельник, конец рабочего дня. Так уж было заведено, что именно в это время руководство отделения милиции собирало офицерский состав на совещание по итогам работы за прошедшую неделю и задачам на последующую. Сегодня от руководства проводил совещание заместитель начальника по уголовному розыску майор милиции Николаев. Он говорил негромко, отчего его речь превращалась в убаюкивающее песнопение, а поскольку в небольшой комнатке, где проводилось мероприятие, было довольно душно, все офицеры, борясь со сном, с трудом слушали своего начальника. Уже через полчаса совещания часть присутствующих, прячась за спины сидящих впереди, практически спала, а на первом ряду, где в этот раз сидели оперативники, шла героическая борьба со сном. Саша Блинов периодически щипал себя за ногу, Виктор Колосов с усердием потирал лоб, самый старший из них по возрасту и по званию Лев Алексеевич Ерихин что-то записывал в свой маленький блокнотик.

А самый молодой из оперативников Женя Кудрин неотрывно смотрел на начальника, но это была лишь видимость — демонстрация внимания к лектору, взгляд лишь скользил по его лицу и упирался в тёмное окно. Молодой человек размышлял о зиме: «По сути, холодное время года — это уникальная возможность насладиться снегом, ощутить приятное пощипывание мороза на лице. И конечно же, зима — это Новый год. Куда же без него — жизнь была бы скучна! Зима заставляет ценить тепло: когда за окном воет вьюга, укутывая заснувшую природу белым пушистым снегом, так и хочется забраться под одеяло и наблюдать через окно за этой необузданной стихией. А самое главное — через день я уже буду в очередном отпуске. И ничего, что он зимой, ведь в прошлом году я гулял летом…» Так уж было заведено с отпусками в отделении милиции, и по этому поводу никто

не возмущался. А тут ещё и приятное: отец обещал достать путёвку в подмосковный дом отдыха.

Женя с вожделением думал о том, как он будет играть в свой любимый настольный теннис, а по вечерам ходить на танцы, где наверняка будет возможность познакомиться с какой-нибудь симпатичной девушкой.

«А послезавтра, — мысли его дерзнули побежать дальше, — куплю в гастрономе продуктов, пару литров пива, буду валяться на своём диване и ни о чём не думать. Красота!»

Приятные размышления Кудрина были прерваны громким голосом начальника.

— А ну, просыпайтесь! — недовольно произнес Николаев. — Я тут целый час перед вами кручусь, как белка в колесе, рассказываю о криминогенной обстановке в районе, а некоторые спать изволили.

Все присутствующие встрепенулись и подняли голову.

— Вот так-то лучше, — проговорил начальник. — И последнее, что я хотел сказать, — учите уже русский язык! Такие перлы приходится читать в ваших рапортах, что уши вянут.

— Мы академий не заканчивали… — начал было оправдываться участковый инспектор Минаев.

— У вас у всех за плечами средняя школа, а у некоторых даже наша милицейская, — отрезал Николаев, вынул из своей папки несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком, и положил на стоящий перед ним стол. — Вот тут товарищ Минаев, который академий не оканчивал, пишет в рапорте буквально следующее: «Гражданка Веткина при падении ударилась головой о землю, о чём свидетельствует ушиб правого полужопия». Это какого такого полужопия, товарищ Минаев? В литературе это место называется ягодицей.

— А вот что наш оперативник Блинов пишет в рапорте, — продолжал Николаев. — «Будучи доставленным в отделение милиции, гражданин Кукушкин продолжал хулиганить и ударил ногой сержанта милиции Худабердыева в область полового члена, причём с последнего слетела шапка».

Присутствующие заулыбались, и сон с офицерского состава как рукой сняло.

— Или вот ещё одно нетленное произведение сержанта Семёнова, — продолжал начальник. — «Гражданка Буханкина вела себя буйно, шумела, кричала, нецензурно ругалась, тем самым мешала мирным гражданам спокойно отдыхать в медвытрезвителе». Вы учтите, товарищи офицеры, что ваши рапорта не только я читаю, их может прочитать вышестоящие начальники при изучении того или иного уголовного дела. Поэтому прошу вас: внимательно отнеситесь к моему замечанию и на досуге ещё раз прочитайте грамматику.

В этот момент в комнату вошёл дежурный офицер и что-то прошептал Николаеву на ухо.

— Так, товарищи, совещание закончилось, всем до свидания, а ты, Кудрин, останься!

Когда все разошлись, Николаев обратился к Жене:

— На Нагатинской улице в одной из квартир кооперативного дома обнаружен труп молодого человека. Бери дежурную машину, поезжай туда и разберись на месте, что там произошло, адрес даст тебе дежурный офицер. Оперативная группа райотдела уже выехала, а скорая помощь, наверное, уже на месте.

Через несколько минут дежурная машина «Москвич» уже неслась по заснеженным дорогам города и вскоре подъехала к двенадцатиэтажному дому в самом начале Нагатинской улицы. У единственного подъезда стояла машина «Скорой помощи», а с другой стороны подъезда к дому подъезжала «Волга» из райотдела. Кудрин подошёл к ней и поздоровался со следователем Пановым и экспертом-криминалистом Бровкиным. В этот момент из подъезда вышел участковый инспектор Николай Елисеев и, кивнув головой в знак приветствия, сказал, что квартира с потерпевшим находится на последнем, двенадцатом этаже. Вся группа вошла в подъезд, и вскоре лифт доставил их к нужному этажу. У открытой двери стояли две женщины, а в комнате о чём-то говорили два врача из «Скорой помощи».

Вся группа не спеша вошла в комнату, в которой стоял жуткий холод, и врач повёл их к открытому балкону. На полу из керамической плитки, свернувшись в клубок, в одних трусах лежал молодой человек, на его плечи была накинута какая-то тряпка.

— Смерть наступила от остановки сердца в результате сильного переохлаждения где-то часа два тому назад. Признаков насильственной смерти при наружном осмотре тела не обнаружено, — сказал доктор, — но это предварительный диагноз. Более точный будет по результатам судебно-медицинской экспертизы. Мы уезжаем и передадим заявку на приезд специальной медицинской службы для эвакуации тела потерпевшего в морг.

— Спасибо, доктор, — поблагодарил следователь и, повернувшись к участковому инспектору, попросил найти двух понятых для осмотра места происшествия.

Через несколько минут участковый инспектор подвёл к следователю двух всхлипывающих женщин.

— Это Суров Альберт Сергеевич, — сказал он и протянул следователю паспорт потерпевшего, который нашёл в кармане его пиджака. — Девятнадцать лет, совсем ещё пацан.

Пока следователь и эксперт-криминалист занимались осмотром места происшествия, Кудрин принялся внимательно осматривать комнату. На диване лежали разбросанные вещи потерпевшего: брюки, рубашка, свитер и носки. Тут же на столе стояла пустая бутылка из-под армянского коньяка «Арарат» и один бокал. В серванте Женя увидел стоящие в ряд четыре бокала для вина. И около них — коньячный бокал, он был немного шире и ниже по высоте, чем винный. А рядом, на той же полке, стояли три бокала для коньяка.

«Странно, — подумал Кудрин, — и тех, и других бокалов по четыре штуки, а один коньячный стоит не в том ряду. Наверное, кто-то пил

из коньячного бокала, а потом поставил его, но не в тот ряд. Вряд ли хозяин мог так сделать».

Кудрин подошёл к эксперту-криминалисту и попросил изъять этот коньячный бокал для возможного обнаружения на нём отпечатков пальцев.

Продолжая осматривать комнату, он увидел на паласе две параллельные линии шириной примерно в десять сантиметров. Опустившись на колени, Женя внимательно осмотрел эти следы: ворсинки паласа в них были слегка вмяты и прогнуты по направлению к той части комнаты, где находился балкон.

— Возможно, это следы голых пяток, когда человека тащили на балкон, — подумал Кудрин и попросил эксперта сфотографировать линии на паласе.

Там же он обнаружил женскую заколку для волос в форме бабочки жёлтого цвета и попросил Бровкина исследовать её на предмет возможных следов.

— Кто обнаружил потерпевшего? — спросил следователь у женщин-понятых.

— Я, — ответила одна из них, — Романова Анна Павловна... Сегодня около семи часов вечера я вышла из своей квартиры и увидела, что дверь соседской приоткрыта. Я позвонила, но мне никто не ответил, тогда я вошла в комнату. Горел свет, был сильный холод, а дверь балкона открыта. Когда я подошла к нему, то увидела на полу балкона лежащего в одних трусах Алика, накрытого какой-то тряпкой. Подойдя поближе, я поняла, что он не дышит; я выбежала на улицу и из ближайшего телефона-автомата позвонила в «Скорую помощь» и милицию.

— А вы ничего подозрительного тогда не заметили на лестничной площадке? — спросил Кудрин.

— Да нет, ничего не видела, — ответила Романова.

Кудрин вышел из квартиры потерпевшего и нажал кнопку звонка квартиры, которая была в торце лестничной площадки. Дверь открылась, и на пороге появилась испуганная молодая женщина.

Женя представился ей, показав удостоверение личности, и попросил разрешения зайти в квартиру. Женщина сказала, что её зовут Нина Сергеевна Воронина, и пригласила его пройти на кухню. Женя обратил внимание, что в коридоре и на стенах кухни висело большое количество рисунков.

— Это вы рисуете? — спросил он.

— Нет, — ответила она, — это мой сынок Антошка, ему всего девять лет, а в прошлом году у него вдруг проявилась способность к рисованию. Он сейчас ходит в художественный кружок.

— Вы сегодня видели Сурова? — спросил Кудрин.

— Вот горе-то какое, — проговорила она, вытирая слёзы, — часов в пять вечера мы выходили с Антошкой из квартиры в магазин. В этот момент раскрылись двери лифта, и из него вышел Суров с какой-то высокой девушкой в длинном сером пальто с капюшоном на голове. Алик был ужасно пьян, плохо стоял на ногах и никак не мог вставить ключ в замок. Он с трудом открыл дверь, и они зашли в квартиру, а мы сели в лифт и поехали на первый этаж.

— А вы не смогли бы описать эту девушку?

— Нет, я её видела только со спины, — ответила хозяйка квартиры, — единственное, что могу сказать: она была высокого роста и довольно стройная.

— Я её видел, — сказал вышедший из комнаты небольшого роста светловолосый мальчик.

— Давай знакомиться, меня зовут дядя Женя, — сказал Кудрин и, присев на корточки, протянул ему руку.

— А меня — Антошка, — ответил мальчик и, как взрослый, пожал руку Кудрину, — я могу нарисовать лицо той тёти.

— Нарисуй, буду тебе очень благодарен, — сказал Женя.

Мальчик взял лист бумаги, хорошо заточенный карандаш и, пыхтя, стал рисовать. Через десять минут он передал свой рисунок: на листе бумаги было нарисовано женское лицо со слегка вздёрнутым носиком, большими глазами и красивыми бровями.

— Спасибо тебе, Антошка, — поблагодарил мальчика Кудрин, взял у него рисунок и положил к себе в папку.

— А что вы можете сказать о своём соседе? — обратился он к Ворониной.

— Да что говорить, — ответила она, — переехал он в эту квартиру примерно год назад, но ни я, ни мой муж с ним старались не общаться. Ведь мы часто видели Алика нетрезвым, и он регулярно приводил к себе девушек, ну как бы это помягче сказать, сомнительного поведения. Муж говорил, что его родители развелись, а ему купили однокомнатную квартиру в нашем кооперативном доме. Больше сказать ничего не могу.

— Спасибо, Нина Сергеевна, — сказал Кудрин и, записав на бумаге показания Ворониной, вышел из квартиры. К этому моменту следователь закончил составлять протокол осмотра места происшествия, а приехавшая бригада специальной медицинской службы забрала тело потерпевшего в морг районной больницы.

— Мы уезжаем в райотдел, — сказал следователь, — а завтра, как обычно утром, все документы будут в вашем отделении милиции.

— А ты что-нибудь нашёл? — спросил Женя у эксперта-криминалиста Бровкина.

— Практически ничего, — ответил он, — но очень интересным, на мой взгляд, является тот факт, что на ручке двери балкона вообще никаких следов пальцев не обнаружено, как будто кто-то специально протёр её.

— А что, дверь балкона ветер что ли открыл? — с усмешкой спросил Кудрин.

— Получается, что так, — ответил Бровкин, — но это уж ты сам додумывай, а акт экспертизы я завтра положу в пакет вместе с протоколом осмотра места происшествия.

Через несколько минут оперативная бригада райотдела уехала, и Кудрин остался в квартире один, ещё раз обдумывая произошедшее. Он не заметил, как в комнату вошёл участковый инспектор Елисеев, который передал ему сведения от соседей по лестничной площадке.

— К сожалению, — пробасил он, — никто из опрошенных ничего подозрительного не видел. Думаю, что здесь нет криминальной составляющей, а просто произошёл несчастный случай: перепил человек, жарко стало и потянуло охладиться на балкон, а там, видимо, упал и не смог подняться.

— Может быть, всё обстояло именно так, а может быть, иначе, — вздохнул Кудрин.

— А что может быть иначе? — спросил Елисеев. — Никаких следов насилия не обнаружено, вещи и деньги целы и невредимы…

— Ну, хорошо, — прервал его Кудрин, — у меня к тебе, Николай, просьба, я поеду сейчас на работу, а ты опечатай квартиру, но завтра утром сходи в районную больницу, возьми акт судебно-медицинской экспертизы тела Сурова и привези в отделение милиции.

— Хорошо, сделаю, — коротко ответил Елисеев.

Они попрощались, и Женя, спустившись на первый этаж на лифте, быстрым шагом пошёл в сторону остановки городского транспорта. На улице стоял сильный мороз, он был осязаем и тяжёл, так что Кудрину захотелось поскорей добраться до своего отделения милиции. Когда долгожданный автобус распахнул свои двери, из салона вырвался сгусток пара и тепла и стоявшие на остановке люди, подталкивая друг друга, стали протискиваться в его объятия. Жене с трудом удалось проникнуть в переполненный салон, но тепло заставило забыть его о неудобствах. Он прикрыл глаза и расслабился.

В отделение милиции Кудрин приехал совсем поздно, но Николаев был ещё в своём кабинете. Женя зашёл к начальнику и подробно рассказал о происшедшем.

— Ну и что ты думаешь по поводу случившегося, какие версии будешь выдвигать? — спросил Павел Иванович.

— Тут такое дело, как посмотреть, — начал Кудрин. — С одной стороны, всё выглядит как несчастный случай: перепил человек, стало жарко, пошёл на балкон остудиться, но, видимо, поскользнулся и упал, а подняться уже не смог. После бутылки выпитого коньяка всякие бредовые мысли могут прийти в пьяную башку; на улице сейчас лютый мороз, аж дыхание перехватывает, вот, видимо, у него оно и перехватило с концами. Врач, который осматривал тело Сурова, никаких прижизненных травм и повреждений не обнаружил, но предварительно констатировал смерть от остановки сердца в результате переохлаждения.

— Но, если рассматривать случившееся с другой стороны, — продолжал Кудрин, — некоторые моменты заставляют задуматься. Так, из показаний соседки потерпевшего Ворониной известно, что к Сурову часто по вечерам приходили девицы сомнительного поведения. Вот и сегодня, как я вам уже докладывал, около пяти часов вечера, когда Воронина с сыном вышла из квартиры, из лифта буквально вывалился пьяный Суров с какой-то девушкой в длинном пальто с капюшоном. Он с трудом открыл дверь квартиры. К сожалению, соседка не видела эту девушку, так как та стояла спиной к ней, а вот её девятилетний сын Антошка видел и даже нарисовал карандашом её лицо.

Кудрин вытащил из папки сложенный листок бумаги и протянул его Николаеву. Тот несколько минут внимательно рассматривал его.

— По этому «портрету» можно огромное количество девушек сразу забирать в каталажку. Вот сразу скажу, что вижу сходство с Надей Авериной, нашим следователем из райотдела, и Валей Ковалёвой, секретаршей нашего начальника. Что дальше?

— Так вот, — продолжал Кудрин, — если рассматривать это как несчастный случай, может быть, было так. Суров привёл к себе девушку будучи в сильном подпитии. Что-то пошло не так, и девушка ушла, а хозяин квартиры с горечи выпил бутылку коньяка и вышел охладиться на балкон.

— В одних трусах, — ехидно заметил Николаев.

— Видимо, Суров успел раздеться, предвкушая тесный контакт с девушкой, — ответил Кудрин, — но потом что-то произошло между ними, и она ушла…

— А теперь, собственно, мои сомнения, — продолжал рассуждать Женя, — на столе рядом с диваном стояла пустая бутылка из-под армянского коньяка и один коньячный бокал, что говорит о том, что выпивал один человек. Но в серванте я увидел точно такой же бокал, который стоял в ряду с четырьмя винными. Вряд ли хозяин квартиры мог поставить его с бокалами для вина. А вот человек, который поставил коньячный бокал не на своё место, не заметил разницы бокалов в высоте. Кстати, на соседней полке стояли три именно коньячных бокала. Так вот эксперт-криминалист взял тот бокал на исследование для возможного обнаружения на нём отпечатков пальцев. Кроме того, на паласе я заметил две параллельные линии сантиметров по десять каждая. Очень может быть, что эти следы от голых пяток человека, которого волокли по полу, причём ворс паласа в этих линиях был примят в сторону противоположной стены комнаты, то есть прямо по направлению к балкону, — Женя указал рукой в направлении окна. — В связи с этим напрашивается вывод, что пьяного Сурова, который уже, видимо, не мог сопротивляться, вполне возможно кто-то специально выволок на балкон. Эти следы на паласе эксперт-криминалист сфотографировал, а обнаруженную на полу женскую заколку в форме бабочки жёлтого цвета я отдал ему для исследования. А теперь самое интересное: по предварительным данным, следов пальцев рук на ручке балконной двери не было обнаружено. Складывается впечатление, что её просто протёрли; ну не мог же ветер открыть дверь на балкон? Здесь, на мой взгляд, присутствуют обстоятельства, противоречащие нашему представлению об обычном ходе события, то есть, возможно, — Женя замялся, — была инсценировка обстановки места происшествия.

— Прям так и инсценировка? — недоверчиво переспросил Николаев.

— Я же сказал, что, возможно, она могла быть, но точно не утверждаю.

— Вот в том-то и дело, — проговорил Павел Иванович, убирая со стола папки с бумагами, — твои рассуждения о криминальном следе этого происшествия носят косвенный характер. Посуди сам, следов насилия на теле потерпевшего не было зафиксировано врачом. Так я тебя понял? А что сказал врач? Что потерпевший умер в результате остановки сердца

от переохлаждения. Да, кстати, и ограбление здесь также не просматривается. А самое главное — каков тогда мотив преступления, если оно в действительности было? Скорее всего, — Павел Иванович взял со стола последнюю папку, — никакого криминала нет. Понимаешь? Нет! А есть лишь несчастный случай. Дождёмся акта судебно-медицинской экспертизы тела Сурова и криминалистической экспертизы нашего эксперта, а там будет видно.

— А девушка, которую видела соседка за несколько часов до трагедии? — спросил Женя.

— А что девушка? Она как пришла, так, скорее всего, и ушла, увидев, как разморило Сурова. Не хочешь ли ты сказать, что это именно она выволокла его на балкон? Да ерунда! Вряд ли такое может быть… Ну а если это было именно так, то должен же в конце концов быть мотив преступления? Ну не убивают мужиков только за то, что, будучи в сильной степени опьянения, они не могут удовлетворить женскую похоть. А что касается заколки для волос, так к нему, судя по рассказу соседки, часто приходили девушки, и, кто из них мог обронить заколку, неизвестно.

— И ещё, — встрепенулся Кудрин, — непонятно, с какой целью Сурова два месяца назад вызывали в РОВД Октябрьского района к оперативному работнику Графову, я на его столе нашёл скомканную повестку. Это, кстати, мой однокашник по школе милиции.

— Ну вот ты завтра позвони своему однокашнику и всё узнай, а сейчас уже поздно, — Николаев мельком глянул на часы, — и пора, пора домой.

Попрощавшись с начальником, Кудрин надел куртку и направился в сторону трамвайной остановки. Мороз не давал думать — скорей, скорей домой.

И уже переступив порог своей однокомнатной квартиры, Женя вспомнил, что опять забыл купить продукты в магазине. Он разделся и по привычке открыл дверь холодильника: пусто, лишь на верхней полке одиноко стояла бутылка «Боржоми». Открыв бутылку, Женя сделал несколько глотков прямо из горлышка.

— Ну вот и поужинал, — подумал он и пошёл умываться в ванную комнату, а потом с наслаждением лёг в свою постель.

И здесь его вновь настигли мысли о происшествии.

«Все-таки это точно инсценировка, — думал Кудрин, — возможно, кто-то очень ловко воспользовался сильным опьянением Сурова и выволок его голого на балкон. Но где здесь мотив? Что заставило человека таким необычным способом расправиться с потерпевшим?»

Мысли метались, приходя в голову одна за другой, и Женя, укрывшись с головой одеялом, закрыл глаза и тихо приказал сам себе:

— Спать, Кудрин!

Утром следующего дня дежурный офицер передал Кудрину пакет из райотдела, в котором был протокол осмотра места происшествия, акт криминалистической экспертизы и та самая заколка для волос в форме жёлтой бабочки, которую он нашёл в квартире потерпевшего.

Из акта стало понятно, что никаких следов, указывающих на криминальную составляющую, обнаружено не было; и на заколке, и на бокале

из-под коньяка, стоявшего в серванте, отпечатков пальцев также не найдено. В этот момент в кабинет вошёл участковый инспектор Елисеев и передал Кудрину акт судебно-медицинской экспертизы тела Сурова, в котором было сказано, что никаких прижизненных травм на теле не обнаружено, а смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной сильным переохлаждением тела.

Женя поблагодарил Елисеева и пошёл к Николаеву.

— Ну что, отпускник, завтра в месячное увольнение? — спросил с улыбкой начальник. — Иди в бухгалтерию за отпускными.

Кудрин ничего не ответил, только молча положил ему на стол присланные документы.

— Ну всё понятно, — проговорил Павел Иванович, когда прочитал их, — готовь постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и приложи все необходимые документы.

— Хорошо, — коротко ответил Женя, — но в Октябрьское РОВД к Графову я всё-таки поеду.

Через час Женя положил на стол начальника все требуемые документы. Николаев завизировал проект постановления об отказе возбуждения уголовного дела и сказал, что сам поедет к руководству райотдела и в прокуратуру за необходимыми подписями. А Кудрин уже в своём кабинете достал из папки скомканную повестку и позвонил по телефону, номер которого был там обозначен.

Графов очень обрадовался звонку однокашника, но, когда Женя ему коротко рассказал о вчерашнем происшествии с Суровым и найденной у того повестке, голос товарища сразу изменился.

— Приезжай ко мне, и я тебе обо всём подробно расскажу; это не телефонный разговор.

Через час Кудрин вошёл в небольшой кабинет в здании Октябрьского РОВД. За массивным столом в кресле сидел его однокашник по школе милиции Юра Графов, которого в те далёкие дни учёбы курсанты называли «Графом». Они оба были рады встрече, так как с момента выпуска из школы милиции не встречались.

— Я тебе сейчас всё расскажу, а потом поговорим, — начал свой рассказ Графов. — Сурова я вызывал на беседу свидетелем по делу о несчастном случае с неким Орловым, которого два месяца назад обнаружили мёртвым в канализационном колодце во дворе кафе-шашлычной на улице Стасовой. В тот вечер трое парней: Зотов, Фокин и Суров — будучи в состоянии алкогольного опьянения устроили там драку с Орловым. Что между ними произошло, никто не знает, но Орлов вырвался от них и вышел на улицу, а через несколько минут и эта троица покинула кафе. Только утром тело Орлова было обнаружено без признаков жизни в канализационной яме, а крышка от колодца валялась метрах в пяти от ямы. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, смерть Орлова наступила в результате удара о какой-то металлический предмет, скорее всего, о металлическую трубу, торчащую на дне колодца. На фотоснимке эксперта-криминалиста эта труба

была хорошо видна у самого дна колодца. Но как он смог так изловчиться и наткнуться головой именно на неё — не представляю…

— Тем не менее, — продолжал Графов, — отсутствие свидетелей и полученный акт экспертизы сделали своё дело, начальник следственного отдела квалифицировал это как несчастный случай и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Поскольку Орлов воспитывался в детском доме и родственников у него не было, его быстро кремировали, а материалы сдали в архив. Правда, потом нашлась одна девушка по фамилии Нефёдова, с которой у него должна была через месяц состояться свадьба, вот она и взяла урну с прахом жениха.

— А кто она такая? — спросил Женя.

— Я с ней встречался, и мы довольно-таки долго общались, — проговорил Графов, — она студентка пятого курса юридического факультета МГУ. Кстати, и Орлов был также студентом МГУ, но филологического факультета.

— А кто такие эти трое молодых ребят, которые в тот вечер дрались с Орловым? — спросил Кудрин.

— Эти трое с детства жили в одном доме на улице Стасовой и учились в одном классе. По окончании школы поступили в институты, но практически не учились, а постоянно тусовались в стоящем рядом кафе. Несколько лет назад родители Сурова развелись и купили ему кооперативную квартиру в вашем районе, а двое других так и жили на улице Стасовой, — Графов, чиркнув спичкой, закурил. — Вот это и есть та самая «золотая молодёжь», а ей, как говорится, море по колено, она привыкла жить за счёт своих высокопоставленных родителей. Отец Зотова работает большим чиновником в исполкоме Моссовета, отец Фокина — заместитель начальника городского отдела здравоохранения, а отец Сурова — директор треста ресторанов и столовых нашего района. Как ты видишь, эти ребята из состоятельных семей. Вместо учёбы они постоянно пьянствовали и хулиганили. Как рассказали работники этого кафе, верховодил ими Борис Зотов, которого они называли «Боб». Эта троица часто была в кафе, в пьяном состоянии они устраивали драки и приставали к молодым девушкам. Участковый инспектор замучился с ними, вынося раз за разом предупреждения, а Зотова даже привлекал к ответственности за мелкое хулиганство. Но все их «художества» гасились где-то наверху, и они продолжали себя вести подобным образом.

— Ты сказал, что в тот вечер эти трое подрались в кафе с Орловым, а когда тот выбежал на улицу, эти парни также вышли из него, — напомнил Кудрин.

— Да, так оно и было, судя по показаниям посетителей кафе и официантов, — ответил Графов, — но, что произошло дальше, никто не видел.

— Так они могли его догнать и убить, сбросив потом тело в канализационный колодец.

— Наверное, могли, — пожал плечами Графов, — но я уже говорил: никто не видел, что произошло, а эти трое утверждали, что из кафе отправились по домам.

— А дальше, — продолжал Графов, гася сигарету в пепельнице, стоящей на подоконнике, — все материалы по этому делу начальник следственного отдела взял себе. Вот так-то. После чего буквально через два дня было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и происшествие было квалифицировано как несчастный случай.

— Складывается впечатление, что не просто так свернули расследование, — резюмировал Кудрин, — видимо, кому-то надо было закрыть это дело.

— Ты знаешь, — подхватил Графов, — хотя я и не был на месте происшествия, но видел фотографии эксперта-криминалиста и до сих пор не могу понять, как может человек, провалившийся в этот колодец ногами вниз, наткнуться головой о трубу, торчащую на его дне. В общем, это самый большой вопрос.

— А что тебе рассказала девушка погибшего? — спросил Женя.

— Да ничего особенного не прояснила, — ответил Юрий, — она студентка последнего курса юридического факультета МГУ и была в это время на уборке картофеля в подшефном совхозе. Кстати, очень красивая особа с длинными ногами и тонкой талией.

— И это всё? — не унимался Кудрин.

— Да нет, не всё, — вздохнул Графов, — две недели назад в своей квартире был обнаружен труп одного из этой троицы — Фокина, который в сильной степени опьянения забрался в ванную и захлебнулся. Поскольку насильственных следов на теле не было обнаружено, фактов взлома двери и кражи имущества не выявлено, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела…

— Мотивируя несчастным случаем, — перебил его Кудрин.

— Именно так и посчитал следователь, а руководство отдела и прокурор согласились с этим, — пожав плечами, проговорил Графов, — там единственная была «зацепка», что в тот вечер сосед видел, как Фокин, будучи в состоянии опьянения, входил в свою квартиру с какой-то длинноногой девушкой с длинными чёрными волосами, но лица её он не видел, так как она находилась к нему спиной.

— В случае с Суровым тоже была молодая длинноногая девушка, которая пришла вместе с ним в квартиру, — сказал Кудрин и, вынув из папки рисунок Антошки, показал его Графову.

— Мне кажется, что есть сходство с невестой Орлова, той самой Нефёдовой, которую я опрашивал в связи со смертью Сурова, но могу и ошибаться.

— А вот это уже интересно, — Женя от неожиданности даже привстал, — а вдруг она «замочила» и Фокина, и Сурова из-за мести?

— Да ну, ты что, обалдел? Этого просто не может быть, хотя бы потому, что она такое хрупкое создание — сама грация, — Графов недоумевал, — хотя ходит в секцию водного поло.

— А там знаешь, какие мускулы надо иметь, чтобы одновременно плавать и кидать мяч. И хрупкие создания могут совершить тяжкие поступки.

— А… ещё, забыл сказать, — проговорил Графов, — где-то через неделю после трагедии с Орловым в опорный пункт правопорядка участковому

инспектору Будько позвонила женщина и сказала, чтобы он опросил двух молодых поваров из шашлычной, так как они якобы были свидетелями убийства этого парня. Однако, когда Будько попросил эту особу представиться, она положила трубку. Поскольку это был анонимный звонок, участковый инспектор на него не отреагировал, хотя мне о нём сказал; на тот момент уже было подписано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

— Может, сходим сегодня в эту шашлычную? — спросил Кудрин.

— Не могу я сегодня, Жень, — ответил Графов, — очень много дел накопилось, а вот завтра, пожалуй, пойдём.

— Хорошо, — закивал в ответ Кудрин, — завтра к обеду буду у тебя.

Попрощавшись с однокашником, Женя быстро пошёл к автобусной остановке; сегодня он должен был «проставиться», то есть угостить коллег по работе по случаю очередного отпуска. Такова была традиция у оперативников, и наверняка все уже его ждали и были готовы достойно проводить его в отпуск. По пути на работу Кудрин зашёл в гастроном, где купил так называемый «специальный оперативный набор»: три бутылки портвейна «Агдам», батон варёной колбасы, пять сырков «Дружба» и буханку чёрного хлеба.

Как он и предполагал, в кабинете все уже были в сборе и встретили его с большим воодушевлением, а увидев в его руке сетку-авоську со знакомым портвейном, пришли в полный восторг.

Быстро порезав на газетке колбаску и хлеб, Ерихин как самый старший аккуратно налил каждому в стакан портвейна.

— Ну, чтобы ты, Женя, хорошо отдохнул и постарался выкинуть из головы все мысли о работе, — провозгласил он тост, и все дружно выпили.

Потом с аппетитом закусили, и Лев Алексеевич снова разлил портвейн, но уже по половине стакана.

— Между первой и второй пуля не должна пролететь, ещё раз за твой отпуск, — проговорил он, и все снова выпили.

— А теперь, отпускник, зная твою любовь к анекдотам, ждём от тебя новой хохмы, чтобы душа рассмеялась, — попросил Блинов.

— Да, давай, — поддержал его Витя Колосов, набивая рот колбасой.

— Ладно, смешить так смешить. Значит так, — как обычно начал Женя. — В одном колхозе идёт награждение доярок за добросовестный труд. Одной вручают телевизор, другой радиоприёмник. «А доярке Агриппине, — говорит председатель колхоза, — мы решили вручить гипсовый слепок бюста Хемингуэя». С заднего ряда встает дед Макар и громко говорит: «Так ей, старой шалаве, и надо…»

Все захохотали, а Колосов от смеха чуть не подавился куском колбасы.

— А вот ещё, — распалился Кудрин. — Гуляет мужик по берегу моря и вдруг видит красивую ракушку. Приложил её к уху в надежде услышать шум моря и тут же недоуменно отнимает её от уха. «То есть как это — иди в жопу!?»

Громкий смех опять заполонил весь кабинет.

— Мужики, поимейте совесть, — проговорил зашедший в кабинет дежурный офицер, — ржёте, как табун лошадей на марше.

— Да ладно, Петрович, — сказал сквозь смех Ерихин, — мы поняли, шуметь не будем, иди к себе.

— Ну а теперь по третьей, — провозгласил он, — за тех, кто в море и МУРе!

Все встали и, чокнувшись, выпили содержимое своих стаканов до дна.

— На этой мажорной ноте заканчиваем наш товарищеский ужин, — сказал Ерихин, надевая пальто. — Спасибо Жене за угощение, и давайте ещё раз пожелаем ему хорошего отдыха.

Все товарищи быстро разошлись, а Женя ещё несколько минут смотрел на тёмное ночное окно и думал о предстоящей поездке в дом отдыха.

На следующий день он, как и договаривались с однокашником, к часу дня приехал в Октябрьский райотдел милиции. Графов его уже ждал, и они не мешкая поехали на троллейбусе на улицу Стасовой.

Кафе-шашлычная располагалась в небольшом одноэтажном здании между несколькими девятиэтажными домами. От входной двери шёл небольшой тротуар, упиравшийся в дорогу, которая выходила на Ленинский проспект. Но Женя увидел тропинку, идущую вокруг кафе, через небольшой пролесок во дворе, выходящую прямо на проспект. Во дворе они увидели канализационный колодец, который был закрыт массивной металлической крышкой, а рядом стоял столб с большим фонарём наверху.

— Если свет от фонарного столба в тот вечер был, то угодить в канализационную яму почти невозможно, — сказал Женя.

— При одном «но», — отметил Графов, — если человек был в состоянии опьянения…

Они прошли в кафе, зашли к директору и, представившись, попросили позвать поваров, которые работали в тот вечер.

— Конечно, я помню тот случай, когда обнаружили в нашем дворе в яме молодого человека, — сказал он и пошёл на кухню.

Через несколько минут в директорский кабинет вместе с его хозяином вошли два молодых парня в белых поварских колпаках.

— Это Сергей Капризов и Иван Цаплин, — представил директор вошедших.

— Нам нужно с ними побеседовать, — сообщил Графов.

— Пройдите в кабинет бухгалтера, там сейчас никого нет, — сказал директор кафе и провёл их в свободный кабинет.

— Что вы можете сказать по поводу несчастного случая с парнем, которого нашли два месяца назад мёртвым в канализационной яме? — спросил Графов.

— Мы ничего не видели, так как работали на кухне целый вечер и в зал не выходили, — быстро ответил Капризов.

— Точно так, — подтвердил Цаплин.

— Понимаете, мужики, — тихо проговорил Кудрин, — у того парня через месяц должна была состояться свадьба. Вот и осталась одна невеста, ведь родных у него не было, так как воспитывался в детском доме.

— В детском доме? — переспросил Цаплин.

— Да.

— Я ведь тоже детдомовский, — потупил взор Цаплин.

— Вот видишь, как тесен этот мир, — сочувственно проговорил Графов. — Все-таки, может быть, вы вспомните что-нибудь про тот злополучный вечер?

Цаплин многозначительно посмотрел на Карнизова, потом перевёл взгляд на стоящий в углу комнаты сейф и замолчал, но через несколько минут он решительно посмотрел в глаза Кудрину.

— Я расскажу всё, что видел в тот вечер, как и той девушке, которая приходила где-то через пару недель после этого случая. Тогда мы действительно целый день готовили на кухне и где-то в девять часов вечера вышли через заднюю дверь во двор покурить. Там увидели парня, который шёл по тропинке через наш двор к автобусной остановке. Через некоторое время из-за угла выскочили трое завсегдатаев нашего кафе, которые постоянно пьянствовали и донимали всех вокруг. Они подбежали к нему и стали его избивать, а потом высокий парень, которого они называли «Боб», достал из кармана кастет, надел его на руку и с размаху ударил им парня по голове. Тот упал и больше не поднялся, а они открыли люк канализационного колодца и спихнули его туда.

— Было уже темно, как ты всё так подробно увидел? — спросил Кудрин.

— Так там же рядом с этим колодцем стоит электрический столб и свет фонарей очень сильный! Было даже видно, как он снял кастет с руки и бросил его в сторону пролеска. А потом, увидев нас, Боб подошёл и сказал, что если мы кому-то расскажем, то также будем лежать в этом колодце. Мы тогда очень испугались, так как понимали, что это не простые ребята и все их «художества» сходили им с рук.

— А можете сейчас показать нам, в какую сторону тот парень бросил кастет? — спросил Кудрин.

— Можем, конечно, можем, — ответил Цаплин за себя и за своего товарища.

Они оделись и все вместе вышли во двор кафе.

— Примерно туда, — сказал Цаплин и показал рукой на стоящую в пролеске ветхую постройку, — это старая голубятня, которая была построена очень давно, когда на этом месте была деревня.

Они все вместе подошли к этой хибаре, на крыше которой зияли огромные дыры, и Кудрин, открыв ветхую дверь, вошёл внутрь. Солнечные лучи прорывались сквозь дырявую крышу и освещали прогнивший пол. Вдруг что-то блеснуло, и Женя, наклонившись, увидел лежащий на доске железный кастет.

— Есть! — воскликнул он и позвал всех зайти внутрь постройки.

Подошедший Графов аккуратно поднял его и положил в свою папку, а Кудрин вышел из голубятни, присел на корточки, вынул чистый лист бумаги и стал писать протокол изъятия кастета. Когда Капризов и Цаплин подписали его в качестве понятых, они все вместе вышли из пролеска и снова вошли в кафе, где Графов документально оформил показания поваров. После этого, поблагодарив их, они вышли из кафе, закурили и несколько минут молчали, обдумывая произошедшее.

— Похоже, что нужно снова возбуждать уголовное дело по факту смерти Орлова в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, — заметил Графов.

— Ты, Юра, не теряй времени и доложи своему руководству обо всём этом, а найденный кастет передай эксперту-криминалисту, — сказал Кудрин.

— Да ты же его знаешь, это же Башмак из цикла криминалистики нашей школы милиции, — ответил Графов.

— Башмаков Олег? — удивлённо спросил Женя.

— Именно он, — ответил Юрий, — наш с тобой однокашник, который и выезжал тогда на место происшествия. Кстати, у Башмакова тоже по этому происшествию были вопросы к следствию.

— Слушай, передай ему привет от меня, — с улыбкой проговорил Кудрин, — и попроси, чтобы он сегодня же провёл криминалистическую экспертизу найденного нами кастета.

Так, за разговорами они снова вошли в здание кафе, прошли в кабинет бухгалтера. Кудрин достал из папки чистые листы бумаги и написал два рапорта о произошедшем сегодня: один на имя начальника Октябрьского райотдела, другой — на своего непосредственного руководителя. Первый рапорт он отдал Графову, а другой положил к себе в папку.

На этом они попрощались, и, так как было уже поздно, Женя поехал домой.

Шагая по улицам вечерней Москвы, он с удовольствием вдыхал холодный свежий воздух, а лёгкое пощипывание мороза на лице даже доставляло некоторое приятное ощущение. Подходя к своему дому, он заметил на входной двери приколотый кнопкой лист бумаги и в тусклом свете лампочки прочитал надпись чёрными чернилами: «Берегите мусоропровод — это дом, в котором вы живёте».

Улыбнувшись, Женя достал из кармана свою записную книжку и занёс в неё очередное народное творчество.

Шёл первый день отпуска. Кудрин днём приехал в своё отделение милиции и зашёл в кабинет.

— Ну и что тебе не отдыхается? — удивлённо поднял брови Ерихин. — Я-то думал, что ты катаешься где-нибудь в Подмосковье на лыжах.

— Дела, — коротко ответил Женя, — завершу и тогда точно встану на лыжи.

Раздался телефонный звонок, и Кудрин, сняв трубку телефона, услышал голос Графова.

— Салют, однокашник! Я так и думал, что ты, хотя и в отпуске, но придёшь на работу. Есть новости: во-первых, ещё вчера по вновь открывшимся обстоятельствам было возбуждено уголовное дело по факту смерти Орлова, а Башмак провёл криминалистическую экспертизу и установил, что отпечатки пальцев на кастете принадлежат Зотову. В картотеке он нашёл его отпечатки, когда того привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Во-вторых, следы крови на кастете идентичны группе крови Орлова; у Башмакова сохранилась копия судебно-медицинской экспертизы тела потерпевшего. В-третьих, сегодня утром прокурор дал санкцию на арест Зотова, и тот уже даёт признательные показания.

— Я так и предполагал, — Женя был доволен, — спасибо, что сказал, и передай привет Башмакову. Я думаю, что мы с тобой молодцы и непременно увидимся в самое ближайшее время. И ещё, — спохватился Кудрин, — у меня к тебе есть просьба: ты не смог бы пригласить сегодня часов на пять вечера в наше отделение милиции Нефёдову?

— Да не вопрос, конечно, всё сделаю, она сейчас наверняка у себя в общежитии, и телефон у меня сохранился, — ответил Графов и положил трубку.

В этот момент в кабинет буквально ворвался Николаев и с порога сказал:

— Жень, пойдём ко мне в кабинет, срочный разговор.

— Ну и закрутил ты историю, — Павел Иванович развёл руками, усаживаясь в своё кресло, — мне только что звонил начальник райотдела и приказал, чтобы ты написал рапорт о своём участии в раскрытии убийства на территории Октябрьского района.

— Подробный рапорт на ваше имя я уже написал, — ответил Кудрин и вынул из своей папки несколько листов бумаги, написанных мелким почерком.

Николаев внимательно прочитал и попросил:

— А теперь рассказывай.

Женя обстоятельно, всё по порядку рассказал обо всех деталях своего участия в раскрытии убийства Павла Орлова.

— Ну ты, Женя, молодец, — одобрительно произнёс Николаев, — раскрыл преступление, квалифицированное ранее как несчастный случай.

— Во-первых, я не один, а с Графовым вместе расследовал это дело, — ответил Кудрин, — а во-вторых, это ещё не всё, ведь два сообщника Зотова мертвы в результате тоже якобы несчастного случая.

— Что значит «якобы»? — удивлённо спросил начальник.

— Что касается Сурова, — ответил Женя, — я вам уже высказывал свою точку зрения и свои сомнения по факту его смерти. Но кроме Сурова и арестованного Зотова был ещё один соучастник — Фокин Андрей Иванович, который две недели назад, будучи в состоянии опьянения, утонул в своей ванной. Это дело также квалифицировали как несчастный случай. Так как никакого криминала обнаружено не было, следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мне ребята из Октябрьского райотдела достали из архива эти материалы. Одна из соседок видела мельком в тот вечер Фокина с высокой молодой девушкой. И представьте, у неё были большие глаза и вздёрнутый нос. Очень уж эта девушка похожа на ту, которую нарисовал маленький Антошка.

— Вот как! — удивлённо проговорил Николаев. — И какую причинно-следственную связь ты здесь находишь?

— Я думаю так. У Орлова и Нефёдовой в декабре должна была состояться свадьба, но парня неожиданно убивают… Нефёдова, студентка последнего курса юридического факультета МГУ, понимая, что дело «сверху» закрыли, квалифицировав как несчастный случай, сама решила расследовать его. Она самостоятельно вышла на двух поваров из того кафе, которые явились случайными свидетелями той трагедии, и разговорила их. Уж как у неё это получилось, не знаю, только вот после этого она из телефона-автомата

позвонила участковому инспектору в опорный пункт правопорядка и сообщила о беседе с поварами. Но когда участковый инспектор попросил её представиться, она быстро положила трубку. На анонимный звонок тот не среагировал, хотя и сообщил о нём Графову.

— Но поскольку дело закрыли, — продолжал Кудрин, — Нефедова решила сама наказать убийц. Как я уже говорил, она неплохо разбиралась в вопросах уголовного права и процесса и, конечно же, знала азы криминалистики. С учётом своих знаний она и стала действовать. Ей не составило большого труда самой сделать установку на лиц, принимавших участие в убийстве её жениха, узнать их адреса и образ жизни, а также где они тусуются по вечерам. В один из вечеров она, видимо, пришла в это кафе и, будучи довольно привлекательной девушкой, быстро подцепила уже подвыпившего Фокина. А потом всё как по нотам: выпили, поехали к нему домой, а дальше — смерть последнего от утопления в ванной. Когда дело было сделано, она, чётко следуя алгоритмам преступника, известного ей из лекций по криминалистике, тщательно вытерла платком все следы и ушла из квартиры.

— Ты так детально рассказываешь, как будто бы сам находился с ними, — проговорил Николаев.

— Это лишь мои рассуждения, не более, но, видимо, я недалёк от истины. Точно таким же способом через несколько недель она подцепила в этом кафе пьяного Сурова. А как она с ним поступила, я уже вам ранее говорил; одним словом — замёрз мальчик! И вот остался последний из этой троицы — Зотов. Видимо, его ждала такая же участь, но, к его счастью, она его уже не достанет: Зотов арестован и даёт признательные показания.

— И как же теперь ты свои рассуждения будешь воплощать в реальное уголовное дело, ведь на Нефёдову, как я понял из твоего рассказа, ничего нет? — спросил Павел Иванович. — Ведь тебе придётся колоть её на два убийства.

— Легко сказать — «расколоть», — вздохнул Кудрин, — против неё действительно нет ни одной улики, кроме рисунка Антошки. Она как тень летает над этими происшествиями, но схватить практически её нельзя. Я сегодня через Графова пригласил Нефёдову к пяти часам вечера для беседы.

— Понятно, — задумчиво произнёс Николаев. — Может быть, попробовать воздействовать на эмоциональную составляющую? Постарайся расположить её к себе и для начала задай пару простых вопросов, не относящихся к разбирательству — это один из способов разговорить человека, изучить мимику и жесты, чтобы потом понять, врёт ли он или нет, отвечая на вопросы по делу. А ещё попробуй выдвинуть какую-нибудь дурацкую идею, то есть полный абсурд. Например, на землю прилетел марсианин, который сначала утопил в ванной Фокина, а потом заморозил Сурова за то, что эти люди в состоянии опьянения разбили его звездолёт и пригрозили поместить в медвытрезвитель. Иногда сарказм и юмор помогают в процессе любого общения.

— Как это сложно всё уместить в одной беседе, — проговорил Женя, — я наверняка что-нибудь забуду из того, что вы сказали.

— Ну если хоть что-то используешь, будет уже хорошо, — ответил Николаев и ушёл в свой кабинет.

Ровно в пять часов вечера в дверь кабинета постучали, и на пороге появилась молодая девушка. Женя взглянул на неё и обомлел: в кабинет грациозно вошла брюнетка высокого роста и изящного телосложения. Овальное красивое лицо девушки было обрамлено тёмными прядями волос, а на голове красовалась заколка в форме бабочки жёлтого цвета.

«Да, — отметил про себя он, — такая тонкая талия, красивые руки с изящными пальцами и высокая грудь, несомненно, привлекали внимание молодых мужчин. И Антошка, ай молодец, как точно он нарисовал изящно изогнутые брови и слегка вздёрнутый нос! А знакомая заколка — это уже кое-что!»

— Проходите, пожалуйста, и присаживайтесь, — сказал Кудрин, не в силах оторвать взгляд от девушки. — Меня зовут Кудрин Евгений Сергеевич.

— Нефёдова Светлана Антоновна, — проговорила девушка и, вынув из сумочки паспорт, протянула его Кудрину. — Чем вызвано моё приглашение в отделение милиции? Я вроде бы ничего не совершала…

Женя заметил в её глазах настороженность и не спеша стал рассматривать её паспорт.

— Я хотел бы поговорить с вами о несчастье, которое произошло с Павлом Орловым два месяца тому назад, — тихо сказал Кудрин.

— А что там говорить, — так же тихо, но зло ответила Нефёдова, — был человек, и нет человека. Сказали, что это был несчастный случай.

— А где вы были тогда? — поинтересовался Кудрин.

— Я была со своей университетской группой на уборке картофеля в подшефном совхозе, — ответила девушка. — Когда через несколько дней подруги с большим трудом дозвонились до правления колхоза и сообщили мне об этом, я приехала в Москву, но Пашу уже кремировали, а дело, сославшись на несчастный случай, закрыли. Поскольку он воспитывался в детском доме и родственников у него не было, его прах передали мне, как несостоявшейся невесте, и я его захоронила на Домодедовском кладбище. Всё!

— А что вы сами думаете об этой трагедии? — спросил Кудрин.

— Я уже говорила оперативнику из Октябрьского райотдела, что это был не несчастный случай, — пытаясь скрыть волнение, ответила Нефёдова, — ведь в тот вечер в кафе на Пашу напали трое хулиганов, но ему всё же удалось выбежать оттуда на улицу…

Девушка вдруг замолчала и уставилась в окно, взгляд её устремился куда-то очень далеко, как будто больше ничего вокруг и не существовало.

— Простите, я понимаю, что вам тяжело говорить об этом, — проговорил Женя. — И всё-таки, каково ваше мнение?

— А вы не знаете, — резко ответила Нефёдова, выходя из состояния небытия, — наверняка читали материалы отказного дела. Его нашли лежащим в канализационной яме с проломленной головой. Я была на этом месте. Непонятно, как он мог так упасть! И напороться головой о выступающую трубу на дне колодца. Ведь для этого нужно было нырнуть туда головой! Кроме того, рядом с этим колодцем стоит фонарь, не могу себе представить, как при таком ярком свете можно было не заметить и оступиться…

«Интересно, — подумал Женя, — а ведь у меня возникли точно такие же сомнения, она по сути права».

— А вы об этом не говорили оперативнику Графову? — настаивал Кудрин.

— С ним нет, но сказала об этом следователю, который меня опрашивал, — ответила она, — но что толку, тот сказал, что свидетелей его падения нет, и показал мне акт судебно-медицинской экспертизы тела Павла. И давайте на этом прекратим разговор об этом деле, разве можно найти правду; уже ничего не вернёшь!

— Да нет, — возразил Кудрин, — не только можно, но и нужно докапываться до истины. Хочу вам сказать, что мы нашли двух свидетелей, которые видели, как трое молодых парней в тот вечер на улице избивали Орлова, а некий Борис Зотов нанёс ему роковой удар кастетом по голове, после чего они сбросили его безжизненное тело в канализационный колодец.

Женя заметил, что Нефёдова напряглась, но через несколько секунд это состояние улетучилось и к ней вернулось спокойствие и уверенность.

— Так вот, Зотов арестован и даёт признательные показания, — сказал Кудрин, — а по вновь открывшимся обстоятельствам возбуждено уголовное дело. Так что Зотов получит по заслугам по полной программе.

— Да у него же высокопоставленный папа в Моссовете работает, опять закроет дело, — с усмешкой сказала девушка.

— А, вы и об этом знаете, — также с улыбкой ответил Кудрин, — понимаю, пятый курс юридического факультета. Нет, не закроет, на кастете, который мы обнаружили недалеко от места происшествия, эксперт обнаружил отпечатки пальцев Зотова, а следы крови на кастете соответствуют группе крови Орлова.

— Надо же, — вздохнула Нефёдова, — я и не ожидала такого поворота, спасибо вам, Евгений Сергеевич, что довели это дело до логического завершения. А почему вы занимались этим делом, ведь преступление было совершено в другом районе города?

— Вот теперь мы подходим к следующему этапу нашей беседы, — сказал Кудрин. — Вам знакомы граждане Фокин Андрей и Суров Альберт?

— Нет, — коротко ответила она.

Женя в упор посмотрел на неё: ни один мускул не дрогнул на её прелестном лице, только взгляд изменился.

— Должен вам сказать, что эти люди вместе с Зотовым избивали в тот вечер Орлова, — монотонным голосом проговорил Кудрин. — И представьте себе, они все умерли, причём Фокин утонул в своей ванной, а Суров просто голым замёрз на балконе. Поскольку квартира Сурова находится в нашем районе, я и занимался этим делом. По обоим этим случаям были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, они были квалифицированы как несчастный случай, но я так не думаю, — сказал Кудрин и посмотрел девушке в глаза.

— А как было по-вашему? — спросила Нефёдова, и было заметно, что она напряглась.

«Ага, проняло, — подумал Женя, — надо дальше давить».

— Я думаю, что дело обстояло примерно так, — произнёс Кудрин, — одна девушка, находясь далеко от города, через подруг узнала о смерти своего жениха и через несколько дней примчалась в столицу. Первым делом она побежала в милицию, где от следователя узнала о том, что с ним произошло. Тот рассказал девушке о драке, произошедшей в кафе, и назвал фамилии лиц, участвовавших в ней. К тому времени уже было подписано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с мотивацией о несчастном случае. А поскольку у жениха не было никаких родственников, его кремировали, и девушке осталось лишь забрать его прах из крематория. Так вот, девушка, будучи неглупым человеком, скорее всего, с помощью знакомых лиц из милиции сделала на них оперативную установку и быстро сообразила, что высокопоставленные отцы этих хулиганов «закрыли» это дело, обосновав всё несчастным случаем. Тогда она решила сама расследовать это дело. Так она вышла на двух молодых поваров из того злополучного кафе и узнала от них информацию о том, что трое хулиганов избили Орлова на улице рядом с канализационным колодцем. И она из ближайшего телефона-автомата позвонила участковому инспектору в опорный пункт правопорядка и рассказала об этом. А ещё через пару дней, видимо, поняв, что никакой реакции от милиции не последовало, она решила сама наказать этих хулиганов… Итак, в один прекрасный вечер девушка отправилась в то самое кафе на улице Стасовой. Я уверен, что ей не составило большого труда «подцепить» одного из этих парней, который уже прилично выпил к этому моменту. Им оказался Андрей Фокин. Через некоторое время он предложил ей поехать к нему домой, и девушка с лёгкостью согласилась. Дома они выпили коньяк, и она, скорее всего, предложила Фокину налить ванну и искупаться вдвоём, а перед этим принесла на столик, стоящий у ванной, бутылку коньяка и два бокала. Когда ванна была налита, Фокин разделся и плюхнулся в неё, затем девушка зашла туда и резко потянула его за ноги; от неожиданности Фокин стал захлёбываться водой, но она не давала ему выбраться из воды, и он окончательно захлебнулся. Когда дело было сделано, она оделась, протёрла бутылку и бокалы, причём один из них поставила на полку, где стояли остальные. Потом протёрла ручку входной двери и вышла из квартиры. А где-то недели через две она вновь вечером пришла в кафе и увидела там пьяного Сурова, который мгновенно отреагировал на красивую девушку и также пригласил её к себе домой. Поскольку ехать надо было далеко, на Нагатинскую улицу, они поехали на такси. Скорее всего, Сурова сильно разморило в машине, и он с трудом стоял на ногах, о чём сказала видевшая их соседка. А дальше девушке пришлось импровизировать на месте. Она предложила выпить ещё и, видимо, предложила Сурову раздеться, а сама якобы пошла в ванную. Но когда она снова вошла в комнату, тот уже спал крепким сном, раздетый до трусов. Тогда девушка оделась, открыла балконную дверь, подхватила Сурова за туловище, выволокла его на балкон и положила на холодный плиточный пол. Скорее всего, тот почувствовал холод и пытался встать на ноги, но у него ничего не получилось, а девушка закрыла балкон. После этого она

аккуратно протёрла стоявшую на столе пустую бутылку из-под коньяка и два коньячных бокала, стоящие там же, но один из них поставила в сервант рядом с винными бокалами. Вряд ли хозяин мог перепутать, куда поставить коньячный бокал. Через некоторое время она снова открыла балконную дверь, убедившись, что Суров уже не дышит, накрыла его лежащей на балконе тряпкой и вошла в квартиру. А затем она протёрла ручку балконной двери и вышла из квартиры.

— И зачем вы мне всё это рассказали? — спокойно спросила Нефёдова. — Если это про меня, то у вас никаких улик нет, и быть не может.

— А вот эта заколка для волос в форме бабочки жёлтого цвета вам ничего не говорит? — спросил Кудрин, вынимая из ящика стола заколку. — Я её нашёл у дивана потерпевшего Сурова. И что я вижу — в ваших волосах точно такая же.

— Да вы что, — иронично усмехнулась Нефёдова, — таких заколок по всей Москве не перечесть, в любом универмаге можно купить. А что, там нашли отпечатки моих пальцев?

— Что вы ёрничаете... — проговорил Кудрин. — Эта заколка сделана из какого-то синтетического материала, поэтому следов на ней просто не может быть.

«Надо идти ва-банк, — подумал Кудрин, — а вдруг прокатит?»

— У меня, Светлана, возникло подозрение, что это был не несчастный случай, а инсценированное убийство, — тихо проговорил он. — Во-первых, на столе Сурова стоял лишь один коньячный бокал, что говорит о том, что он выпивал один. Однако в серванте точно такой же бокал стоял в одном ряду с четырьмя винными бокалами, а три коньячных стояли рядом. Вроде пустячок, но нет, кто-то также выпивал с потерпевшим, а потом поставил коньячный бокал не в тот ряд. Хозяин квартиры, даже пьяный, не сделал бы так. Наш эксперт подтвердил, что в этот бокал также наливали коньяк, но следов пальцев на нём никаких не было обнаружено. Всё было кем-то протёрто! Во-вторых, — продолжал Кудрин, — на паласе я обнаружил две параллельные линии по десять сантиметров каждая. Ворсинки в этих линиях были примяты по направлению к балкону и напрашивается вывод, что это могли быть следы от голых пяток потерпевшего, которого в буквальном смысле волокли на балкон.

— Послушайте, — сказала Нефёдова, — ваши сказки меня абсолютно не трогают, а версии и предположения по поводу смерти этих людей можете засунуть себе куда-нибудь!

— Ну это совсем грубо, — ответил Кудрин, — выслушивать такие слова от, казалось бы, интеллигентной девушки.

— Да тут не до интеллигентности, когда убивают любимого человека и объявляют это несчастным случаем, а потом ещё пытаются расколоть тебя на какие-то несуразные преступления!

Женя достал из своей папки рисунок Антошки и показал его Нефёдовой.

— Это нарисовал один из свидетелей, который видел в тот вечер девушку, с которой Суров входил в свою квартиру, — сказал он.

— Да по этому рисунку можно половину девушек Москвы посадить в «кутузку», — усмехнулась Нефёдова.

— Но на рисунке девушка очень похожая на вас, — ответил Кудрин и посмотрел ей прямо в глаза.

Нефёдова спокойно выдержала его взгляд, и опять ни один мускул не дрогнул на её красивом лице.

— Я ещё раз повторяю, что не знаю никакого Сурова и не была в его квартире, — парировала девушка, — пожалуйста, если это очень важно, проводите очную ставку с тем, кто нарисовал этот рисунок.

Наступила тишина, Нефёдова уставилась на потолок, а Женя не знал, о чём дальше говорить; аргументы иссякли, тупик. Он прекрасно понимал, что перед ним сидит преступница, но у него на неё ничего больше не было, ни улик, ни тем более прямых или косвенных фактов преступных деяний.

— Самое главное, что правда восторжествовала и убийца Павла будет сидеть в тюрьме, — вдруг громко проговорила Нефёдова. — А я сейчас оформляю академический отпуск и уеду к родителям в Саратов. Мне надо успокоиться и решить, что делать дальше.

— Знаешь, Света, — вдруг перешёл Кудрин на «ты», — всё правильно, у меня действительно на тебя ничего нет, ни улик, ни доказательств, но я почти уверен, что произошло всё так, как я говорил. И мотив был чёткий — месть за любимого, но наказание должно быть исключительно на основании закона, а не таким варварским способом. Может быть, к тебе придёт когда-нибудь раскаяние в своих поступках, так что давай двигай в свой Саратов и думай, как дальше жить с таким багажом.

— А мне нечего думать, я ни в чём не виновата.

— Тяжело тебе, Света, будет работать по юридической специальности с таким тяжёлым душевным грузом, но об этом не мне судить, — сказал Кудрин.

— Уверяю вас, Евгений Сергеевич, я хорошая ученица и вполне усвоила все азы юриспруденции, а как я буду работать и буду ли вообще заниматься правом, только время покажет, — ответила она.

— Не буду вас больше задерживать, — намеренно вежливо проговорил Кудрин и уткнулся в лежащий на столе блокнот.

— До свидания, — ответила Нефёдова.

Выходя из кабинета, она тихо произнесла:

— А из вас получится хороший сыщик…

«Да, — подумал Кудрин, смотря вслед уходящей девушке, — сегодня мне поставили шах и мат. Я проиграл, не было ни одной зацепки, чтобы «расколоть» её, и психологически она оказалась устойчивой. Ни один мускул не дрогнул на её лице после моих вопросов, ни одним своим движением она не выдала себя».

Он был опустошён.

Через несколько минут, уставший, он медленно пошёл на доклад к Николаеву.

Павел Иванович внимательно выслушал Кудрина, потом подошёл к окну и несколько минут молчал, теребя сигарету.

— В моей практике подобное дело было, — проговорил он, — обидно, конечно, что ты ничего не можешь предъявить преступнику, когда фактуры практически нет. С другой стороны, отрицательный результат — тоже результат, который войдет в копилку твоего опыта. А он приходит с годами, и порой оперативнику приходится быть не только хорошим сыщиком, но и психологом, чтобы справляться с такого рода задачами. Здесь как в шахматной партии — один ход конём, и нападение переходит в защиту. Преступления, которые совершила Нефёдова, сопровождались обдуманными действиями по сокрытию следов; ни одного факта, ни одного отпечатка пальцев она нам не подарила: нападала и защищалась, демонстрируя при этом филигранную технику применения основ уголовного права и криминалистики. Эта бестия с тёмными волосами словно чёрная королева не оставила тебе ни шанса и поставила мат в этой партии. Но я уверен, что битву с такими, как она, мы всё равно выиграем, поскольку преступности нет места в нашей жизни.

— Как-то всё нехорошо получилось, — подтвердил Кудрин, — преступник спокойно ушёл домой, празднуя свою победу.

— Молодой человек, — менторским тоном проговорил Николаев, — так уж бывает, что не всегда поступки поддаются логическому осмыслению, иногда голову сломаешь, прежде чем найдёшь истину. А потом, поведение мужчин и женщин с точки зрения последовательности действий некоторым образом разнится. Выстроенная тобой версия убийства Сурова должна была привести к реализации этого дела. Но отсутствие доказательной базы и нехватка опыта в общении с такими лицами сделали свое дело.

— Кстати, — усмехнулся Николаев, — ты знаешь, чем отличается мужская логика от женской?

— Нет, — ответил поникший Кудрин.

— Мужская логика, — проговорил Павел Иванович, — это когда мужик рассуждает: «Ну ничего, что в ушанке, телогрейке и валенках, зато тепло». А женщина размышляет так: «Подумаешь мозги и жопу отморозила, зато красивая!»

— Точно так, — усмехнулся Женя.

— В сухом остатке на сегодня, — продолжал уже серьёзно Николаев, — раскрытие убийства Орлова, а это несомненная удача, и не у каждого такое случается. А что касается Сурова, то пока его смерть, как и Фокина, пусть остаётся несчастным случаем. Может быть, когда-нибудь Нефёдова поймёт, что поступила не по-людски и найдёт в себе силы признаться в совершении преступлений. А в целом ты, Женя, молодец, — сказал в завершение Николаев, — и я верю, что из тебя со временем получится отличный сыщик.

Кудрин вышел из кабинета начальника в приподнятом настроении: такая оценка его работы из уст самого Николаева многое для него значила.

— Ну а теперь в отпуск… — сказал Женя сам себе и вышел из отделения милиции, вбирая в лёгкие чистый морозный воздух.



Валерий Анишкин

Валерий Георгиевич Анишкин родился в 1938 году. Окончил Орловский государственный педагогический институт. Автор 17 книг. Лауреат премии имени И. А. Бунина, дипломант всероссийских и международных конкурсов. Член Союза российских писателей. Живёт в Орле.

ХУДОЖНИК МИТЯ

Художника звали Митей. Это был человек небольшого роста, оптимист, балагур и жизнелюб. Роста своего он не стеснялся, по этому поводу не переживал и не комплексовал. «Главное — не рост, — серьёзно говорил Митя. — Главное — размер». «Бессовестный!» — улыбались девушки. «Я имею в виду большое сердце», — смеялся Митя. Он располагал к себе лёгким, доброжелательным характером, и девушки его любили.

Дверь в конференц-зал оказалась изнутри закрытой, я подёргал ручку и хотел уйти, но из-за двери осторожный голос спросил: «Кто там?», я ответил, и дверь открылась.

— Один? — спросил я. — А где Анюта?

— Будет завтра. Нужна?

— Да нет. Просто я привык, что вы вдвоём…

— Ну да, закрылись и занимаемся чёрте чем, — засмеялся Митя.

Художница, Анна, фактурой являлась полной противоположностью Мите, который считался её начальником: высокая, статная красавица, румяная словно матрёшка, с густыми русыми волосами, уложенными в толстую короткую косу. Про таких говорят: «кровь с молоком», а ещё, что они «коня на скаку остановят». При всей своей привлекательности Анна отличалась ещё и добрым, покладистым характером, имела весёлый нрав и живо реагировала на хорошую шутку.

— А чего закрылся? — Я оглядел чуть затемнённый сдвинутыми шторами зал.

— Портрет Брежнева парторг заказал. Формат большой. Я его через диапроектор на холст спроецировал, теперь обвожу. А дверь закрыл от греха: какой-нибудь придурок растрезвонит, что Митька — художник хреновый: не может портрета нарисовать, поэтому и переводит. Не все ведь понимают, что у нас тоже есть свои технические секреты.

Митька вдруг добродушно рассмеялся. Я вопросительно посмотрел на него.

— Насчёт «закрылись и вдвоём». Вспомнил, как мы с Анькой в Москву в командировку ездили. Сейчас расскажу.

Он выключил проектор и приоткрыл шторы. На загрунтованном холсте, прикреплённом к стенке за сценой медицинским пластырем, обозначился контур вождя.

— С ней ездить одно удовольствие. Хохотала всю дорогу. Хохочет, аж слёзы из глаз, «Ой, говорит, не могу. Сил, говорит, моих смеяться больше нет». А потом просит: «Мить, расскажи ещё что-нибудь смешное». Ну ладно. В один день не уложились, потому как приехали днём. А где ночевать? У неё в Москве никого нет, в гостиницу не устроишься. А у меня тётка в Мытищах живёт, Дарья. Меня знает, но видимся редко. Купил я бутылочку вина, коробочку конфет. Поехали.

— Мытищи, это с Ярославского вокзала? — уточнил я.

— Ну да… в ту сторону. В общем, тётка рада, разохалась, про мать, то есть свою сестру, спрашивает и всё на Аньку смотрит, мол, кто такая со мной заявилась. «А это моя жена», — говорю. Анька сначала чуть слюной не подавилась, а потом, чувствую, сейчас расхохочется и кулак ей за спиной показываю. «Хороша, — говорит тётка Дарья. — И где только такую отхватил!» И обижается: «А на свадьбу-то не позвал». «Да у нас, — говорю, — и свадьбы особой не было. Расписались, да чуть с друзьями выпили — вот и вся свадьба». Анька сидит и похохатывает. «Весёлая тебе жена попалась, — говорит тётка Дарья. — С такой и жить в радость. Ну ладно, пришло время спать ложиться. Тётка стелет нам кровать в отдельной комнате. Кровать узкая, полутораспальная, но с периной. Анька молчит, но, вижу, нервничает. Тётка говорит приветливо так и как-то игриво: «Ну, молодые, спокойной ночи!» и уходит, притворив за собой дверь.

— Да-а, конфузия, — засмеялся я. — И как же вы?

— Во-во, Анька и говорит: «Мить, а как же спать? Кровать-то одна». А я говорю: «Да вместе спать и будем. Ты ж мне жена». «Ага, — говорит, — разбежалась. Вместе с тобой я спать не буду». Я говорю: «Ань, рассуди. Не могу же я теперь сказать тётке, что ты мне не жена?» А сам смеюсь. «Да ты, — говорю, — не бойся, я на твою честь посягать не буду, так что мы с тобой будем спать не вместе, а рядом». Анька покочевряжилась немного и говорит: «Ладно, только я буду спать в одежде». А какая там одежда? Лето же. Платьице на голое тело и даже колготок нет. Тем не менее, когда она ложилась, заставила меня отвернуться. Я разделся до трусов и майки, потому что в брюках на чистое ложиться как-то неловко.

— И что? — я себя поймал на том, что уподобляюсь мужикам, которые, когда собираются вместе, начинают смаковать интимные подробности о женщинах, с которыми провели ночь.

— Да ничего. А ты хотел, чтобы что-то было?

— Да ничего я не хотел, — смутился я. — Но у всякой истории должен же быть конец.

Я улыбнулся.

— А конец такой. Утром встали свеженькими и выспавшимися, тётка напоила чаем, и мы пошли на электричку.

Митя посмотрел на меня, подмигнул и добавил:

— Ну, конечно, попробовал я Аньку приобнять да прижаться под предлогом, что кровать тесновата, но она меня локтём успокоила… А девка хороша. Я б и женился, да, знаю, не пойдёт.

Кончался перерыв, и я поспешил в отдел.

— Заходи, расскажу, как мы в поезде соседей по купе разыграли, — бросил мне вдогонку Митя

На следующий день, когда я зашёл к Мите, он раскрашивал портрет, и лицо вождя приобретало всё большее сходство с теми портретами, к которым мы успели привыкнуть.

— Что, твоей Анюты опять нет? — спросил я.

— А пусть погуляет, пока особо делать нечего. Я её отправил вроде как для обмена опытом в НИИЛегмаш. Там пацаны с нашего худграфа работают.

— Понятно. Ну тогда давай рассказывай, — сказал я.

— Про что?

— Про командировку. Ты вчера обещал рассказать, как вы с Анькой в поезде пассажиров разыграли.

— А-а, — Митя засмеялся. — Слушай… Закончили мы свои дела, полазили по магазинам и с сумками погрузились в поезд. Поезд наш, фирменный, который приходит в Орёл утром. А по дороге я говорю Аньке: «Пока не приехали, ты всё ещё моя жена. Войдём в купе, пусть народ завидует мне». Анька хохочет. «Ладно, — говорит. — Пусть буду жена». Взвалил я на неё все наши сумки и кульки, и она, нагруженная, в двух руках тащит всё это за мной в купе. Я вхожу гоголем, грудь колесом. Я-то, сам понимаешь, ростом не вышел, а Анька здоровая, на голову меня выше. Вошли: я вперёд, она с сумками за мной. Я говорю строго: «Сумки клади наверх, да смотри осторожно». И к пассажирам: «А то, безрукая, прошлый раз вазочку стеклянную расколотила». Анька покорно в ответ: «Хорошо, Митенька. Ты только не волнуйся, тебе волноваться нельзя». Соседи по купе, немолодые уже женщина и мужчина, когда мы вошли, о чём-то разговаривали, а тут, словно дар речи потеряли, молча переглянулись и женщина головой покачала, вроде: «Ну и ну!» А я дальше продолжаю комедию ломать. «Анька, — говорю опять строго, — сходи, чаю принеси. Да смотри, чтоб горячий был, да с заваркой хорошей». И опять к соседям: «А то прошлый раз чуть тёплый подала, да еле заваренный». А Анька опять: «Сейчас, сейчас, Митенька, потерпи, милый!» И — из купе как ветром сдуло. Женщина опять головой покачала и говорит мне: «Это чем же, не пойму, ты её, такую красавицу, взял, что она на тебя молится?» «Значит, есть за что, — говорю важно. — Иной мал, да удал, а другой велик, да дик». А она мне: «Да, видать, правда в пословице говорится: «Велик осёл, да воду возит, мал сокол, да на руках носят». И на мужика своего зырк-зырк глазами.

Митя замолчал.

— И что, признались, что это только шутка? — спросил я, сочувствуя женщине и её спутнику, очевидно, мужу.

— А зачем? Я даже когда ложился на вторую полку, обыграл это так, что, вроде, не могу спать низко, а то бы жену туда загнал…

— Пусть люди знают, что дело не в росте, а в голове, — заключил Митя. — Что толку от того, что у тебя длинные ноги, если с тобой и поговорить не о чем.

— Это точно, — согласился я…

Я где-то читал, что низкий рост заставляет людей прилагать больше усилий и работать усерднее, благодаря чему многие из них добиваются более значительного успеха, чем высокие. В общем, этим людям приходится полагаться только на свою активность и предприимчивость. А ещё считается, что люди маленького роста со временем приобретают большее чувство юмора.

Митя как раз и являлся примером этого вывода.



Анастасия Михайловна Агошкова родилась в 1991 году. Живёт и работает в Орле. Член Союза российских писателей. Дипломант литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг», лауреат фестиваля авторской песни Орловской области, дипломант конкурса «Отечества священная палитра». Гран-при конкурса «Зимний Мини Поэт Фест» (г. Орёл). Куратор Всероссийского просветительского проекта «Вернись на родину, душа!», посвящённого 150-летию И. А. Бунина (2020)

...ЕЩЁ НЕ ВЫПАЛИ СНЕГА

* * *

Как долог век, отмеренный не нам,
Отмеренный не тем, не там, не с теми.
Идут дожди. Идёт, ничтожно мал,
Но ощутим, какой-то сбой в системе.
Строкой ложатся мысли. Их зажать
В горсти не представляется возможным.
Вот так живи: старайся не солгать
Там, где не лгать невероятно сложно.
Вот так живи: смотри по сторонам,
Как в зеркала, поставленные рядом,
Но друг напротив друга. Что же там
Увидеть можно, и каков порядок
Того, что я потом приберегу
Тебе, как козырные в рукавах…
И мы не помещаемся в строку,
И мы не помещаемся в словах.
И мы не объясняемся ничем,
Не называемся добром и злом.
И век, отмеренный не с теми и не тем,
Нас укрывает бережно крылом.

* * *

Орфей, я в аду. Я, натурально, в аду.
Здесь черти поют осанну, имей в виду,
Не тем, кто стоит с тобою в одном ряду,
А тем, кто во тьме кромешной беспечно весел.
Здесь солнечный свет не в цене, как, впрочем, и я.
Конечно, любимый, я конченая змея,
Пригретая на груди совершенно зря
И не заслужившая петь ни одной из песен.
Но здесь я пою так звонко и горячо,
И кто-то незримый стоит за моим плечом,
Стоит и — о, боги! — не спрашивает ни о чём.
Нет, я не сдалась (хотя было просто — сдаться).
И реки текут под землёй, и цветут цветы,
И люди не жгут, а строят свои мосты,
Меняется всё: и пространство, и время, а ты,
Орфей, не иди за мной. Я не хочу возвращаться.

* * *

Выходит из бара, запахивает пальто,
Бросает монетку случайному музыканту
И думает: «Всё не то, всё опять не то.
А небо похоже на чёрное решето
Со звёздами вместо дырочек — вот что странно.
Куда же меня занесло, и в какую жизнь,
И как мне её измерить, каким сосудом?»
Друзья говорят ей: «Держись там, давай, держись.
С чем можешь, сражайся, а с остальным мирись».
Она отвечает: «Буду. Конечно, буду…
Конечно, буду». До дома кварталов пять,
И осень её встречает всегда на третьем.
Приходит в себя. Начинает опять отмечать,
Как дети бросаются листьями и кричат,
Как лают собаки на заплутавший ветер,
Как всё, что вмещается в память, несёт покой,
А всё, что вмещается в душу, поможет выжить.
И небо, конечно, похоже на решето,
Но звёзды становятся ближе. Гораздо ближе.

* * *

И всё закончится к зиме:
сонливость, сдержанность, усталость.
Покажется, как будто мне
случайно это всё досталось.
Дорог разбитых колея
и стук вечернего трамвая
разделят сущность бытия,
на «быт» и «я» её меняя.
И будут пятиться дома,
пытаясь дряхлость скрыть и старость.
Зима… Ну что с того, зима,
но нам тепла ещё досталось:
ещё не выпали снега,
и нет рекламы новогодней,
и мы не выпали пока
друг другу в линиях ладоней,
не заступили за черту,
не оступились в зимней стуже
(я это всё себе зачту,
когда увижу льдинки в лужах).
И ночь становится длинней,
чернилами на город льётся…
И всё закончится к зиме.
А может, вовсе не начнётся.

* * *

Не смотри на меня и останешься невредим.
Мы потом это всё запомним и раздадим,
Раскидаемся по плацкартам и городам,
По чужим квартирам и по своим друзьям.
Не смотри и не слушай, что я тебе говорю.
Это всё, конечно, закончится к декабрю
(Заискрит новогодним фейерверком и догорит).
Дуракам везёт, их, видно, Господь хранит.
Не смотри на меня. Не придётся потом забывать,
Как нас время пыталось отчаянно целовать,
Убаюкивать на ночь и укрывать тоской —
Я за это плачу ну разве вот что строкой.
Я ничтожно мало, по сути своей, плачу.
Не смотри на меня, мне больше не по плечу
Каждый шрам такой в своей памяти рубцевать.
Ты останешься невредим, да и я — цела.

Дмитрий Порушкевич



Дмитрий Павлович Порушкевич родился в 1938 году в г. Мурманске. С июня 1945 года живёт в Орле. Окончил машиностроительный техникум, отслужил срочную на Черноморском флоте, поработал конструктором, заочно окончил Воронежский университет по специальности «журналист», работал в орловской молодёжной газете, на орловском телевидении, радио, а последние пятнадцать лет своего сорокалетнего журналистского стажа был главным редактором «Орловского вестника».
Член Союза российских писателей.

...НЕ СДЕРЖИВАЙ ПОРЫВ

* * *

Вечерних окон маета.
Сойдутся тени, разминутся…
Сойдутся на одну минуту,
а разойдутся на века.

* * *

Не останавливай слова,
когда придут без спросу,
и примется перо сновать
уверенно и просто.
Увещеваньям вопреки,
оглядкой и опаской
не сдерживай порыв строки,
не ретушируй краски.
Своей души не дай подмять
подобострастью теме.
А кто тебя не смел понять
и кто решил тебе пенять —
раскланяйся со всеми.
Авось рассудит время.

* * *

Смотрю в окно.
Снег солнечно слепит,
клюёт горбушку голубь ожирелый,
деревья неподвижно тяжелеют,
и почтальон устало в дверь стучит,
сосед идёт хозяйственно в сарай,
а тени опрокинуто синеют,
и тоньше и тревожнее свирели
сосульки напряжённая игра.
И хочется понять мне этот миг,
его несуетливость и повторность,
в которых скуповато, но просторно
свой абрис прорисовывает мир.
А мысли торопливые бегут,
обрывками воспоминаний бьются.
И, накалившись, пламенеет вьюшка,
угрюмость кухни возводя в уют.
Что позабылось, истопталось в пыль?
Что, успокоясь, в памяти завязло?..
О, вдохновенный начинаний пыл,
сумбурность обобщений и заявок!

Утеряна мальчишества лыжня,
блистанье споров заменили склоки.
А нас зовут уже иные сроки,
иная нам уверенность нужна.
Я знаю, приближается черта,
когда мы идолов своих низложим,
когда премудрость обернётся ложью,
а ложь мудра предстанет и чиста.
Я в печь бросаю свежие дрова.
Иду к столу.
В боязни и отваге
я прикасаюсь к трепетной бумаге
и чувствую высокие права.

* * *

Аллея лип стоит нагая.
Поклон вам, павшие листы.
Неторопливо под ногами
покров увядший шелестит.
Хоть ярко каждый лист окрашен,
всё гуще траурная рябь.
Пересмотрел надежды ваши
охладевающий октябрь.

* * *

Красный… бурый…
Краски бури?
Просто лист, отшелестев,
ветром сорванный сумбурным,
гибло на землю слетел.
Куст калины — воспалённый,
как продрогнувший закат.
И сгребает кроны с клёнов
запоздалый листопад.
Городской забредший житель,
выпавший из суеты,
что здесь растерял, скажи ты
и обрёл что всуе ты?
И сидит в груди тревога,
и саднит тоска виски,
и колдобины-дороги
скользки, вязки и узки.
А в пустых полях кочуют
зябнущие сквозняки,
да белеют, зиму чуя,
вдалеке березняки.

Геннадий Майоров



Геннадий Николаевич Майоров родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил заочный университет искусств имени Н. К. Крупской. Журналист, писатель, психолог. Служил в армии, в Забайкалье. Работал в молодёжной газете, на радио и телевидении.
Автор 17 книг, публиковался в журнале «Молодая гвардия», альманахе «Подвиг» и других изданиях. Лауреат премий имени И. С. Тургенева, Орловского комсомола, журнала «Молодая гвардия». Председатель Орловского отделения Союза российских писателей. Живёт и работает в г. Орле.

СТУДЕНТКА

Арина в детстве удостоилась загадочного прозвища — «Арина Родионовна». Девчушка долгое время не могла понять, почему сосед по коммунальной квартире, считающий себя интеллигентом в третьем поколении, но появляющийся на общей кухне в драном трико, небритый и с вечно сальными волосами, называет её именно так. Родители мило улыбались и говорили что-то про гениального поэта Александра Пушкина. Только чуть повзрослев, Арина нашла в библиотеке книжку, где рассказывалось о замечательной няне русского литератора Арине Родионовне и о том, что именно её сказки и сказания вдохновили маленького Сашу на сочинительство.

Но при чём тут она, Арина, удивлялась девочка, не писавшая ни стихов, ни рассказов, да и вообще равнодушная к сказкам и мультфильмам. Впрочем, она довольно скоро перестала обращать внимание на непонятное обращение к себе уже не только в квартире, но и во дворе. Удивительное дело, но, когда родители решили покинуть захудалый городишко, где после армии Олег Вершинин познакомился с будущей женой, оставшись в нём на долгие два десятка лет, и вернуться на историческую родину отца — в довольно приличный посёлок городского типа, ставший к тому же районным центром, прозвище никуда не делось. Его быстро подхватили местные ребятишки, а затем и взрослые, почтительно обращаясь к умной и благовоспитанной девушке, которая, несмотря на некоторую замкнутость, излучала свет и дружелюбие.

Арине нравилось жить в райцентре, недалеко от областной столицы, в просторном деревянном доме, где в одной половине располагалась она вместе

с отцом и матерью, а в другой — семья старшей сестры Тамары с двумя очаровательными малышами. Мужа у сестры не было, точнее, она его выгнала за пьянство и никчёмность в бытоустройстве. Именно Тамара, работавшая поваром в райповском кафе, и надоумила младшую сестру, которая была моложе на десять лет, связать свою жизнь с общественным питанием, резонно утверждая: при любых раскладах с голоду не умрёшь.

Арину, как нечаянного последыша, все любили за её доброту и отзывчивость. Девчонка никому не отказывала даже в пустяшной просьбе и без лишних слов бралась за любую работу. Её помощь, особенно в последние годы, оказалась как нельзя кстати, потому как родители стремительно теряли здоровье. Отец, получив инвалидность на обувной фабрике, ушёл на пенсию с нищенским пособием, а мать, трудившаяся на хлебозаводе, и вовсе оказалась без работы, когда началась пресловутая горбачёвская «перестройка» и хлеб — который всему голова! — в райцентре оказался никому не нужен. Позже спохватились, но за несколько простойных лет заводик буквально растащили по кирпичику, и чиновники-демократы посчитали, что восстанавливать его — себе дороже, а хлеб выгодней возить из соседнего района. Правда, есть тот хлеб можно было только с большой голодухи. И многие хозяйки, вспоминая бабушкины рецепты, готовили закваску, месили тесто и — кто в духовке, а кто и в сохранившейся русской печке — по выходным выколдовывали ароматнейшие караваи.

Арина первой в семье научилась готовить ржаную закваску, из которой затем выпекала потрясающий хлеб. Тамара лишний раз подчёркивала: да у тебя талант к кулинарии, надо учиться, чтобы не как я всю жизнь у плиты стоять, а руководить общественным питанием. А что? В нашем кафе ни у кого нет высшего образования, будешь первой претенденткой на должность заведующей…

На вступительных экзаменах в торговый институт, куда подала документы по настоятельному требованию матери и Тамары, Арина оторопела, даже не сразу поняв, что обращаются именно к ней.

— Арина Олеговна, вы готовы отвечать по билету?

Она продолжала писать тезисы ответа на листе бумаги, когда соседка слева толкнула девушку в бок:

— Тебя спрашивают…

Арина очнулась, впервые услышав своё настоящее отчество, и закивала головой:

— Да, я готова.

Потом они долго смеялись с соседкой, представившейся Маргаритой, когда Арина рассказала ей историю про «Арину Родионовну». Обе поступили на первый курс по специализации «технолог общественного питания» и вроде бы подружились. Хотя подспудно Арина понимала, что они совершенно разные. Маргарита выглядела чересчур уверенной, даже наглой, что ей прощалось из-за броской, притягивающей внешности: длинные соломенные волосы, огромные ресницы, большие волнующие губы, томный взгляд… Она любила быть в центре внимания и, в отличие от несколько застенчивой

и настороженной Арины, постоянно провоцировала парней, заставляя их виться вокруг себя хороводом. Но близко не подпускала, за что получила прозвище Динамит. Похоже, ей нравилось раззадоривать ухажёров и потом резко исчезать. Попытки втянуть Арину в свою игру успехом не увенчались, однако в иной обстановке подруги продолжали общаться, тем более что Маргарите как воздух нужна была поддержка при подготовке рефератов и домашних заданий. Даже слепому было видно, что Динамит не слишком-то утруждает себя учёбой, считая, что и так сойдёт, а на практике существуют другие законы, где она и применит все свои чары и железный характер.

Пока Маргарита кружила головы не слишком-то опытным однокурсникам, Арина увлеклась философией, точнее преподавателем, который так ярко и образно просвещал будущих кулинаров. Сергей Иванович выглядел щупленьким, небольшого росточка парнем лет двадцати пяти. Он признался, что готовится защищать кандидатскую диссертацию и всё свободное время посвящает именно этой задаче, поэтому порой не успевает сменить сорочку или забывает об ужине. Но это неважно, быт когда-нибудь устроится, а вот запал растерять никак нельзя, иначе позднее уже не будет ни сил, ни желания заниматься наукой. А стать кандидатом в 27 лет (ему всё-таки 27, а не 25 — запомнила Арина) не каждому дано.

Студенты, считая философию непрофильным предметом, зачастую сбегали с лекций. И немудрено, что Сергей Иванович заприметил старательную студентку, слушавшую его с большим пиететом. Философствуя, он всё чаще смотрел именно на Арину и, распаляясь, обращал жесты только к ней. Казалось, останься она одна в аудитории, преподаватель не заметит отсутствия других слушателей.

Маргарита уловила этот интерес, когда ей потребовалось сдать зачёт. Нисколько не смущаясь, Динамит требовательно попросила подругу:

— Подсунь-ка мою зачётку своему ухажёру, зазря он, что ли, глазки на тебя пялит…

Арина зарделась от такого бесстыдства, хотела было ответить резко, но Маргарита властно, но мягко добавила:

— Да ты не тушуйся, Родионовна, здесь нет ничего криминального. Ему поставить автограф — раз плюнуть, ну а мне-то зачем время тратить на то, что в жизни не пригодится. Ну что, договорились? А у меня для тебя есть за это сюрприз…

Арина даже обидеться не успела. Маргарита тайфуном закружила, заболтала и, сунув свою зачётку в руку растерявшейся подруге, умчалась из института, пообещав вечером позвонить.

Сергей Иванович не удивился, окинув взглядом пустую аудиторию, посокрушался:

— Конечно, кто досидит до последней пары… Знаю, как это тяжело, особенно перед экзаменами.

Он вплотную подошёл к студентке и широко одобрительно улыбнулся.

— Ладно, Арина, не буду и вас задерживать. Давайте вашу зачётку, вы её, смотрю, приготовили. И правильно! Заслужили…

Арина не успела глазом моргнуть, как преподаватель тут же развернул синюю книжицу, нашёл нужную страницу и быстро расписался, подмигнув:

— Всё по-честному, получайте.

Заметив недоумение на лице Арины, Сергей Иванович спросил:

— Что-то не так?

— Дело в том… я должна… — слова вязли на языке, не хватало духа прояснить ситуацию.

Наконец, откашлявшись, Арина опустила глаза и протянула преподавателю вторую зачётку:

— Вот моя, а то была подруги — Маргариты…

Аудиторию пронзил звонкий и чистый смех. Нисколько не смущаясь своего положения, молодой учёный просто покатывался со смеху. Улучив паузу и сделав глубокий вдох, Сергей Иванович произнёс:

— Вот так компот! Ну вы уж меня извините за невнимательность. Давайте и вашу зачётку.

Он раскрыл книжицу на первой странице, где была фотография Арины, и начал долго и внимательно её рассматривать. Потом перевёл взгляд на студентку. Это уже был взгляд не преподавателя, а неравнодушного юноши, из глаз которого Купидон целил своими стрелами в сердце девушки напротив.

Они сидели неподвижно несколько минут, в тишине аудитории было слышно жужжание отогревшейся в тепле мухи да изредка ветки деревьев под порывами ветра царапали оконные стёкла.

Пасмурная осень затягивала небосвод тяжёлыми, жирными тучами, занавешивая окна снаружи сизовато-чёрными вечерними шторами. Не было сил и желания подняться, включить свет. Силуэты начали растворяться в стремительно наступавшей темноте. И только резкий и пронзительный звонок, зовущий на перемену, мгновенно разрушил хрупкую идиллию, встряхнул иллюзорные мечты. Арина подскочила первой:

— Мне пора!

Она выбежала как ужаленная, всё тело до кончиков волос пылало от неизведанного ранее сладостно-тревожного чувства, просочившегося в её сердце только что в полутёмной аудитории. Что это было? Ей почему-то стало стыдно, будто за ними наблюдали из темноты десятки скабрёзных взглядов и завтра по институту поползут грязные слухи. Но затем, немного остыв, Арина стала успокаивать себя: ничего ведь не было непристойного, Сергей Иванович даже намёка не дал… И всё же почему подпрыгивает сердце, черствеет в пересохшем горле? Неужели влюбилась? А ещё эта бесстыжая подруга Маргарита… Как-то она завтра отреагирует на свою зачётку? Свою-то я так и не забрала у преподавателя.

От хаоса мыслей Арину освободил жизнерадостный телефонный звонок. Маргарита в восторженных тонах сообщала, что познакомилась с ребятами из заезжего цирка и они приглашают её с подругой на представление. Начав было отнекиваться, Арина вскоре устала сопротивляться напору Динамита. И согласилась на культпоход, резонно заметив, что надо развеяться, дать передышку бесполезным переживаниям и самоедству.

Вечер прошёл необычно. Двое молодых циркачей — акробат и укротитель — поставили небольшой столик прямо на арене. Открыли бутылку шампанского, но сами только пригубили, сославшись на завтрашнее трудное представление и необходимость сохранить себя в форме. Арина последовала их примеру без объяснений. А вот Маргарита, не смущаясь, махом осушила свой бокал и громко захрустела шоколадом. Циркачи оригинально развлекали своих спутниц: один начал жонглировать мячиками, другой изображал смешную пантомиму…

Словом, отдохнули непринуждённо, но безотрадно, наслушавшись разных историй из жизни кочевых артистов, которые под конец начали раздражать своей монотонностью. Ближе к полуночи Арина подхватилась, придумав на ходу: надо ещё успеть подготовиться к завтрашней лекции, — и один из парней вызвался её проводить.

— Нет, вы лучше вызовите мне такси, — потребовала студентка и стала пробираться к выходу. Маргарита обиженно причмокивала губками, она-то спешить никуда не собиралась.

Но на первую лекцию утром Арина не попала. В общежитии её ждала телеграмма от матери: «С Тамарой беда. Срочно приезжай». Не раздумывая Арина быстро собрала сумку и помчалась на автовокзал.

Всю дорогу мучилась вопросом: что же случилось? Телефона-то дома нет, а сотовыми родители так и не научились пользоваться, отмахиваясь: поздно нам осваивать чудо-технику, да и вредная она, говорят, облучает…

Издали Арина заметила, что возле их дома толкутся соседки. Сердце забилось учащённо, предчувствуя самое страшное. Мать сидела на лавочке, словно окаменелая, постаревшая лет на десять. У неё и до того ноги плохо слушались, а тут и вовсе отказали.

— Мама, — бросилась к ней Арина, — что такое?..

— Инсульт у Тамарочки, — опередили ответом соседки, сокрушённо покачивая головами. — Теперь на тебя вся надежда…

Слёзы сосульками прорастали на ресницах. От траурных лиц сочувствующих становилось жутко. Арина только и смогла выдохнуть:

— Жива хоть?

— Жива-то жива, — подняла глаза мать, — только парализована. Господи, что же с детками станет…

Уже в доме Арина поняла, что ей предстоит круто изменить свою жизнь. За мальчишками пригляд нужен, тут родители не помощники. Опять же деньги потребуются на лекарства, уход за сестрой. И ведь хозяйство — кур, свиней — не бросишь.

Отец с матерью ничего не советовали, да и что они могли предложить, стареющие и больные. Арина должна была сама принимать решение. Она взяла себя в руки, начав энергично прибираться в доме. Всегда, когда ей было плохо, Арина бралась за хлопотное дело, так легче отвлечься, не раскисать. Перемыв всю посуду и приготовив ужин, она позвала мальчишек: четырёхлетнего Павла и Витюшу-двухлетка, которые совсем не понимали, что происходит вокруг и почему все ходят с заплаканными глазами. За столом

они начали баловаться, донимая друг друга, наполняя комнату беспредельным визгом. И вдруг Арина — всегда спокойная и уравновешенная — неожиданно для себя резко выкрикнула:

— А ну — тихо!

Малыши моментально осеклись, удивлённо уставившись на злую тётку; прежде она всегда их ласкала и привечала подарками, а тут словно с цепи сорвалась. Арина, подавив приступ гнева, попыталась улыбнуться:

— Мама в больнице, так что теперь я за неё. А меня надо слушаться, понятно?

Мальчишки дружно ответили «да» и принялись нехотя уплетать кашу с колбасой, изредка исподлобья бросая встревоженные взгляды на неприветливую родственницу.

— Как же теперь, дочка? — сбоку неуклюже подковылял отец, косолапо обнял Арину, шершавой скрюченной ладонью провёл по спине.

— На заочный переведусь, — уже всё решила студентка. — Пойду работать в кафе.

— Ну и добре, — тихо произнёс отец, — тебе видней. Мы с матерью какие теперь сподручники…

Вот так нежданно-негаданно завихрилась судьбинушка Арины. Неделю спустя она отправила заказным письмом заявление в институт с просьбой перевести её на заочное отделение в связи с семейными обстоятельствами. Всё собиралась сама съездить в город, но как-то недосуг: забот по горло, и нет им конца, то одно надо сделать, то другое. Уже и мать подойдёт, пожалеет: «Да брось ты, отдохни, вижу, как умаялась», но упёртая Арина продолжала тянуть добровольную семейную лямку. Пришёптывая: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Как-то ночью проснулась в холодном поту, какой-то потусторонний голос увещевал: «Зачем тебе всё это нужно, ты же молодая, жизни ещё не видела, а уже в старухи записалась…» Вспомнились институтские хлопоты, по сравнению с нынешними — плюнь да разотри. Весело, легко, познавательно! Интересно, как там Маргарита? Замуж ещё не выскочила? Это у неё идея фикс. Господи, я же ей зачётку через девчонок передала, а моя осталась у Сергея Ивановича. Придётся самой ехать в институт, а то в деканате возникнет неразбериха.

Воспоминания об их последней встрече в полутёмной аудитории воспламенили румянец на щеках. Арина ощутила пылкое томление в груди. Она впервые в жизни прикоснулась к сокровенному и запретному — неведомому доселе чувству. Может, это и есть любовь? Как жаль, что всё так внезапно оборвалось, толком не начавшись. Сергей Иванович защитит свою кандидатскую диссертацию (у него голова только этим забита) и скоро забудет свою прилежную студентку. А что же у меня впереди? Хорошо, закончу институт заочно, а дальше… Даст Бог, сестра поправится, детишек на ноги поставим, за родителями присмотрим. А дальше? Работать заведующей в нашем кафе-забегаловке да подворовывать потихоньку, как все там, оправдываясь, что детей кормить нечем? И так изо дня в день, до пенсии?

Арина содрогнулась от одной мысли, что беспросветная перспектива прожить среди алкашей, пропивающих последние деньги; видеть, как их жёны обречённо стонут под дверью, убьёт в ней самые светлые чувства и мечты. Но и уехать она не может. Не сможет бросить, оставить без помощи родителей и сестру с её мальчишками.

Арина уткнулась лицом в подушку и затряслась в припадке беспомощности и обиды.

Проснулась с больной головой. Мать уже елозила во дворе, подкармливая живность. Отец кряхтел за перегородкой, не в силах справиться с очередным приступом ревматизма. Скоро и мальчишки начнут отряхиваться ото сна, запросятся в туалет. Потом их надо покормить и чем-то занять. Один-единственный детский садик в посёлке переполнен, а потому Павлик и Витюша обречены целыми днями маяться среди взрослых и бедокурить от безделья. А главное — они не развиваются, не постигают мир, как сверстники. Надо что-то делать, а то будет поздно…

И Арина решительно пошла в районную администрацию, где, на удивление, её встретили любезно, с пониманием выслушали семейную драму, но попросили собрать кучу справок и написать заявление. На это ушла последующая неделя. В один из визитов в коридоре собеса Арина наткнулась на бывшую одноклассницу Ольгу, которая, как оказалось, работает секретарём у замглавы администрации. Оля обрадовалась случайной встрече, посочувствовала, узнав о проблеме, посокрушалась и решительно заявила:

— Я попрошу Ивана Николаевича тебе помочь…

Как негаданный подарок, на Рождество, пришло сообщение, что мальчишек устроят в детский сад. «Ничего, в тесноте — не в обиде», — резюмировал Иван Николаевич, отец многолюдного семейства. Арина не удержалась, всплакнула, а мать и вовсе разрыдалась, приговаривая: «Есть же ещё порядочные люди…»

Отец пошёл в сарай, пошурудил там, вызвав громкий переполох среди живности, и вскорости вышел, держа в руке тушки двух обезглавленных курочек, окутанные морозным паром. Помявшись, протянул дочери:

— Вот, отблагодари Ольгу. Праздник нынче…

Когда Тамару выписали из больницы, её детишек уже пристроили в детский сад. Старшая сестра выглядела неважно, практически ничем не помогала по хозяйству, быстро уставала и большую часть времени проводила в постели. Так что забот не убавилось. И в какой-то момент Арине привиделось, что она ухнула в «чёрную дыру», откуда попросту невозможно вырваться. Ночные всхлипывания не остались без внимания матери. Улучив момент, она во дворе остановила дочь и пожалела:

— Бедненькая ты моя… Помоги тебе Господи!

Арину словно током ударило: что это ты, девонька, рассупонилась, слабину дала; ведь не только тебе тяжело, а родители-то как страдают… И с ходу порешила: надо срочно на работу устраиваться, чтобы вырваться из ежедневной рутины, а по дому убраться и вечером успею. Опять же выручила Ольга, нашептавшая своему шефу о трудностях одноклассницы. Иван

Николаевич пригласил Арину на беседу. Узнав, что она собирается съездить в институт и попросить сдать экзамены экстерном, чиновник воодушевился:

— Вот что, девочка… Ты, я вижу, человек серьёзный, к себе очень требовательная, рассудительная… Нам такие кадры нужны до зарезу. А если ты к тому же собираешься учёбу в институте свою ускорить, то сам Бог велел побыстрей приступить к практическим делам.

— Я работы не боюсь. Говорите, где и когда я могу начать…

— У нас кафе, почитай, год как без руководителя, — загадочно улыбнулся Иван Николаевич, — да и работники без твёрдой руки. Непорядок!

— Да я, честно говоря, рассчитывала начать с низов, — замялась Арина. — Какой же из меня руководитель без опыта и образования?

— Опыт — дело наживное, главное — у тебя есть характер и целеустремлённость. А мы поможем. В Гражданскую войну ваши ровесники полками командовали…

— Так то в войну, — жалобно протянула Арина, совсем сбитая с толку напором замглавы.

— Вот и хорошо, вижу, что договорились, — встал со своего места Иван Николаевич, протягивая руку. — И в институт мы письмо напишем, объясним, что и как. Так что смело приступайте к новым обязанностям. И сестре вашей поможем, прикрепим соцработника…

Арина вышла из кабинета ошарашенная. Ольга приплясывала возле неё, засыпая поздравлениями: «У тебя всё получится, я не сомневаюсь!»

Впервые за долгие годы сердце Арины успокоенно насыщалось теплом, но по лицу расползались морщины сомнений, переполошившие дома мать.

— Что случилось, доченька?

— Меня берут на работу в кафе. Заведующей, — заулыбалась, размазывая слёзы, Арина. — Завтра поеду в институт, надо экзамены сдавать.

Отец встретил дочь у притолоки, застенчиво и неумело скрывая за спиной какой-то свёрток.

— Вот, Ариша, решили мы с матерью тебе подарок сделать. Прости, что на большее не сподобились… Но, как говорится, от чистого сердца. Заслужила ты, конечно же, и лучшей доли…

Он неповоротливо подался вперёд, намереваясь поцеловать дочку, но уткнулся ей в ухо, всхлипывая и едва слышно нашёптывая: «Прости нас, грешных…»

Подарок — модные сапоги, которые, оказывается, помогла приобрести в райпо всё та же одноклассница Ольга, — вызвал всеобщий умилительный вздох. Арина начинала осознавать, что именно здесь, в посёлке, настоящие друзья и люди, которым небезразлична её судьба. Разве можно обмануть их ожидания?

В институте декан полностью поддержал студентку-отличницу, сыграло свою роль и письмо-рекомендация от главы района. Не возражал и ректор, для приличия посокрушавшись, что вуз теряет таких неординарных студентов-очников, и пожелал Арине Олеговне успехов на новом поприще.

В пустых и гулких коридорах института, опустевших после зимней сессии, когда студенты разлетелись кто куда, получив возможность отдохнуть

и расслабиться, призывно и чересчур громко цокали каблучки новых сапог. Арина по случаю надела свои лучшие наряды, втайне мечтая встретиться с преподавателем, у которого осталась её зачётка. Но декан опередил, спустив её с небес на землю:

— Сергей Иванович вашу зачётку нам передал, когда вы срочно вынуждены были выехать домой. Приятно смотреть на ваши оценки. А теперь давайте определим график сдачи экзаменов, чтобы закрыть все долги…

— А Сергей Иванович в институте? — вдруг вырвалось у Арины, и она невольно покраснела. Декан этого не заметил, деловито собирая на столе какие-то бумаги.

— Он уехал в Москву, готовится к защите кандидатской диссертации. Хороший специалист, побольше бы нам таких…

Не увидела Арина и свою подругу Маргариту, подсказали, что та умотала куда-то на каникулах, то ли в Минск, то ли ещё куда. Ну и ладно, надо сосредоточиться на сдаче экзаменов, да и на новом месте работы предстоит немало сделать, чтобы себя зарекомендовать. В хорошем настроении Арина села в автобус и сразу же уснула: сказалось напряжение последних дней.

В понедельник Иван Николаевич представил её коллективу кафе.

— Прошу любить и жаловать. Арина Олеговна Вершинина, студентка-заочница торгового института, скоро станет дипломированным технологом общественного питания. И мы очень надеемся, что с вашей помощью сумеем поднять на новую высоту уровень обслуживания посетителей, улучшим культуру производства и повысим экономические показатели, что немаловажно для нашего района. Успехов вам, Арина Олеговна, в качестве заведующей. Со своей стороны районная администрация окажет вам всяческое содействие по всем вопросам. Так что не стесняйтесь и без раскачки беритесь за работу.

Пятеро работников общепита, в основном предпенсионного возраста, опасливо встретили нового руководителя: что от неё ожидать? какие фортели может выкинуть? Арина уловила недоверчивое настроение коллектива, повременив с ходу что-либо предпринимать кардинальное, хотя перемены напрашивались уже после первого обхода зала, подсобных помещений и знакомства с бухгалтерской отчётностью. Начала с генеральной уборки кафе, закрыв его на санитарный день. Составила целый список первоочередных приобретений: новые шторы, скатерти, посуда, замена освещения… Вечером по интернету определилась с ценами, заодно прикинула и стоимость оборудования, которое следовало бы заменить. Иван Николаевич, просмотрев список, только ахнул: «Да где же мы такие деньги найдём?!», но Арина твёрдо заявила:

— Без косметического ремонта кафе так и останется забегаловкой. Нужно поменять имидж, дать понять посетителям, что здесь не затрапезная пивнушка, но и место для семейного отдыха, для приличных банкетов и торжеств. Помогите хотя бы с ремонтом, на шторы и другие детали интерьера я потрачу свою первую зарплату.

— А говорили, ты робкая и несмелая, — хмыкнул замглавы и, помолчав, вдруг лихо рубанул рукой воздух: — А что, мне такой подход нравится.

Действительно, надо же когда-то из хомутов выбираться. Действуй, дочка! Но зарплату свою не трать, не лишняя, чай. С ремонтом, думаю, поможем. Но как быть с планом?

— Закроем одну половину, — деловито рассуждала Арина, разложив на столе чертёж кафе, — заодно поставим перегородку для пивбара, пусть мужики опохмеляются с улицы, другим не мешая. Там пока и будем план делать. А потом у нас есть небольшой банкетный зал, его бы надо расширить за счёт подсобки, в которой один только хлам накапливается. Будет, где дни рождения справлять, юбилеи…

— Надо нашего архитектора подключить, — Иван Николаевич делал пометки в деловом блокноте, — а насчёт ремонта попрошу «Ремстрой», тем более у них через месяц годовщина организации, будет стимул побыстрее закончить и встретить знаменательное событие в обновлённом помещении…

Вместе с весенним буйством природы расцветало и настроение Арины. Приятные хлопоты только придавали дополнительные силы. Зашедший в кафе начальник «Ремстроя» Алексей Коровин — мужчина лет тридцати пяти — молча прикинул фронт работ и, прищурившись, уставился на заведующую.

— А ты какая родня нашему заму? — спросил с явной досадой. Незапланированный ремонт Коровина совсем не вдохновлял.

— Ивану Николаевичу? — смутилась Арина. — Никто.

— Так не бывает, — недоверчиво покачал головой Алексей, — что-то я не замечал, чтобы наши чиновники за здорово живёшь занимались ерундой.

Арина вспыхнула, потащила Коровина в свой закуток, называвшийся кабинетом, куда с трудом втиснулся письменный стол, платяной шкаф и два скрипучих стула. С ходу она ткнула пальцем в план, выговаривая:

— Разве в этом банкетном зале вы сможете провести своё торжество? А передвинете стену — она не капитальная, — и места станет больше, не надо будет тесниться…

Коровин недоверчиво посмотрел на самодельный чертёж, всё ещё надеясь отвертеться от поручения замглавы.

— А вы знаете, сколько надо согласований, смету составить, туда-сюда?

— Вы что же, пришли со мной торговаться или просто время тянете? Тут работы всего на два-три дня, — решительно произнесла Арина. — Или вам слабо?

Последняя фраза задела самолюбие строительного начальника. Он весь напружинился и недобро сверкнул глазами.

— Да ничего не слабо. Хорошо, банкетный зал сделаем, а вот остальное…

— Когда можете приступить? — сбила его с толку Арина и улыбнулась, потрепав за рукав. — Давайте завтра. За два дня управитесь, а там решим, что дальше делать.

— Ты точно чья-то родственница, — ухмыльнулся Коровин, — без поддержки вряд ли бы была такой смелой. Ладно, пришлю с утра бригаду, Родионовна.

Услышав отчество-прозвище, Арина рассмеялась.

— Хорошо, жду.

Уже закрывая дверь, Коровин обернулся.

— А Родион Фомич из области кем вам приходится? — спросил на полном серьёзе, и Арина решила ему подыграть:

— Будущий тесть, отец жениха.

— А-а! — глаза Коровина округлились, он почтительно поклонился и вышел.

Арина об этом с беззаботной весёлостью поведала дома. Все восприняли шутку как должное, только отец насупился:

— Зря ты так, дочка. С этими мужиками надо держать ухо востро, от них всякого можно ожидать.

— Да мне-то что, — улыбалась Арина, — если у них с юмором туго, пусть сами на себя обижаются. Лишь бы дело с мёртвой точки сдвинулось.

Дело и впрямь сдвинулось. Только все стали смотреть на Арину как-то иначе, чем прежде, заискивающе, что ли. При очередной встрече Иван Николаевич не удержался, спросил почему-то шёпотом:

— Ты, правда, замуж выходишь за сына Родиона Фомича?

— Ах, вот в чём дело! — Арину буквально распирал смех, но она постаралась выглядеть серьёзной. — То-то я смотрю, все ходят вокруг какие-то странные. Значит, Коровин разболтал…

— Арина Олеговна, это дело хорошее, — залебезил замглавы, — правильно, нечего раньше времени болтать, как бы не сглазить.

— Да вы что, Иван Николаевич, серьёзно, что ли?

— Ладно, ладно, об этом после поговорим. Давай лучше о твоём ремонте. Я вот тут наших фермеров поднапряг, чтобы скинулись на стройматериалы. Завтра у нас после совещания, где-то в десять утра, поговоришь с ними, озадачишь, так сказать. А сейчас, извините, опаздываю на собрание…

В мае обновлённое кафе, получившее название «Ветерок», торжественно встречало посетителей. Арина специально выписала из города аниматоров, для детишек завезли мороженое, порадовали молочными коктейлями. Новая кофемашина привлекла внимание женского пола, пока сильная половина за углом дегустировала невиданное до этого чешское пиво. В расширенном и по-праздничному оформленном банкетном зале Коровин отмечал 15-летие своей фирмы. Глава района Денис Степаныч Громов, заглянув на торжества строителей, лично выразил своё почтение молодому руководителю общепита и вручил Арине большой букет алых роз.

— Я всегда говорил, что молодёжи надо больше доверять, — громогласно декларировал Денис Степаныч, — и вот, пожалуйста, у нас перед глазами пример такого доверия. Арина Олеговна, как мне сообщили, блестяще экстерном сдала экзамены за третий курс института. И это не мешает ей кардинальным образом перестраивать работу общественного питания у нас в районе. Жители не нарадуются, что у нас появилась своя выпечка, по выходным в кафе организуются познавательные мероприятия, есть куда пойти вечером всей семьёй. Иван Николаевич, — он обернулся к своему заму, — я вот что подумал… Осенью у нас выборы депутатов в райсовет, почему бы не рекомендовать туда Арину Олеговну Вершинину?

Все вокруг зааплодировали, Громов остался доволен эффектом от только что родившейся идеи. Забыв про банкет, люди полезли к Арине с поздравлениями, а она стояла озадаченная и смущённая. Как будто и не было всех её мытарств полгода назад, когда, казалось, иссякали душевные и физические силы, когда волком хотелось завыть и броситься в омут, если бы не воскресавшее из глубин сознания чувство ответственности за больных родителей, сестру и малолетних мальчишек.

Уже дома, уставшая и довольная, Арина распахнула окно — комната наполнилась терпким, закружившим голову ароматом сочной сирени. Она легла поверх одеяла, вытянув гудящие ноги, закрыла глаза. И сладкий полусон понёс её далеко-далеко, покружив по небесам, мягко придавил невесомое тело к земле и сквозь стену спланировал в полутёмное помещение, где едва различались предметы и лица. Но одно лицо, приблизившись, обрело черты Сергея Ивановича, улыбчивого и смешного. Губы, как в немом кино, что-то шептали, присмотревшись, Арина прочитала: «Я люблю вас!» Она хотела ответить тем же, но гадкий пронзительный звонок на перемену разрушил сон. Видение испарилось.

Открыв глаза, Арина увидела дребезжащий будильник и вспомнила, что вчера Иван Николаевич её предупредил: «Нечего больше в автобусе трястись до института. Заранее говори, я тебе свою машину дам… Завтра надо ехать? Нет проблем, водитель к семи подскочит, думаю, за день там управитесь».

Двор института закипал от непомерной энергии студентов. Начало летней сессии. Сил и духа ещё предостаточно, чтобы оптимистично смотреть в будущее. Вокруг галдели и ржали до неприличия. Обсуждали планы поездки в стройотряд или к морю. Никто не упоминал об экзаменах, как будто всё уже позади и можно расслабиться.

Арина быстро прошла в деканат, сверила своё индивидуальное расписание, прикинув, что сегодня удастся сдать только два зачёта, но девушка-методист обрадовала:

— Так у вас по этим предметам «автомат», зачёты сданы. Давайте попробуем договориться с другими преподавателями, когда они смогут вас принять.

Арина поблагодарила за заботу и попросила отлучиться минут на пятнадцать. Ноги сами привели её в ту самую аудиторию, где зимним вечером она едва не распахнула дверь в царство любви. Никого из сокурсников не встретила, быстро пробежала глазами график сдачи экзаменов и зачётов, среди преподавателей Сергей Иванович не значился. Да и откуда ему здесь взяться, он же в Москве. Стало быть, не судьба.

«Что ж, — подумала Арина, — раз экзаменов сегодня нет, надо возвращаться, не буду водителя томить, да и Ивану Николаевичу машина наверняка нужна, негоже злоупотреблять…» Уже на порожках её окликнули. Обернулась: да это же Вика — однокурсница с дневного отделения. Словно закадычные подруги обнялись, посыпались обоюдные вопросы: что да как. Арину так и подмывало спросить про Сергея Ивановича, но она не решилась вот так, напрямую. Зашла с другой стороны.

— Ты Маргариту нашу давно видела?

— Так она, как и ты, на заочный перевелась, — мило улыбалась Вика. — Она теперь в Москве. Замуж вышла, вот профура!

— Там, в Москве?

— Да. И знаешь, кого заграбастала? Помнишь, был у нас такой препод по философии Сергей Иванович, он теперь кандидат наук, где-то в столичном университете пристроился. Так вот Динамит времени даром не теряла, окрутила его по всем пунктам, размечталась о московской прописке, о хорошей зарплате мужа…

Арина уже не воспринимала подробности, вернее, их не слышала. Утратила способность осмысленно воспринимать окружающее. Хрупкая надежда разрушилась, разлетевшись мелкими осколками, вот так — запросто, на раскалённых ступенях торгового института, в окружении галдящей толпы. Хотя Арина и не тешилась иллюзиями, но услышать, что её приятельница самым беспардонным способом воспользовалась ситуацией… Это было выше её сил.

Всю дорогу до дома она, прикусив губу, молчала. Ничего не хотелось делать, ничто не радовало. Родители, заметив смену настроения — утром уезжала весёлая и бодрая, а вернулась как побитая собака, — не приставали с расспросами. Только перед сном подошла мать, как в детстве приголубила, поцеловала в лобик и тихо прошептала:

— Ничего, доченька, утро вечера мудрёнее. Авось всё наладится.

Спустя пять лет депутат областной думы, заместитель главы района по социальным вопросам Арина Олеговна Вершинина на митинге по случаю открытия в посёлке долгожданного хлебозавода на всякий случай, боясь поддаться эмоциям, сжимала в кулаке платочек. Она по-настоящему ощущала себя счастливой и без лишней скромности гордилась, что сумела убедить начальство найти инвестора, потому что не дело возить хлеб за тридевять земель; он же свой, кровью и потом выстраданный, вынянченный, так почему надо урожай куда-то на сторону отдавать, почему сами не можем с любовью из своей же муки выпекать вкуснейшие караваи…

А хлебозавод — это жизнь. И надо теперь восстановить маслосырзавод, а потом и пищекомбинат. Не забыть и о реставрации храма, расположенного поблизости… Но хватит ли сил бороться за новые идеи? И где гарантии, что через десять-пятнадцать лет какой-нибудь хват не разрушит всё это вновь? Нет, надо жить с верой в душе, что всё благое обязательно воплотится в жизнь. Надо быть истинно верующим человеком. И тогда всё получится.

Арина задумчиво шла по улице, все встречные почтительно здоровались, кто-то даже кланялся. Значит, не зря всё это. А что будет потом — одному Богу известно. Жить-то надо сейчас — с интересом, с удовольствием. Так что сил хватит. Вот только в суете будней заклёкнул её так и не найденный ответ на вечно-молящий вопрос матери: «Когда же для себя жить начнёшь, личную жизнь улаживать?»



Ольга Николаевна Аристарина родилась в 1987 году в Орловской области. По образованию — журналист. Автор пяти книг. Публиковалась в журналах «Страстной бульвар», «Новый Орёл», «Балтика», «Сура», «Ротонда», «Белая скала», альманахах «Под парусом спасения», «Тургеневский бережок». Лауреат многих литературных конкурсов. Главная на сегодняшний день награда — гран-при Всероссийского литературного конкурса «Спасите пушкинский язык». Член Союза российских писателей.

БЕЛЫЕ СКАЗКИ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

Замочная скважина смотрела отважно,
Сощурив глазок, в коридор.
Там кто-то гулял — не спеша и вальяжно.
А вдруг этот дяденька вор?
Трясясь и бледнея,
замочная скважина
Решила туда не смотреть.
Она развернулась и стала отважно
В пустую квартиру глядеть.
Но там точно так —
не спеша и вальяжно
Везде расползается мрак.
Мечтает зажмуриться бедная скважина,
Но вот не выходит никак…

ДЕРЕВЬЯ

Городские деревья не то что в селе.
Их не поит деревня в кипучем ручье.
Рок их труден, опасен и жуток:
Вдруг в асфальт закатают малюток?!
Шум машин их баюкает с детства.

Это трудное очень соседство.
Суетятся они точно так же, как мы
И года в суете не считают,
Вроде только очнулись
от прошлой зимы,
Отвернёшься — опять облетают.
Неуютно стоять с опустевшим гнездом,
К небу ветки направив, как крылья.
Так приятно, когда ты хоть чей-нибудь дом,
А не средство от шума и пыли.
Как же трудно деревьям расти в городах.
Не сбежать никуда, не уснуть.
Замечайте деревья, ну хоть иногда,
Ведь они возвращают весну!

ТЕНИ

Тени, тени, не ходите
По ночам одни гулять!
Вы на стенах наследите,
А кому-то убирать.
Тени, тени, не плетите
Свой полуночный узор
И потом не говорите
Всякий неуместный вздор,
Что кошмары вы ловили,
Что плели для ночи сеть.
Из-под одеял следили
Мы вчера. И будем впредь!
Вы летали, вы гуляли,
Вы сплетались и неслись —
Громко так, что мы не спали
И от топота тряслись!

МУШАТА

Никому не нравятся мухи.
И особенно малышам.
Никому не нравятся мухи,
Кроме разве мушиных мам.
И понятно — мушиным мамам
Их милашечка, их мушонок
Представляется самым-самым.

Самый лучший из всех ребёнок!
Уморительно щурит глазки,
Кашку ест и до трёх считает.
И про мусорку любит сказки,
Не за ручку — один летает.
У него есть зачатки слуха
И талант к рисованью тоже.
Замечательной самой мухой
Подрастает жужжащий крошка!

БЕЛЫЕ СКАЗКИ

Белый мишка сказок знает много.
Очень-очень-очень-очень-очень.
Засыпала плохо эта кроха
Каждый раз полярной длинной ночью.
Двести сказок мама рассказала,
Двести сказок папа рассказал.
Даже небо сказкой просияло,
А сынок никак не засыпал.
И упорно кроха щурил глазки.
Он измучил маму и отца.
Как же сложно спать, когда ты в сказке.
Сказку нужно слушать до конца…

СЛОВО, ИСКУССТВО, СУДЬБА





Сергей Михеенков

НИКОЛАЙ ПОЛУНИН: «Я СГОРЕЛ НЕ ДОТЛА...»

(из книги «Писательская рота»)

1.

Николай Фёдорович Полунин родился 15 декабря 1920 года. Его родина — деревня Лоторево Сугоновской волости Калужского уезда Калужской губернии. Места сказочно красивые, типично среднерусские. Деревня стоит у истока реки Суходрев. Той самой, которая, уже наполнившись притоками, протекает по усадьбе Полотняный Завод, куда перед свадьбой ездил к своей невесте Наталье Гончаровой влюблённый Пушкин.

Окончил среднюю школу и поступил в Гурьевский техникум молочной промышленности. Работал техником-технологом в Ивановской области.

В Красную армию ушёл по призыву в ноябре 1941 года, когда враг уже стоял под стенами Москвы. Призван Сталинским райвоенкоматом Ивановской области. Сразу же направлен на учёбу в Сормовскую военную школу радистов-операторов. Фронту требовались специалисты радиодела. В июне 1942 года направлен на фронт. Участвовал в боях на Западном и Юго-Западном фронтах. Был связистом 727-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (ИПТАП) 10-го танкового корпуса.

«Чёрные ромбы» дрались всегда не просто в первом эшелоне, а — против танков. Фронтовики знают, как атаковали немецкие танки. На пехотные траншеи они накатывались осторожно. На дистанции обрабатывали окопы осколочно-фугасными снарядами и пулемётным огнём, а, подкатив к траншеям, останавливались в десяти шагах и будто принюхивались — не ждут ли

их со связками гранат и бутылками с зажигательной смесью бойцы-гранатомётчики. Прорвавшись на артиллерийские позиции, немецкие танкисты вели себя иначе. На всей скорости они гнали свои боевые машины на огневые противотанкистов. В этих кромешных обстоятельствах часто возникали дуэли: танк — противотанковое орудие, танковый экипаж против орудийного расчёта. Обычно исход решал точный выстрел. Кто — кого. Быстрота и смелость механика-водителя? Или точный расчёт и хладнокровие наводчика-артиллериста?



Н. Ф. Полунин

Старшина Полунин обеспечивал связь расчётов с командно-наблюдательным пунктом.

Десятый танковый корпус в 1942 году дрался в Подмосковье недалеко от родных мест Николая Полунина. Весной 1943 года корпус перебросили на юг: участок Ливны — Старый Оскол. Ставка Верховного Главнокомандования готовилась к отражению летнего наступления немецких войск. Формировался Степной военный округ (генерал И. С. Конев), который располагался за спиной Воронежского фронта (Н. Ф. Ватутин). В него и вошёл 10-й танковый корпус.

Уже на следующий день Курской битвы, когда возникла угроза прорыва обороны Воронежского фронта и выхода танков генерала Гота к Курску с юга, часть соединений Степного фронта по приказу Ставки была передана в распоряжение генерала Ватутина. В первую очередь в район Обояни были переброшены артполки. А 7 июля в районе Прохоровки сосредоточились основные силы корпуса. Задачей было во что бы то ни стало удержать вторую полосу обороны Воронежского фронта.

Уже на второй день битвы 727-й ИПТАП вступил в бой с немецкими танками.

Маршал К. А. Москаленко, в 1943 году генерал, командующий 40-й армией, вспоминал: «Несмотря на яростные атаки, противнику в течение четырёх дней не удалось прорваться на Обоянь. Командующий, умело маневрируя силами фронта, постоянно усиливал войска 6-й гвардейской армии и 1-й танковой армии. Только из состава 40-й армии на направление главного удара противника были переброшены четыре стрелковые дивизии, две танковые бригады, два танковых полка, две артиллерийские бригады, четыре истребительных противотанковых полка, гаубичный артиллерийский полк, два гвардейских миномётных полка и один самоходно-артиллерийский полк».

Артиллерия в нашей армии ещё со времён Ивана Грозного традиционно была сильна. Именно артиллерию всегда бросали на самые трудные и ответственные участки. На Курской дуге таких участков, намеченных немцами

для прорыва, было два: на севере с орловского плацдарма ударные силы группы армий «Центр» били на юго-восток с поворотом на юг направлением в район Курска, на юге группа армий «Юг» била на северо-восток с поворотом на север в район Курска. Так, по замыслу немецких штабов, в случае удачи, отсекался огромный Курский выступ со всеми войсками, расположенными на гигантской дуге. Неудачи, как приказал своим генералам Гитлер, быть не должно.

Десятый танковый корпус генерала В. Г. Буркова закрывал Обоянское шоссе. Когда 4-я танковая армия генерала Гота таранным ударом пробила первую линию обороны наших гвардейских армий, создалась угроза выхода немецких моторизованных соединений на главную коммуникацию — Обоянское шоссе, по которому до Курска оставалось рукой подать. Все танкоопасные направления на второй линии тут же были заняты нашими артиллеристами. В том числе и батареями 727-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

Как известно, Воронежский фронт, постоянно подпитываясь пополнениями, поступающими из тылового Степного фронта и неатакованных участков собственных армий, выстоял. После того как противник, не добившись успеха, начал отход, вперёд пошли войска обеих советских фронтов — Степного и Воронежского. Началась наступательная операция «Полководец Румянцев». Были освобождены Белгород и Харьков.

В боях по освобождению Белгорода храбро дрался и 727-й ИПТАП. «Чёрные ромбы» выкуривали немцев из дерево-земляных и бетонных сооружений, которые те успели построить по периметру города, точным огнём гасили танковые контратаки. При этом, конечно же, и расчёты несли большие потери.

В одном из таких боёв был тяжело ранен старшина Полунин. Его эвакуировали в тыл, в госпиталь № 5359.

Из наградного листа на старшину Полунина Н. Ф.: «При освобождении г. Белгорода получил тяж[ёлое] ранение левого плеча с повреждением лучевого и локтевого нерва. В данное время работает военруком Муратовской неполно-средней школы, к работе относится добросовестно. Повседневно повышает свои военно-политические знания. Предан делу Ленина — Сталина и социалистической родине».

За освобождение Белгорода старшина Полунин был награждён орденом Славы III степени.

2.

Инвалид в двадцать три года — это нелегко.

В 1950 году окончил заочное отделение Московского педагогического института, факультет географии. Родину свою — в то время это был уже Детчинский район — больше не покидал. Работал учителем, преподавал детям географию, директорствовал. Деревни и сёла родного края распахивали перед ним двери своих школ, где он руководил педагогическими коллективами, вёл уроки, воспитывал сельских детей, учил добру, справедливости, умению видеть прекрасное в окружающей природе и жизни.

Писались стихи.

Вдали — Новосёлки.
Навстречу — Прудки.
Просёлки, просёлки,
Берёзки, дубки.

От лямок и плечи
В кровавых рубцах…
Ходил я до Детчина
В оба конца.

Во ржи перепёлки,
А сзади — рюкзак.
Я знаю: просёлки
Ведут на большак.

Просёлки, просёлки… 1960-е гг.

Даже от названий сёл и деревень, где учительствовал Николай Полунин, веет поэзией срединной, исконной России — Муратово, Сугоново, Николо-Дол, Прудки, Дубровка, Победа.

Он, учитель, сельский интеллигент, прекрасно понимал главное назначение и социальную миссию советской колхозной деревни — растить хлеба, кормить Россию.

Февраль устал кривить дороги,
А март расслабил снежный наст…
Сегодня в полдень у порога
Воды хохлатка напилась.

Весна людей заторопила…
Она, как будто невзначай,
Проталок в поле обронила,
Пустила на него грача,

Засуетилась у причала,
Шумит, нет удержу воде!
Мы ждём…
Сейчас бы не мешало
У тракторных плугов отвалы
Почистить в первой борозде.

Весна. 1967 г.

Стихи охотно печатали областные и районная газеты.

Калужское книжное издательство в 1960 году выпустит первую книгу поэта — «Тропинка полевая». С первой книжкой Николаю Полунину повезло — успела выйти. Потому как в следующем, 1961-м году Калужское издательство запустило в производство альманах «Тарусские страницы», собранный тарусскими москвичами. Альманах по несчастливой случайности

попал под руку партийным чиновникам, и они его распушили в хвост и в гриву. Альманах был изъят из книжной торговли, издательство спустя некоторое время на всякий случай прикрыли.

Третий поэтический сборник вышел уже после смерти поэта.

Писал Николай Полунин и басни, и стихи для детей, и поэмы. В конце жизни принялся за прозу. «Повесть о войне» закончить не успел. К сожалению, Николай Фёдорович не оставил воспоминаний о войне и военной поре. А ведь именно это могло стать его главной книгой. О непридуманном. О том, как учился на курсах связистов, как зачислили в истребительно-противотанковый полк, как стояли во время Курской битвы под Обоянью, а потом наступали на Белгород. И не подсказал никто. Общался Николай Полунин в основном с журналистами. А журналисты — народ поневоле поверхностный. Да и от поэта требовали в основном — «стишок в номер» и «по случаю, к дате».

На долгие годы местом работы Николая Полунина стал Детчинский совхоз-техникум. Преподавал географию и историю. До сих пор многие выпускники техникума с благодарностью вспоминают своего учителя. Занятия в историческом кружке, который учитель организовал и увлечённо вёл многие годы. Кружковцы под руководством своего наставника создали музей Боевой славы, занимались розыском имён солдат и командиров, захороненных в братской могиле в селе Детчине.

В 1972 году принят в Союз писателей СССР.

23 августа 1972 года умер. В некрологе, опубликованном в «Литературной России», говорилось: «...И писал стихи. Он их не придумывал, не сочинял. Они рождались в его душе, когда он шёл по родным полям и перелескам, разговаривал с хлеборобами, думал о судьбах тех, кто пашет землю, кормит и одевает страну... Строки его стихов согревают душу, помогают в труде».

Я СГОРЕЛ НЕ ДОТЛА...

Я сгорел не дотла
Под Смоленском в бою.
Семь атак, два «котла»
В день на роту мою...

А теперь видишь сам:
Я иду по овсам,
По пшенице и льну,
Там, где встретил войну.

Я безруким иду.
Я у всех на виду.
И не спрячешь беду
Каждый день под ремень...

1968 г.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОСТОТА

Мы обходимся без милиции.
Тут порядок давным-давно.
Только девушки яснолицые
Любят семечки брать в кино.

Что ж, что семечки девки лузгают?
Деревенская простота.
А под ситцевой белой блузкою
Нерасплёсканная чистота.

Не зовут их здесь «вертихвостками»,
Ходят в девках — до сорока;
Ни с женатыми, ни с подростками
Не «махают налевака».

Если май придёт — все с веснушками,
Дело ясное тут — весна!
Если в клуб идут, то с частушками,
Им, как водится, не до сна.

Рассыпается дробь каблучная
Под трёхрядную под гармонь…
Если парочка неразлучная
К свадьбе вызрела — уж не тронь!

1960-е гг.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Не мог я вмиг осмыслить сводку,
Но понимал одно: конец!
Я видел, как своей пилоткой
Ударил о ладонь боец;

Затем присел на край лафета,
Надел пилотку набекрень
И развязал шнурок кисета…
Нам не забыть тот майский день.

А жёны пашнями бежали,
Оставив в упряжи быков;
А матери, поправив шали,
Тревожно всматривались в дали,
За повороты большаков.

У сельсовета — слёзы, речи…
Мы верили в страданья женщин —

Они измучились без нас,
Взвалив все горечи на плечи.
Нам не забыть тот день и час:

Солдат цветами осыпали,
Солдат до хруста обнимали,
Смеялись жёны
И рыдали…

1971 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Тропинка полевая. Стихи. — Калуга: Калужское книжное издательство, 1960.
На большаке. — Тула: Приокское книжное издательство, 1968.
Когда не спят перепела. — Тула: Приокское книжное издательство, 1973.

НАГРАДЫ И ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ

Орден Славы III степени
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Значок «Отличник народного просвещения»

ИЗ ОТЗЫВОВ О «ПИСАТЕЛЬСКОЙ РОТЕ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Moonzuk

Сергей Михеенков относится к числу авторов серии ЖЗЛ, которым я доверяю. Его книги интересны, объективны, честны (насколько я могу судить), эмоциональны. Взгляд его на события Великой Отечественной войны близок мне. Он честно, опираясь на документы и свидетельства, восстанавливает картины этих событий.

«Писательская рота» — своеобразное продолжение «Взвода» Захара Прилепина — офицеров и ополченцев русской литературы, классиков девятнадцатого века сменяют писатели и поэты века двадцатого, прошедшие через войну, выжившие в этой войне и до конца выполнившие свой воинский долг, честно рассказав о ней в своих книгах.

Имена большинства героев «на слуху», книги их прочитаны, а иногда и перечитаны.

renigbooks

Новая книга Сергея Егоровича Михеенкова вводит в орбиту серии ЖЗЛ сразу двадцать героев, ратно послуживших Родине и словом, и делом. Среди персоналий сборника — как и поныне широко известные мэтры военной прозы, поэзии и драматургии, так и несколько подзабытые мастера «лейтенантской прозы». Среди них были не только маститые, прославившиеся ещё

в 1930-е годы литераторы, надевшие солдатские шинели в первые же дни Великой Отечественной войны, но и обыкновенные солдаты, нашедшие своё истинное призвание на полях сражений. У кого-то из них писательский дар пробудился сразу, — некоторым на художественное переосмысление пережитого потребовались годы и даже десятилетия.

Главная задача книги — возродить интерес читателя к жизненному и творческому пути славных писателей-фронтовиков и снабдить его «ключами» к их уникальному наследию, чтобы сподвигнуть нас открыть новые для себя имена и, конечно, продолжить знакомство с произведениями уже знакомых нам авторов. Со всеми этими задачами энциклопедическая антология Сергея Михеенкова справляется на все 100%.

«Писательская рота» — издание не столько историко-биографического, сколько литературоведческого характера. Учитывая, что Сергей Егорович — не только признанный эксперт серии ЖЗЛ по истории Великой Отечественной войны, но и автор художественных произведений о ней, сборник получился одновременно очень информативным, живым и эмоциональным, в полной мере раскрывающим феномен фронтовой поэзии 1940-х годов и всей последующей «лейтенантской прозы». Это книга писателя о писателях, поэтому голос его звучит ясно и чётко, а авторская позиция по ключевым вопросам обозначена твёрдо и однозначно.

Ренат Нигметзянов

Жгучая необходимость правды

Для поклонников серии ЖЗЛ одним из главных литературных событий минувшего лета стал выход долгожданной второй книги «Писательской роты» известного писателя и военного историка, лауреата премий «Прохоровское поле», «Александр Невский» и многих других наград Сергея Егоровича Михеенкова. Осенью прошлого года первая часть полюбившегося читателям сборника получила приз Международного славянского литературного форума «Золотой витязь». Держит марку и его продолжение, героями которого стали 18 писателей-фронтовиков. Среди них были не только уже добившиеся признания литераторы, надевшие гимнастёрки в первые же дни Великой Отечественной войны (некоторые ещё раньше — в советско-финляндскую), но и обыкновенные солдаты, молоденькие сержанты и лейтенанты, нашедшие своё истинное призвание на полях сражений. У кого-то из них писательский дар пробудился сразу, — некоторым на художественное переосмысление пережитого потребовались годы и даже десятилетия…

Можно с уверенностью сказать, что, если бы не война, многие герои сборника не стали бы писателями, не взялись бы за перо, чтобы выплеснуть на бумагу тяжёлый фронтовой груз, который не давал им покоя, травил разум, бередил душу. И тут невольно задумываешься, из каких закоулков фронтовых путей-дорог произросли их главные поэмы, повести и рассказы, как они создавались, как их приняли в своё время читатели и официальная критика. Все эти аспекты освещаются Сергеем Егоровичем в присущей ему искренней, душевной манере, — будто со старым добрым другом поговорил.



Андрей Убогий

КАЛУЖСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

(наброски к ненаписанной книге)

Отрадно давать имена тем явлениям, что доселе не были названы. Это, в сущности, радость Адама, который именовал райский мир, окружавший его, и тем исполнял волю Творца, пожелавшего, чтобы каждый предмет бытия, как родился из слова — так потом бы и жил в свете имени, которым его оделил человек.

«Именовать не до конца именованный мир», как выразился Набоков, — едва ли не высшая радость из тех, что дарованы людям. Ведь, обращаясь по имени — к предмету, явлению или человеку — мы, в сущности, признаёмся ему в любви.

А что открыл и чему сумел дать имя я сам? В моей жизни не случилось рискованных странствий по неизведанным дебрям, когда в конце изнурительного перехода (лошади пали, проводники разбежались, провиант на исходе) путешественник ослабевшей рукой наносит на схему маршрута открытый им — ну, скажем, горный хребет. И при этом он размышляет: а чьим именем — друга, возлюбленной или, может быть, собственным? — назвать то, что вскоре появится на географических картах?

Не был я также и ловцом бабочек (Набоков снова приветливо помахал нам рампеткой), и мне незнаком тот азарт, с каким долго преследуешь яркое чудо, что трепетно реет над склоном холма иль болотистым лугом, а потом бьётся в сетке сачка и затихает в коробке с эфирною ваткой: не стал я, увы, и лепидоптерологом. Хотя хорошо представляю ту радость, с какой узнаёшь: твоя добыча не упомянута ни в одном справочнике — а значит, ты вправе назвать её сам. И, быть может, тогда твоё имя останется не на одной лишь могильной плите, но продолжится в звуках тяжеловесной латыни…

Не стал я разглядывать мир и в окуляр микроскопа, пытаясь движением винта навести резкость на каплю воды или крови — в которых живёт свой особенный, полный загадок и тайн микрокосмос, и возможность открытия

нового вируса или вибриона не является чем-то совсем уже невероятным. А эмоций такие открытия доставляют не меньше, чем описание бабочек или горных хребтов. Скажем, когда Карл Бэр, отец современной эмбриологии, впервые увидел под микроскопом яйцеклетку собаки — он упал в обморок от восторга и счастья! А, очнувшись, пробормотал знаменитое: «Omnia vivae ab ovo!» — «Всё живое — из яйца!»

Но и всё-таки радость первопроходца я испытал — открыв явление под названием «Калужская лирическая школа». Возможно, вы спросите: а что, до этого, с позволения сказать, «открытия» — калужских поэтов и их замечательной лирики не существовало? Конечно, поэты и лирика существовали и продолжают существовать — как была и Америка до её открытия Колумбом, и высились не открытые путешественниками горы, и порхали бабочки, не занесённые ни в один энтомологический справочник. Они, как кантовские «вещи в себе», конечно, существовали; но, чтобы вполне открыть нам свои лица, эти вещи или явления должны были получить имена.

Как известно ещё из античных определений жанра, лирика — это рассказ поэта о себе самом. Причём рассказ не столько о тех событиях, что с ним случились, сколько о собственных чувствах или переживаниях. Как писал классик отечественной лингвистики Александр Потебня, о лирическом произведении не спросишь: «Чем всё закончилось?» Этот вопрос по отношению к лирике не имеет смысла, ибо лирика существует вне времени, в длящемся настоящем.

Иными словами, лирика вечна — чего не скажешь ни о медлительном эпосе, ни о драме, рисующей нам столкновения характеров. Эти жанры живут внутри времени: попробуй извлечь их из временно́го потока, как они начнут корчиться и умирать, наподобие рыб на песке.

В этом смысле небольшое лирическое стихотворение может оказаться весомее и долговечнее эпоса или трагедии: ибо в нём выражается напрямую душа — которая, как известно, бессмертна. Но ведь и в эпосе нам важней всего лирика: лунная ночь, проведённая князем Андреем в Отрадном, оставляет в душе куда бо́льший след, нежели грохот и дым бородинского поля.

Причём лирика — не просто жанр литературы или некое необязательное украшение нашей жизни, протекающей в бесконечных трудах и заботах по добыванию хлеба насущного. Нет, лирика и есть сама жизнь. Она — это воздух и свет, без которого человеку и невозможно, и незачем существовать: это, так сказать, среда обитания человека. Отними у любого из нас возможность лирических переживаний, как мы в тот же миг превратимся в бесчувственные колоды. Человек — если он человек — это прежде всего лирическое существо, а уж потом он организм, способный двигаться и переваривать пищу. Лирика есть то, в чём себя проявляет душа: а зачем нам и целый мир, если в нём нет лирики, то есть души?

И что, в конце концов, остаётся от человека, от города, даже от целой эпохи? Порой лишь лирический вздох. Как сказал современный арабский писатель Амин Маалуф, «от города остаётся лишь взгляд, брошенный на него полупьяным поэтом…»

Литературных школ известно не так уж и много, в отличие от школ научных или художественных. Видимо, это связано с тем, что писательство — одинокое дело, и составить из прозаиков и поэтов компанию единомышленников достаточно сложно.

Всякому сколько-нибудь знакомому с историей литературы на ум прежде всего приходит пример «озёрной школы», сложившейся в Англии на рубеже XVIII–XIX веков. Водсворт, Кольридж и Саути — вот те поэты-романтики, которые чурались напыщенного многословия классицизма и простым языком воспевали простые радости жизни на фоне пейзажей Озёрного края.

Но свои школы рождались и в лоне русской литературы. Так, существовала «натуральная школа», чьи представители, как известно, «вышли» из гоголевской «Шинели» и чьим идейным вдохновителем был неистовый Виссарион Белинский. Именно «натуральная школа» стала родоначальником «критического реализма» — той столбовой дороги, по которой двинулась русская литература XIX столетия.

В начале XX века просияла «одесская школа»: круг блестящих писателей, старейшим из которых был Исаак Бабель, а самыми известными представителями этой школы стали Валентин Катаев и его брат Евгений Петров, Илья Ильф, Юрий Олеша и Эдуард Багрицкий. Горячая кровь одесситов, их сочный язык, их неожиданные метафоры, их юмор — их, в конце концов, неистребимое жизнелюбие — всё это придало русской литературе особенный, южный и радостный, колорит.

Голоса «вологодской школы» в 60–70 годы XX века звучали иначе: приглушённее, строже, печальней. Неудивительно: слишком много трагедий пришлось пережить к той поре, и это не могло не отразиться на душах писателей и на их языке. Вологжане Василий Белов, Николай Рубцов и Виктор Астафьев чаще писали в тональности плача, нежели гимна — но и их голоса, несомненно, сделались классикой русской литературы.

Конечно, непросто увидеть явление изнутри его самого. Возможно, это и объясняет, почему о калужской лирической школе до сих пор ничего не говорили и не писали. Ведь если мы находимся внутри облака, то и не видим ничего, кроме сырого тумана. И, лишь отдалившись на немалое расстояние, можно увидеть всю его, облака, красоту.

Вот так и с калужской лирикой. Она ещё слишком жива и свежа, она продолжает твориться «здесь и сейчас», и холод академизма ещё не коснулся её живых черт. Но я всё же попробую обрисовать хотя бы примерные контуры и наметить те признаки, по которым читатель сможет узнать: да, это калужская лирика.

Для любой школы главное — её хронотоп, то есть место и время существования. Ну, с местом понятно: это милая нашему сердцу Калуга и её окрестности. Со временем чуть посложнее. Сначала я думал ограничить явление первой четвертью XXI века: действительно, это время расцвета калужской лирической школы. Но, во-первых, не хочется забывать и о тех, кто творил в конце века прошлого. И потом, как знать: а не одарит ли нас

будущее новыми лирическими открытиями? В любом случае я оставляю вопрос о границах открытым: что может помешать облаку расширяться?

Поэтому, кстати, я не хочу ограничивать калужскую лирику одной лишь поэзией и вообще литературой. Уж если живой влагой лирики пропитан каждый миг жизни — то и каждый творец, пусть он даже и не писатель, добавляет свой личный лирический вклад в то незримое облако, что парит над Калугой.

Разве синий зонт живописца Владимира Арепьева, который можно увидеть на склонах бушмановского оврага (там художник и создаёт свои вдохновенные, радостные пейзажи), как и его этюдник с холстом — разве это не инструменты, какими творится калужская лирика?

Или работы легендарного Петра Петровича Козьмина, особенно его «глассография», живопись по стеклу, где традиционный русский лубок соединяется с озорством модерниста — разве не слышен в них звон лирической ноты?

А фотоработы Евгения Фридгельма? Конечно, описывать фотографии глупо — их нужно смотреть — но в пейзажах мастера содержится столько внимательной нежности к миру, что от одного взгляда на них сразу теплеет на сердце.

А режиссёр Александр Плетнёв, оставивший нас 12 лет назад? Это был лирик из лириков: мало где я встречал столько же «лирической дерзости», как в постановках Плетнёва. «Я хочу ставить пьесу о запахе послевоенных пирожков!» — помнится, делился Саша своими планами. Кто, кроме лирика, мог бы взяться за столь эфемерный и столь же волнующий замысел?

Итак, с границами нашего хронотопа — точнее, с отсутствием строгих границ — мы более-менее определились. Следующий важный признак любой полноценной школы — наличие мастеров, в чьих работах признаки школы проявлены наиболее ярко.

С мастерами Калуге как раз повезло: их целых два. И оба, кстати, являются педагогами в прямом смысле слова: один в области литературы, а другой — живописи.

Не будь первого — Александра Трунина — я бы, возможно, и не задумался о существовании калужской лирической школы. Но «тихая лирика» Трунина столь самобытна и вместе с тем столь характерна для калужской литературы рубежа тысячелетий — что без трунинских строк невозможно представить себе поэтической атмосферы Калуги. Кроме того, Александр Трунин — ещё и наставник, взрастивший в литературной студии «Дар» новое поколение лириков, и составитель того самого альманаха с чудесным и символическим именем «Облака», который собрал под своими обложками прекрасные образцы поэтической и прозаической лирики.

Кстати — замечу a propos — наличие своего печатного органа есть ещё один признак вполне состоявшейся школы: и мы, калужане, такой орган, к счастью, имеем.

Другой же из мастеров — Вячеслав Некрасов. Конечно, подражать его лирике невозможно: как поэт, как прозаик и как художник Некрасов неповторим. Но каждая строчка мастера учит нас любить жизнь. А именно

это — «полюблять жизнь», как коряво, но сильно выразился Лев Толстой, — и есть высшее дело художника. В этом смысле Некрасов — учитель и мастер, каких поискать. Даже распевной манерой чтения собственных стихотворений поэт-рапсод словно поёт гимн всему, что его окружает: от ёжиков и светлячков до хмельных мужиков, которые неприкаянно бродят под шафранным светом луны…

Каковы же черты калужской лирической школы? Что позволяет нам говорить о единстве столь непохожих друг на друга людей, каковы поэты, прозаики и живописцы Калуги? Пожалуй, лучше всего применить «объяснение через отрицание»: тот приём, что используется в апофатическом богословии.

Итак, каких черт калужская лирика лишена? Она прежде всего не суетна. Лирическое событие, как мы уже говорили, не подвержено действию времени, и злоба дня не довлеет над ним. Пусть даже стихотворение написано полвека назад — оно воспринимается как совершенно живое и сиюминутное. Примеры? Их множество, и я не хочу огружать ими эти краткие и предварительные наброски. Можно открыть наугад сборники стихотворений Валентина Волкова, Михаила Кузькина-Воронецкого или Станислава Куняева — тех, кто творили ещё в прошлом веке, — и вы вряд ли увидите патину времени на их живых и всегда свежих строчках.

Калужская лирика совершенно не пафосна. Повышать голос, впадать в экстаз, рвать на груди ворот рубахи — эта вся экзальтация (верный признак и человеческой, и поэтической слабости) вряд ли встретится вам на страницах калужской литературы. Нет, калужане большей частью спокойны и сдержанны, они, скорее, смолчат или усмехнутся — но не унизятся ни до истерических воплей, ни до сентиментальных причитаний. Возможно, одна из причин такой сдержанности — сам уклад жизни провинциальной мещанской Калуги, где не очень-то верят клоунам и горлопанам, предпочитая держаться простых и надёжных основ бытия.

Лирика калужан лишена романтизма как отрицания наличной реальности и устремлённости в «туманну даль»: хоть «светлого прошлого» с его непременной идеализацией, хоть «светлого будущего», которого, разумеется, никому никогда не достичь. Нет, калужане живут «здесь и теперь», понимая: если ты не найдёшь счастья, радости и красоты рядом — ты не найдёшь их нигде.

Ещё калужская лирика и её творцы ничему и никому не враждебны. Где ещё, покажите мне, поэты столь же рады бывают и видеть друг друга, и пообщаться за «рюмкою чая», и почитать друг другу стихи — как не в нашей Калуге? Думаю, что по «градусу дружелюбия» мы, калужане, дадим фору многим иным городам.

В продолжение мысли о дружелюбии калужской литературы нельзя не сказать о калужских литературных пирах. Эта древнегреческая традиция (отсылаю читателей к платоновскому диалогу «Пир») оказалась возрождена калужанами в Коктебеле, во дворике дома в переулке Заречном. Симпосиархом (председателем пира) там неизменно являлся светлейший Дим Димыч

Марков. Причём «светлейший» — не княжеский титул, а прямая характеристика этого удивительного человека. Светился в крымской ночи и его ясный взгляд, светились благородные старческие седины — и мерцала луна, отражаясь в стаканах с вином…

Но, если вы думаете, что крымские пиры были просто-напросто пьянкой, то вы глубоко ошибаетесь. Нет, те пиры были событием в полной мере лирическим: хотя бы уже потому, что в начале застолья симпосиарх задавал тему, высказаться на которую был обязан каждый пирующий. Так поступали и древние греки: скажем, темой «Пира» Платона служила любовь.

Традицию, возрождённую под звёздами Коктебеля, перенесли и в Калугу. Сначала приютом поэтов стал подвальчик-трактир на улице Московской. Именно там под песни Вертинского звучали речи и тосты — и сгущалось то облако лирики, без которой поэты не могут существовать.

Затем лирические пиры переместились в грузинский ресторан на улице Герцена. Что ж, наши грузинские братья понимают толк как в застольях, так и в поэзии — тем более что на пирующих со стен смотрели картины великого лирика Пиросманишвили, а в воздухе разливались распевы грузинского многоголосья.

Несколько раз творцов и поклонников лирики приютила «кухня поэтов»: квартира, в которой плотность поэтов на квадратный метр жилплощади едва ли не наибольшая в мире.

Наконец, уже в последние годы излюбленным местом собраний стала художественная школа-галерея «Арт-нуво». И вот здесь, в окружении картин, под звучание тихой музыки, в присутствии дорогих тебе лиц — порой начинает казаться, что ты наконец очутился в том самом райском лирическом мире, из которого и не хочется никуда уходить…

Но почему именно нашей Калуге выпало стать своего рода лирическим центром страны? Может, в самой её ауре, в её гармоническом космосе содержится нечто такое, что порождает лирику и взывает к поэзии?

Да, Калуга душевна: это главное из её качеств и главное, что её отличает от иных городов. Чтобы это понять, необязательно даже родиться и вырасти в ней: достаточно побродить по её старым улицам.

И вот в этом месте моей ненаписанной книги хорошо бы обрисовать какие-то из особо лирических мест — тех, где дух города ощутимей всего. Может, это будет улица Воскресенская в мае, когда цветущие яблони заслоняют фасады старинных домов? Или склоны Березуйского оврага, летом густо заросшие, а в октябре золотые? Или это будут дома и заборы Берендяковки, прилепившиеся к крутому Окскому берегу и уже не одно столетие хранящие затрапезный уют городской старины?

А как миновать городской парк, где стоит девушка с зонтиком, где в доселе живом ресторане «Кукушка» когда-то кутил сын Толстого Илья и откуда с обзорной площадки открывается вольная панорама Оки?

Впрочем, в нашей Калуге ни к чему выискивать какие-то особо эффектные виды: лирический дух в ней витает повсюду. Стоит зайти в любой из её

старых двориков, присесть на край детской песочницы, разглядеть живописную красно-кирпичную кладку, по которой вьётся побег девичьего винограда, или полюбоваться завитушками резного наличника, да геранью в горшке за стеклом — как уже испытаешь что-то вроде лирического озарения. И неважно, выразится ли оно в торопливом щёлканье фотоаппарата, или в строке, нацарапанной на странице блокнота — или просто в желании покрепче запомнить этот двор, этот день, его тихую радость и скромную красоту… В любом случае выйдешь из калужского дворика размягчённым и просветлённым.

Так что, можно сказать, вся наша Калуга, какой она предстаёт внимательно-восхищённому взгляду, есть единое и гармоничное лирическое произведение.

А вот и подтверждение моих слов — цитирую искусствоведа Владимира Обухова: «…калужская живопись чаще всего тяготеет к лиризму». «Может быть, потому, что изначально поэтичен сам «художественный материал»: города, похожие на сады; камерность, а вместе с тем и безграничность среднерусской природы. А возможно, сказывается столь же извечное стремление русских людей «раскрыть душу» (идиома эта вряд ли переводима на какой-либо европейский язык)».

А космизм? Разве не удивительно, что это направление русской философской мысли связано именно с Калужской землёй? Два его родоначальника, Циолковский с Чижевским, жили и трудились в Калуге. Но ведь и третий знаменитый «космист», Николай Фёдоров, — обитал неподалёку, в Боровске (тоже, кстати сказать, неповторимо-лирическом городе).

Что есть, по сути, космизм? Это ощущение живой, гармонической связи всего со всем: цветка со звездой, капли воды с океаном, человека — с целой Вселенной. И это, по сути, лирическое состояние: когда поэт открывает нам свою душу — он беседует и со всем мирозданием. Так что каждый истинный лирик — «космист», как и каждый философ, разделяющий идеи космизма, не может не быть по строю души поэтом. Недаром один из великих «космистов» — поэт Заболоцкий, и недаром один из научных трудов Александра Чижевского называется как поэтический сборник: «Земное эхо солнечных бурь».

Но у нас есть и своя собственная, уже чисто калужская, школа «лирического космизма». Речь об АКАНИС («Академии аналитического искусства»), созданной художниками в 1991 году. Президентом академии был избран Пётр Петрович Козьмин, а вице-президентом Владимир Михайлович Обухов. О космическом размахе организации можно судить по ряду её решений. Так, академия признала неправомерным и юридически ничтожным закон гравитации: ведь он противоречит принципу свободы передвижения, закреплённому в Конституции России. Было также решено считать Калугу столицей Солнечной системы. В состав академии был принят и марсианин, арт-объект по имени Ауи Оуо.

Так что, как вы понимаете, калужская лирическая школа возникла не на пустом месте: у неё имеется весьма почтенная и весёлая родословная.

Неплохо бы написать и о расширениях калужского облака. Так, иногда лирические пары сгущаются над старинным селом Кольцово: туда в гости к Александру Трунину и Ольге Клюкиной в «Домик творчества имени Беликова» приезжают их друзья из Москвы и Калуги и продолжают лирические пиры.

Кольцово и само по себе удивительное село: чего стоит одна скульптура купальщицы перед местным Домом культуры! Но ещё удивительнее та часть Окской долины, что расположена неподалёку. Её называют «Калужско-Алексинским каньоном» — и, честно скажу, прекраснее мест я не видел, хотя походил и поездил по белому свету немало. Всё здесь восхищает: и сама Ока, по которой там-сям плещет рыба и над которой носятся чайки, и крутые её берега в дубравах, берёзовых рощах и грубых выходах известняка (самый известный из них, «Любовец», поразительно напоминает каньоны Крыма), заливные луга и песчаные пляжи — всё это кажется мне эталоном российской природы. И, если бы встала задача показать какому-нибудь инопланетянину (тому же марсианину Ауи Оуо, почётному члену АКАНИСа), что такое планета Земля — но показать на примере одного-единственного пейзажа! — я выбрал бы берега Оки близ Кольцово.

А литературный конкурс-пленэр, состоявшийся в Богимово осенью 2020 года? Ведь это, представьте себе, был первый литературный пленэр в мире! И, как некогда художники-барбизонцы во Франции вынесли свои мольберты из пыльного сумрака мастерских на солнце и воздух — так и калужские литераторы решили писать не в тиши кабинетов, а в сентябрьском яблоневом саду. И не просто в саду, а в том самом месте, где целое лето жил и работал Чехов.

Сначала была жеребьёвка: все участники литературного состязания тянули бумажки с названиями чеховских рассказов, которые и должны были стать темой их импровизаций. Потом все расселись под деревьями богимовского сада, вблизи знаменитого «дома с мезонином» — а день был чудесным и тёплым! — и часа полтора сочиняли: каждый своё.

Чтобы не забыть, перечислю героев этого уникального лирического события. В пленэре участвовали Александр Трунин, Ольга Клюкина, Вячеслав Некрасов, Марина Улыбышева, Дмитрий Кузнецов, Инна Теплова, Игорь Красовский, Юрий Холопов, Владимир Кормильцев и автор этих строк. Победил же, и совершенно заслуженно, Вячеслав Некрасов: его очерк из жизни художников собрал больше всего голосов жюри, состоявшего всё из тех же участников состязания.

Но даже важнее литературных этюдов — написанных в прямом смысле слова на коленке — было ощущение радостной лирической атмосферы, в которой мы жили эти часы. И, если представить себе, что существует где-либо писательский рай — возможно, он очень похож на осенний богимовский сад, в котором Музы порхают вперемешку с дроздами и зябликами и где винный дух яблочной паданки кружит головы вдохновенных творцов…

Не забыть о «цветущей сложности». Автор термина, кстати, тоже наш человек: калужский помещик и самобытный мыслитель Константин Леонтьев.

Не хочется, чтобы читатель подумал: раз «школа» — значит, все в ней подстрижены под одну гребёнку, ходят в казённом форменном платье и хором скандируют тривиальные истины. Вот уж нет: ещё поискать столь же разных поэтов, как калужские лирики!

Разве можно сравнить, скажем, сказочный мир Вячеслава Некрасова, полный ёжиков и светлячков, — с часто горькими стихотворениями Марины Улыбышевой? Или классический строй строк Александра Трунина — с нервными ритмами «стихопрозы» Игоря Красовского? Но и то, и другое, и третье — настоящая лирика, то есть душа поэта, воплощённая в его словах.

В приложении под названием «Персоналии» я попробую вкратце обрисовать тех, кто входит (на мой, разумеется, взгляд, неизбежно пристрастный) в так называемую «калужскую лирическую школу», и там же попробую показать, насколько калужские лирики непохожи один на другого.

Но ведь и облако состоит из мельчайших водяных капель (своего рода жемчужин), которые существуют раздельно, хранят суверенность — но тем не менее пребывают в едином пространстве и подчиняются единым законам. Так и поэты: они при всей разности образуют живое единство. Все, в конце концов, думают, пишут и говорят на одном языке, чтут традиции поэтической речи (модернизм, а тем более постмодернизм не очень-то популярны в нашей Калуге), они уважают талант — как свой собственный, так и собратьев по цеху — и они пишут стихи не ради сомнительной славы (которая, как известно, всего лишь «яркая заплата на ветхом рубище певца») — а просто-напросто, потому, что без поэзии они не способны существовать: воздух лирики есть единственный воздух, питающий их.

Приложение 1

«Персоналии»

Ирина Абрамова была больше известна — и калужанам, и москвичам — как исполнительница песен на собственные стихи. Но даже лишённые магии голоса и гитары, её стихотворения продолжают жить, являя нам драму страдающей и одинокой души.

Меня ещё не нарекли.
Меня ещё в помине нет.
Но в отдаленье от земли
Уже пульсирует мой след.
Не знаю я, кому черёд
Уж уготован — мне навстречу.
Не знаю я, какой народ
Меня своей научит речи.
Не угадать мне наперёд,
Желанно ль там моё вторжение.
Но только чувствую, как жжёт
Неотвратимое рожденье.

* * *

Дружок, ведь ты меня не любишь,
Не любишь, чёрт тебя возьми.
Так что ж ты около дрейфуешь?
По ветру парус поверни.

Плыви — да скатертью дорога.
Не привыкать тебе к волнам.
Когда пробоин будет много —
К моим прибьёшься берегам.

Ах, да! Отплыть мешает якорь.
Он врос в моё живое дно.
Руби канат — не время плакать —
Пока борта не разнесло.

* * *

В ночном вагоне — только я.
Сошли попутчики давно.
С моей усмешкой на меня
Глядит зеркальное окно.

А те, кто ехали со мной, —
Как долго пялились они
На плащ с оборванной полой
И на худые сапоги.

Сказав себе: ты не горюй, —
Напрасно слёз не проливала
И под иудин поцелуй
Второй раз губ не подставляла.

И я прощаю всех с лихвой,
Нет больше станций впереди.
Они, кто ехали со мной,
Давно остались позади.

Умные, тонкие, искренние стихотворения *Маргариты Бендрышевой* — своего рода лирический дневник, в котором поэзия вырастает из самой что ни на есть прозы будней.

Скептический сонет к Новому году

Упрямое сердце ещё не знобило,
мне кажется, я — Несмеяны родня:
её удалось рассмешить, а меня
должны удивить, чтобы я полюбила.

Поэтому я и не жду Новый год,
он вовсе не новый, он — старый, он прежний,
повадка, походка, фигура, одежда,
всё тем же поманит, всё так же солжёт.

Мне сладки иные чудесные встречи:
и первого ливня свободные речи,
и первого снега блаженная тишь,

и неба извечный торжественный праздник…
О, сколько у жизни подобных соблазнов!
Так чем ты меня, Новый год, удивишь?

В марте

У зимы что ни слово — то колется,
Что ни взгляд — неприступно суров.
А весна забегает любовницей —
Только днём и на пару часов.

Рассыпает капельную, дробную,
Пустяковую, лёгкую речь.
Снег сползает с домов наподобие
Палантина, скользящего с плеч.

Но весна не желает быть узнанной,
Второпях прибирает следы.
Вновь под вечер ледовыми узами
Крепко скованы руки воды.

Одуванчик

Лету ситцы к лицу,
всё милее узоры, всё проще.
Ветер ловит пыльцу,
тяжелеют пчелиные ноши.

Прямо в солнце глядят
Одуванчики, ясные очи,
с неба взор отводя
только к ночи, мой друг, только к ночи.

Так всю жизнь бы и мне
на земле золотисто-зелёной

ничего не уметь,
лишь смотреть, да смотреть изумлённо.

Мир велик, и навряд
я что-либо более значу,
чем восторженный взгляд —
одуванчик, мой друг, одуванчик.

Строгая чистота стихотворений *Дарьи Вавиловой,* одной из самых молодых представительниц калужской лирической школы, вселяет надежду на то, что родник калужской поэзии не иссякает.

Холодная река меж тусклых берегов —
Ей хочется уснуть, но время не настало
Забыться до весны средь ледяных оков,
И движется вода привычно и устало.

Теперь закон ветров бесчинствует в полях,
Припали небеса к исхоженным дорогам,
Тоскуя, может быть, о вечных журавлях,
Плывущих над землёй задумчиво и строго.

Но воздух опустел, прозрачный и немой,
Как будто задержал дыханье перед снегом.
Я тоже не жила, не встретившись с тобой, —
Земля перед дождём, бегун перед забегом.

Застывшие леса похожи на рассказ
О том, как оборвут предзимье снегопады,
О том, что смерть — лишь сон, и мне б ещё хоть раз
Услышать голос твой — а большего не надо.

* * *

Когда-то мальчик загорелый
С копной соломенной своей
Казался девочке несмелой
Прекрасней принцев и князей.
Они в манерах безупречны
И манят блеском эполет,
А он весь день провёл на речке
И чинит свой велосипед.
Они всегда к её услугам,
Готовы честь и жизнь спасти —
А он ушёл к своим подругам,
И снова им не по пути.

И всё же, всё же… Воздух летний
Наполнен истиной простой:
Любовь должна быть неприметной,
Последней, первой, безответной,
Какой угодно — но живой!

* * *

Давайте о вечном: взгляните налево —
Там птицы летят в бесконечное небо.
И сразу потом посмотрите направо —
Там реки, озёра, поля и дубравы.
Случайно ли гаснущим с возрастом взглядом
Вдали будем видеть мы лучше, чем рядом?
Там будут, конечно, другие масштабы:
И вечного много, и малого мало.
А всё-таки жаль, если мы не заметим
Того, что всегда открывается детям:
Что муха уснула, пригревшись на солнце,
Что вылез подснежник в саду у колодца,
Что ветер на Пасху не трогает свечи…
Давайте сегодня не будем о вечном.

Добрейший *Валентин Волков* при встречах очень любил обниматься. Но и сейчас, когда его с нами нет, лирические объятия поэта словно продолжаются строками стихотворений. И уж точно останется на века его знаменитая «Эпитафия»:

Я в жизни никому не сделал больно,
Одной лишь девушке — и та была довольна.

* * *

По долгим разливам осенних закатов —
то утки с печалью, то стая грачей.
То дума за думой. То дата за датой —
и жизнь промелькнёт,
и заплачешь над ней.

И спросишь себя: для того ли родился,
чтоб этого пламени зреть торжество?
Сгореть,
когда только лишь в мире обжился?
И скажешь себе: для того…
для того …

Туманы осени

Туманы осени,
пронизанные стужей,
который день толпятся у дверей.
Смешно трубит из них рожок пастуший,
И на душе от этого теплей.

Туманы осени. Работа увяданья.
В таких туманах не бывал давно.
Не потому ли падает сознанье,
как рыба перед холодом, на дно.

Блестит роса, и ноги зябнут люто,
и моросью осыпало всего.
Как сквозь стекло туманного сосуда,
смотрю сквозь стенки тела своего.

В природе
ни вопроса, ни ответа.
Опустошённая, лежит без сил.
Обидно думать — столько было лета,
а я о нём и вспоминать забыл.

Обидно знать — ведь каждый холмик малый
наполнен жизнью детства моего,
а я иду, как пилигрим усталый,
по ним,
не ощущая ничего.

Что сделалось со мной под отчим кровом?
Простые радости мои, где вы?
Хрипит ворона.
По стволам сосновым
бьёт дятел, не жалея головы.

Передо мною сто шагов дороги,
сама дорога —
за туманом вся.
Сквозь все мои туманные итоги,
о, выведи меня, моя стезя.

Пусть будет так,
что по полям и рекам,
по улицам разворошённых сёл
я здесь прошёл не просто человеком —
поэтом родины своей прошёл.

Скорей бы снег!..

«Стихопроза» *Игоря Красовского* виртуозна по ритмам и рифмам — и при этом хранит свежесть детского восприятия мира.

альтернатива

Усатый предприимчивый шашлычник
готовит мясо. Старенький мангал
блестит надраенный. Сегодня необычно
навязчив аромат. Никто не устоял
из посетителей кафе. Легко под пиво
для пап потеющих, под сок для их детей
и жён расходится шашлык. Вокруг красивых
наряжённых людей полно. К обеду опустеть
успели тесные квартиры. В них тесниться
не хочется. Погодка удалась
у уличных скульптурных композиций
сниматься вместе, будто в первый раз
их обнаружив. Множество открытий
ждёт часа своего. В такие дни
из связки самый ГРОМКОговоритель
транслирует мелодии — они
воскресное гуляние народа
сопровождают, благостный настрой.
поддерживая в нём. Пока культурен отдых,
сотрудники патрульно-постовой
по театральной тумбе изучают
репертуар сентябрьский. Пока
цензурна речь, пока часть небольшая
гуляющих «постописят» никак
себя не проявляет, ловко прячась,
продлится праздник, выданный на всех,
пока воздушные шары из рук ребячьих,
как настоящий фейерверк взмывают вверх.

Игра

Под выгоревшим конусом гриба
В песочнице ударная бригада
Чумазых разновозрастных ребят
Ладонями трамбует автостраду.
Я с детских лет не трамбовал таких —
По ней легко на тоненькой верёвке
Потянется колонна грузовых
Автомобильчиков к далёкой остановке,
Где выкопан огромный котлован

Стараниями маленьких совочков,
А к вечеру по плану будет сдан
В эксплуатацию микрорайон Песочный.
Откроется конфетный магазин,
Через дорогу — зоопарк и школа.
Осталось только довообразить
Большую жизнь счастливым новосёлам.

Степняк-хакас, плотогон и табунщик *Михаил Кузькин-Воронецкий* был, по сути, эпическим лириком: именно это определение подходит к его «степным» стихотворениям. «Я азиат, потомок азиата, молившегося Будде и коню…» — писал он о себе. Но и калужскую землю, где он прожил бо́льшую часть жизни, поэт воспел глубоко и сильно.

Всадник

Стоит он на кургане — всадник;
волос охапка — по плечам.
А степь мертва, но и отрадна
его душе, его очам.

Чабан? Но где его отары?
Пастух? Но где же табуны?
Лишь стелется ковыльник старый
да горы в дымке чуть видны.

Стоит он на кургане — всадник —
среди камней, среди травы.
Степняк в посадке виден ладной,
в наклоне чёрной головы…

Нагайку ветер чуть качает…
Стоит, забыв жену, жильё, —
влюблённый в вечное молчанье
и в одиночество своё.

Ливень

Он взялся в ночь.
Навсхлип у окон плакал.
Шарашился за стенами вокруг.
И по дороге шлёпал, как собака,
С цепи сорвавшаяся вдруг.

Он лил всю ночь спокойно и упорно,
и мглой дышала мокрая земля,
на прежнюю и будущую
чёрной
стеною ливня
жизнь мою деля.

Во сне всполошно вскрикивали птицы…
Какая ночь — вовек не позабыть.
Вот жаль — в такие ночи мне не спится…
Не спится, да и всё — и как тут быть? —

Зато к утру скользнёшь из-под навеса —
охватит разом с головы до ног
натёкший из раздевшегося леса,
ничем не замутнённый холодок.

В глаза прольётся сразу столько света,
что навсегда охватишь в миг один
всё разноцветье вянущего лета,
осеннюю пространственность равнин.

Длинны, как жизнь, дороги полевые,
и так далеко видно всё вокруг,
как будто вся осенняя Россия
перед тобою распахнулась вдруг.

* * *

Наглотавшийся пыли и зноя,
я с шоссе на просёлок свернул,
и, как волны реки за кормою,
расходился над пашнями гул.

Но молчали стога, и молчали
в стороне у деревни плетни…
И в полях я не видел печали,
хоть и вроде б печальны они.

Пахло спелой травой и садами.
Были руки мои горячи.
Где-то там, далеко за стогами,
Предотлётно кричали грачи.

Я подумал о хлебе, о квасе
и под стогом упал на стерню,

и поклялся до смертного часа
быть обязанным этому дню…

Мне сегодня открылось впервые:
среди благ, что нам в жизни даны
только эти пространства пустые
не имеют на свете цены.

Просветлённый отлётом грачиным,
я сподобился нынче понять,
что лишь эти стога пред кончиной
я хотел бы увидеть опять.

Большой русский поэт *Станислав Куняев* известен, конечно, далеко за пределами Калужской земли. Но истоки его вдохновения именно здесь, на берегах Оки.

Там, где река свершает поворот,
размах весны, её слепая сила
в ночь половодья почерневший лёд
со скрежетом на берег взгромоздила.

А чуть повыше — камень у тропы,
где бьёт родник, и все его изгибы
повторены изгибами травы,
прорезавшей истаявшие глыбы.

Уже мелькают жёлтые цветы
среди сухой травы на южном склоне…
Я сел на камень. Зачерпнул воды
и не спеша напился из ладони.

Родник прошёл сквозь глины и пески,
в нём было столько талого дыханья,
что защемило сердце от тоски
и радости случайного свиданья.

Когда-то мальчик, переплыв Оку,
в погожий день июня или мая
по солнцепёку плёлся к роднику,
от жажды и жары изнемогая.

Он так любил, склоняясь к земле сырой,
глядеть, как пульс её бесшумно бьётся
и как песчинок золотистый рой
на вертикальных струях нежно вьётся.

Золотая аллея

Я приеду,
в гостинице номер сниму,
выйду в город,
пройдусь, ни о чём не жалея,
но взгляну: Золотая аллея в снегу!
и опомнюсь: в снегу Золотая аллея,
где когда-то под музыку липы цвели,
распускались пионы
созвездиям навстречу
и мелькали огни сигарет, как шмели,
а какие, какие тут слышались речи!
А теперь тишина.
Неожиданный снег
до весны завалил Золотую аллею,
где давно потерялся мой голос, мой смех,
тот, которым смеяться уже не умею.
А под осень, под осень шепталась листва
и внезапно взлетала, как жёлтая стая,
в час, когда вдоль аллеи свистели ветра…
Потому и прозвали её Золотая.

* * *

Так же будет струиться Ока,
так же будут собаки и дети
собираться в тени лозняка
и в моём, и в грядущем столетье.

Так же будет усыпан людьми
луг, меня прокормивший когда-то,
потому что в нелёгкие дни
есть спасенье — земля и лопата.

Так же будут хмельные друзья,
разомлев от вина и теплыни,
понимать про себя, что нельзя
не любить эту горечь полыни.

Так же, как в золотые деньки,
я бреду, словно вечный заложник
этих мест, где летят мотыльки
на бессмертник и на подорожник.

«Я на правильном белом живу речевою ошибкой», — писала о себе *Светлана Львова.* Такой вдохновенной свободы, такого полёта слов и звуков в поэтическом мире Калуги ещё не встречалось.

Базар

Праздник мой первый — Верхний базар…
Первый чертог мой и первый укор.
Мной не заслуженный дар, и разор
взгляду, а горлу немоты глоток —
шарканье нежное стареньких ног
по полу крашеному в дому —
да прочь — да по сердцу моему…

После крещения первый обряд…
Ряд небесный — калашный ряд.
Поздним извозом по всей земле
запах навоза, крик журавлей…

Вот у щербатой стены богатырь
ножиком гладит напильник.
Ох, шапито, шапито, шапито!
Палевый шок и опилочный шёлк…
Да, всё течёт, и печёт, и влечёт
бабушкин сгорбленный кремовый пыльник —
ах, всё не то, всё, не то ах ещё —
пыль и полёт — и поёт
голос шершавый, поросший быльём:
«Старьё берём…»

Память о жертве

Я — блудная дочь отгороженных мне времён,
любимая наспех и накрест — всегда чужими,
бредущая мимо, не помнящая имён —
своё, как клеймо, навсегда выжигаю имя
на лбу твоём, ветер, стремящийся прочь — туда,
где кончились звёзды и падают города.

Там внук Авраама на хижину ладит дверь.
Он ходит, как время, а мне говорит: не лги —
и смотрит печально, как будто дитя иль зверь —
и пахнут зерном винограда его шаги…

Мы схожи друг с другом ненужностью: ер и ять.
Мы крестиком медным звеним в виноградном сне,
гадаем о звуке, который нельзя разъять
и лёгкое небо синице сулим по весне —
так бредят хвоинки в предутреннем костерке…
Но слово простое немеет в чужом языке.

Зерно прорастает, собой замыкая круг.
Мы — дети зерна — тянем руки и светим кожей…
Детёныша скорбного времени кормим с рук,
а кровных детей оставляем земле прохожей…

Мой брат, мой ребёнок, похожий на старика,
раскосой слезинкой, коснись моего языка,
прости мне колючие звуки, что пьёшь с молоком,
и голые руки, и горечь под языком.

Очаг разгорается, пыжится дух пирога,
а звук оставляет на времени ржавую мету…
Не все ещё голуби выплеснуты с чердака,
и краешек утра звенит золотой монетой —
но в медные трубы трубит на холсте огонь,
и медленной медью просвечивает ладонь…

Я песню чужого огня назову на Вы,
скрипучую узкую дверь распахну чужим.
Я хлеб замешу из колючей сухой травы,
чтоб агнец, убитый тобою, остался жив.

Несомненно, что *Вячеслав Некрасов* — один из столпов калужской лирической школы. И отобрать несколько стихотворений из россыпи его лирических шедевров — всё равно что выбрать всего несколько жемчужин из полного сундука драгоценностей.

Мужики

Виктору Кремлёву

Один мужик дрова привёз,
Другой привёз навоз.
Я огурец воткнул меж звёзд,
Чтоб он тихонько рос.

Один мужик мне рассказал,
Как рану излечить,
Ну а другой идею дал,
Как лучше жизнь прожить.

Один мужик, другой мужик…
И третий мужичок
Учил с женой нормально жить,
Как бывший морячок.

А огурец меж тем возрос
В серьёзной, умной мгле.
Меж крупных звёзд,
Добротных звёзд
На маленькой Земле.

Фью-фью!

В садах ноября

Мы выпускаем кур с тобою
В зелёный сумрак ноября,
Под строгой маленькой звездою
О столь немногом говоря.

Вопросы мирной сельской жизни
Нас занимают день и ночь.
Природа милая Отчизны,
Ты не могла бы нам помочь?

И зверобой, и одуванчик…
Как много ценного всего!
Мечта! Мечта моя — кабанчик!
Я б любовался на него.

А куры движутся умело
В холодных травах ноября,
Без снов, без мыслей — быстро, смело,
Огнём немножечко горя.

Мы выпускаем их с тобою
В холодном сумраке садов…
Я ухожу своей тропою,
Типичный добрый птицелов.

Август

Летящие нити, и кони седые,
Грубеющей тканью — тяжёлые травы,
И пух иван-чая, и свет на ладони,
И свет над полями, и зелень отавы.

И всё это слито в немую картину,
В туманной олифе осеннего солнца:
В репейнике лошадь, косматая грива,
И стебель стеклянный, и отсвет оконца.

Вздыхать или охать могу бесконечно,
Идя в длинных травах пред долгой зимою.
Всё это невечно, всё это невечно!
И всё это впитано, впитано мною…

Клонитесь, клонитесь, тяжёлые травы,
Летите, пушинки, трещите, заборы,
Горите под солнцем, златые оправы,
Смотрите, о жёны, с разумным укором.

Женщина и полдень

Только в предчувствии осени
Кошка лежит на спине,
Там, где вы тапочки бросили
И пребывают оне.

Там, где вы книгу оставили,
У голубого пруда.
Штору в окне не поправили,
На пол просыпали льда.

Как хорошо — не стремительно,
А призадумавшись чуть,
Вам совершать ослепительный
Послеполуденный путь.

Как это важно — быть занятым
Мудрым осенним трудом:
Радостно, тихо и правильно
Ягоды мыть над прудом.

Владимир Обухов, недавно оставивший нас, — как поэт долго находился словно в тени себя же самого, уникального искусствоведа, оригинального художника и глубокого мыслителя. Первая книга его лирики вышла к 60-летию автора! Кроме того, Обухов был создателем и бессменным вице-президентом той самой «Академии аналитического искусства» (АКАНИС), которая распространяет излучение калужской лирики во все пределы Вселенной.

* * *

Искусство взрастает из тайны —
уж так на земле повелось.
Большие удачи случайны.
К успеху идут — на авось.
Не верьте в надёжность приёма,
а верьте в слепую игру.
Бездарность солидно весома,
а Пушкин — как пух на ветру.
И только за неким пределом
игра обретает итог —
и слово становится делом,
и Словом становится Бог.

* * *

Весь город словно бы взлетел
над шевелящимся туманом,
весь накренился, а затем
весь воссиял в просторе пьяном
от золотистого вина,
рекой пролившегося в реку…
Мгновенный вид! Но как нужна
мгновенность эта человеку:
становится небесным быт,
когда вдруг от восторга таешь,
и кажется, что всё — летит,
и кажется, что сам — взлетаешь.

* * *

Славный день! — так пораньше раскроем
занавески оконные, чтоб
насладиться торжественным строем
драгоценных калужских трущоб —
и увидеть, как быстро над светло-
жёлтой каменной рощей веков
волокут вороватые ветры
золотое руно облаков.

Валерий Прокошин — ныне один из самых знаменитых поэтов Калужской земли. После его безвременной кончины проводится даже фестиваль «Прокошинфест». Интересно, как бы сам Валера, всегда так легко и остроумно шутивший, отнёсся к собственной запоздалой славе?

* * *

Провинция.
Свечи огарок.
Тяжёлый снег, деревьев тени.
Среди оград, среди оградок
Стыл вечер, павший на колени.

Уже вдали зажгли звезду
И особачились собаки,
Подсказывая в полумраке
Неразличимую версту.

Провинция ночных прохожих,
Друзей уснувших и уставших
От суеты и дней похожих,
И от снегов, с небес упавших.

Ещё страданья далеки,
Ещё до пробужденья вечность.
И лишь стучат про человечность.
Бездомные товарняки.

Провинция.
И детский лепет
То сплошь про быт, то сплошь о мудром.
Здесь судьбы кто как хочет лепит
Из снега, выпавшего утром.

* * *

чтоб каждая тварь свою жизнь начинала с нуля:
с затрещины Бога, с падения яблока в руки,
изгнания, с крика «земля!», с непотребного бля,
с Москвы, Риги, Тмутаракани, Парижа, Калуги,
оргазма, с больничной палаты, тюремного ша,
с дороги, которая к вечному Риму, вестимо,
чтоб каждая тварь, у которой под кожей душа,
и варварский сленг, и почти примитивное имя,
ментальность, харизма, дурные привычки, как встарь,
способность к предательству, преданность делу и слову,
и слёзы, и ангельский стыд, чтобы каждая тварь,

которая названа как-нибудь, где-нибудь, словно
последняя тварь, свою жизнь начинала с нуля —
по Цельсию, по Фаренгейту, и выше: с былинки,
с куста и креста, колокольни, с церковного ля,
с видения отроку Варфоломею в глубинке,
с отца Никодима, что жизнь положил на алтарь
под Боровском, с тайной вечери, распятия или…
чтоб каждая тварь, чтобы каждую божию тварь
любили, любили, любилилюбилилюбили

Бабочки

Осыпается цветной пыльцой под пальцами
Жизнь, наполненная ангельскими танцами.
Позовёшь — никто из детства не откликнется,
Но по-прежнему, как много лет назад,
Обжигает первой нежностью Крапивница,
Увлекая за собой в апрельский сад.

Голоногие, как мальчики нерусские,
Рассыпаются кузнечики июльские.
Боже, твой сачок не раз ещё опустится
До земли, накрыв молитвою меня:
Шоколадница, Лимонница, Капустница —
Падших девочек земные имена.

Солнце катится под горку спелым яблоком,
Я никак не научусь семейным навыкам:
Утром — чай, в обед — омлет, на ужин — ряженка,
Смех соседки из квартиры угловой…
И порхает одинокая Монашенка
Над седеющей моею головой.

Расцветает ночь чернильно-папиросная,
Словно жизнь — чужая, злая, несерьёзная.
Тень бессонницы, в окно влетев, куражится —
Вышивает чёрным крестиком, шутя.
Это Траурница, папа… это стражница
Вещих снов, посмертных слов, небытия.

Благодаря поэту и издателю *Владиславу Трефилову,* в смутные годы конца прошлого века появилось на свет несколько поэтических сборников калужан — что укрепило основы калужской лирической школы. Но и его собственные стихи являют нам настоящую и самобытную лирику.

* * *

Когда погаснет свет небесный,
сойдутся тени за окном
и станет сумрачно и тесно,
и тихо в домике моём, —

я выскользаю в сад, неслышим,
где соловьи, как скрипачи,
где глянцевые листья вишен
несмело светятся в ночи.

Где мир не спит; заворожённый,
он притаился, замер вдруг,
как будто слышит звёздный шёпот,
как будто видит всё вокруг.

И я, минуты этой редкой
дождавшийся за долгим днём,
сам становлюсь листом и веткой,
звездой в ночи и соловьём.

И, шелестя в кустах, как ветер,
испытываю сам испуг,
всему сочувствуя на свете
и понимая всё вокруг.

* * *

Я хочу, чтоб в стихах моих были,
как на этом оконном стекле,
капли свёрнутой дождиком пыли
и предутренний свет на земле.

Чтобы небо в деревьях сквозило,
шмель кружился и липа цвела.
Чтоб слова этот мир отразили,
сохраняя прозрачность стекла.

Александр Трунин, называющий сам себя «тихим лириком», — непременно приходит на ум при размышлениях о калужской лирической школе. Ни Калуги, ни её лирики, ни поэтической школы, как эстафеты имён и поколений, уже не представить без классически-взвешенных трунинских строф, полных сдержанной радости и благодарности жизни.

* * *

Если выйдешь на улицу Ленина
и пойдёшь по ней медленно-медленно,
обязательно встретишь знакомого,
может, старого, может, нового.

А поскольку улица длинная
и не скоро ещё до площади,
может быть, ты встретишь любимую
из совсем недавнего прошлого.

Ах, какая родная улица —
Никуда не денешься — Ленина.
Здесь и Маркс гранитный сутулится —
в самом деле, немного ветрено.

Ну а может, встретишь случайную,
почему-то с утра печальную…
Обернёшься — уже не видно её.
Ах, какая улица длинная.

* * *

Сквозь февральскую серую вьюгу,
чтобы стало кому-то тепло,
кто-нибудь, позвоните в Калугу,
просто так позвоните… Алло.

Сквозь неявную жизнь, сквозь вопросы,
на которые брезжит ответ,
сквозь бездомные сны, сквозь белёсый,
ниоткуда струящийся свет,

сквозь последнее наше молчанье,
сквозь оправу, что ночи черней,
просто шёпотом, просто дыханьем,
просто музыкой — это верней.

После снегопада

Выйдет дворник с широкой лопатой
и очистит земные пути,
чтобы девочке маленькой с папой
хорошо было рядом идти,

чтобы женщина с трудной судьбою,
поутру в магазин семеня,
хорошо говорила с собою
о печалях минувшего дня,

чтоб старушка в цветастом платочке,
на вечерние щурясь огни,
хорошо вспоминала о дочке…
Святый Боже, спаси-сохрани.

* * *

За этот день, за этот город,
за этот небогатый дом,
за то, что ты уже не молод,
за неизвестное потом,

за бесконечное далёко,
за то, что рядом и внутри,
за каждое мгновенье ока
благодари, благодари.

Марина Улыбышева приехала к нам из Омска и сразу сделалась одним из первых поэтов Калуги. Её лирика может быть жёсткой, но никогда не бывает жестокой; «обрезь и жесть» стихотворений Марины всегда разрешается истинно поэтическим «выпрямительным» вздохом.

* * *

Над Сибирской равниной плывут облака.
Роет жёлтую глину стальная река.
Сеют кварц и слюду берега из песка.
Далека ты, Сибирь, далека.

Там мой пращур на чёрном коне не скакал
и равнинные земли её не пахал,
и луны круглолицей мертвецкий оскал
в чёрном небе с тоской не искал.

Но и я на суглинок её и песок,
На черлакскую пыль нижнеомских дорог,
на её азиатский, ковыльный восток
угодила, как беглый в острог.

Я ныряла в реки её радужный плен
и мазутные пятна стирала с колен.
Но оскомина диких ирги и малин
средь иных мне приснится равнин.

Моя родина! Сосен, янтарь и смола.
Ты зачем мою душу измором взяла,
Ветром выдула всю, лебедой иссекла,
солнцем выбелила добела?!

Я люблю тебя, словно добыча стрелу,
как лихой человек ночи горклую мглу,
потому и храню в самом дальнем углу
твоих призраков прах и золу.

* * *

Невнятное скопище свай.
Какие-то хамские птицы.
Угрюмые серые лица
Протащит разбитый трамвай.

И вновь — ничего. Только — звон,
какие-то громы и гуды,
киоски для сдачи посуды,
заплёванный, серый бетон.

А глянешь из окон квартир —
Заборы, помойные баки…
Бесхозные бродят собаки,
брезгливо взирая на мир.

А я — не собака. И мне
с любовью смотреть подобает
на то, что, срастаясь из плит,
в слезах умиленья не тает,
в горниле стыда не горит.

Ахейцы

Пока плыли по водам, удачу гадали по рунам,
рвали рыбу зубами, от гарпий спасали Финея –
истрепалось руно, у кифары полопались струны
и вконец изолгалась Медея.

Так бывает, когда, устремясь за мечтою мирскою,
ты готов бросить жизнь, словно кость, закружась в канители,
а когда схватишь ту, что желал, огрубевшей рукою,
то глаза б на неё не глядели!

Не за эту же дрянь мы тянули последние жилы,
рвали мокрые вёсла из моря и лезли из кожи!
Эта шкура овечья мне душу наполнить не в силах.
Эта жертва кровавая сердце очистить не может.

Так фальшивая нота зудит, достигая до слуха.
Так, купив жемчуга, опротивеет наряжаться.
Так Елена румянит лицо, превращаясь в старуху,
когда Троя взята и уже больше не с кем сражаться.

«Мужской портрет» – так назвал одну из своих книг *Юрий Холопов.* Да, его лирика очень мужская: это редкое качество в нынешнем, всё более бесполом и равнодушном к лирике мире.

* * *

Сорвалася с берёз птичья стая
И кружит, и кружит над селом.
Мокрый снег, на стекло налипая,
Оплывает холодным дождём.

Самый первый! Он лёг бестолково
На асфальт, под колёса машин,
И гнетёт дорогая обнова
Плечи хрупкие тонких рябин.

Словно вышел пустой, бесшабашный,
Наудачу затеянный флирт,
Где душа, представая отважной,
Навсегда выгорает, как спирт.

Где за страстью приходит усталость,
А за щедростью скупость бредёт.
Крохи жизни загублены. Малость?
А болит и забыть не даёт.

Печь затопишь, согреешь свой ужин,
Вспомнишь медленно прожитый год…
И уснёшь — мухи белые кружат,
И проснёшься — всё так же метёт.

* * *

Вот и стал одиноким я вновь…
За столом мой сосед молчаливый
С носом, словно из грядки морковь,
Тянет пиво своё терпеливо.

Дверью хлопает старенький бар:
Люди входят, и люди выходят,
И какой-то непризнанный бард
Тонким голосом песню заводит.

Кто-то плачет, а кто-то кричит,
Кто-то тычет в солонку окурок,
Кто-то звонко стаканом бренчит,
Называя судьбу свою дурой…

Не понять, то ли боль, то ли блажь
Порождает здесь песню и слёзы,
Где нередко, впадая в кураж,
Просят водки, как просят наркоза.

Ах, душа, мне понять бы тебя!
Почему тебе легче средь шума,
Когда ты, никого не любя,
Хочешь стать беспросветно угрюмой?

Иль спасеньем бывает порой
Затеряться в хмельном хороводе?..
Так смешно, что ты схожа с пивной:
Люди входят и люди выходят.

* * *

В раю настала ночь, но есть там и крапива…
И, обходя огонь склонившихся стеблей,
По тропке босиком ступаю боязливо,
Где кается в кустах июньский соловей.

То шаг, то полушаг, то трель, то лёгкий шёпот,
То обморок, то вздох, прерывистый, как стон…

И тёмная вода сквозь родниковый ропот
В ответ ему несёт чуть различимый звон.

И я в купель вхожу под благостные ивы.
Скользнув, плыву, лечу меж звёзд, как херувим.
И донный рыбий мир, таинственный, пугливый,
Глядит, как человек соединился с ним.

* * *

Здесь нет в природе грозного величья:
Река, холмы да рощи по холмам…
Но местности неяркое обличье
Даёт простор недюжинным умам.
И не диктует мыслям жёстких истин,
Душе — своих бунтующих стихий.
Знать, потому здесь ярче пишут кисти,
И глубже вздох, и праведней стихи.

Благодаря *Ольге Шиловой,* одним из лирических центров Калужской земли стал теперь и старинный Мещовск — известный как «родина русских цариц». Но быть родиной лирики, на мой взгляд, не менее важно.

* * *

Я поймала кузнечика слов твоих!
И пока говорил другой —
ощущала, как кроток, смиренен, тих —
он сидел под моей рукой.

Лишь немного ладонь мне пощекотал
и попрыгал чуть-чуть, слегка…
Он как будто об этом давно мечтал —
как мечтала моя рука.

* * *

Если влюбиться — то только в монаха.
Только в монаха нельзя.
Вот бы и мне как июльская птаха
Жить — замерев от Господнего страха —
в ласковой сини скользя…

Мошек ловить и чирикать на ветке…
Но для чего Ты, Господь,
дал мне смирять в усмирительной клетке
неусмиримую плоть?

* * *

Всё дождь и дождь, всё лужицы-озерца,
все огороды — хлюпкие болотца,
все бабочки исчезли и жуки,
все ягоды, что вызрели, осклизли,
и лишь лягушки счастливы и слизни,
и в междурядьях злые сорняки.

А я гляжу, как шлёпает спросонок
в сапожках и в цветном дождевике
соседский неулыбчивый ребёнок,
и правлю текст в своём черновике.

Благое у словесника занятье
в уме, на языке и под рукой:
сиди, живописуй себе ненастье,
а завтра, даст Господь, и летний зной.

Приложение 2

Глоссарий КЛШ

Адмирал — 1. Высшее флотское звание. 2. Бабочка с красно-чёрными крыльями. 3. Дружеское прозвище Дим Димыча Маркова, почётного председателя крымских лирических пиров.

АКАНИС — «Академия аналитического искусства». Создана в Калуге в 1991 году группой художников и искусствоведов. Решением АКАНИС Калуга объявлена центром Солнечной системы. Почётным членом Академии избран арт-объект, марсианин Ауи Оуо.

Арт-нуво («новое искусство») — художественная школа-студия в Калуге. Ведущий педагог — Вячеслав Некрасов, применяющий оригинальные традиционно-новаторские методы обучения. Одни из наиболее способных учеников — поэт Александр Трунин и прозаик Ольга Клюкина.

Ахлебинино — старинное село на Оке, родина поэта Юрия Холопова.

Бар «Мажор» — калужский бар в стиле «лофт», где периодически выступает с вокальными номерами поэт Марина Улыбышева.

«Белка» — 1. Пивная на улице Театральной, излюбленное место калужской литературной и театральной богемы. 2. См. также «белочка» (жарг.) — острый алкогольный психоз, одна из постоянно существующих угроз для представителей той же богемы.

Берендяковка — в прошлом ремесленная слобода, живописный прибрежный район Калуги.

Богимово — село в Ферзиковском районе Калужской области, где жил и работал (а также ловил карасей) А. П. Чехов летом 1891 года.

Богимовский литературный пленэр — первый в мире литературный конкурс-пленэр, состоявшийся в сентябре 2020 года.

«*Будка*» — ротонда на углу улиц Театральной и Дарвина, в которой вместе с семейством проживал будочник Мымрецов, герой знаменитого очерка Глеба Успенского.

Бушмановка — район Калуги, известный своей психиатрической больницей. Прекрасное место для жизни писателей.

Бушмановский овраг — живописная долина речки Киёвки, где создавались многие натурные этюды художника Владимира Арепьева.

Воскресенская улица — маршрут ежедневных прогулок поэта Вячеслава Некрасова.

Глассография — приём живописи по стеклу, применявшийся художником Петром Петровичем Козьминым.

Губернатор-взяточник: благодаря его злоупотреблениям в 1802 году на Калужскую землю ступила нога поэта (по совместительству министра юстиции) Г. Р. Державина. В результате многолетнего следствия от должности были отставлены как губернатор, так и сам Державин, что послужило во благо русской литературе: на покое в имении Званка поэтом было создано не только несколько лирических шедевров, но и трактат «Рассуждение о лирической поэзии и об оде».

«*Два поэта на одной кухне*» — 1. Легенда, повествующая о том, как на общей кухне Литературного института им. Горького столкнулись поэты Юрий Кузнецов и Николай Рубцов. Рубцов спросил: «А почему вы со мной не здороваетесь? Я гений, но я прост с людьми…» Кузнецов смолчал, но подумал: «А не многовато ли — целых два гения на одной кухне?» 2. Цикл передач телекомпании НИКА-ТВ, созданный поэтами Мариной Улыбышевой и Дмитрием Кузнецовым.

«*Девушка с зонтиком*» — фонтан в городском парке Калуги. Скульптура изящной девушки не раз похищалась, но её двойник всегда возвращался на прежнее место.

«*Домик творчества имени Беликова*» — летняя мастерская поэта Александра Трунина и прозаика Ольги Клюкиной, расположенная в селе Кольцово Ферзиковского района Калужской области.

Живопись — увлечение многих калужских литераторов. См. также стихотворение Н. А. Заболоцкого «Любите живопись, поэты…»

«Закатный человек» — самоопределение поэта Вячеслава Некрасова («Я комнатный, закатный человек — Какой рабочий руку мне пожмёт?»)

Закаты над калужским бором — зрелище редкой красоты.

Зелёный Крупец — старинная калужская улица. По одной версии, название происходит от слов «зелейный крупец», т.е. порох (здесь якобы располагались пороховые склады); по другой, диалектное слово «крупец» означает «источник».

Золотая аллея — 1. Липовая аллея в Калуге близ Березуйского оврага. 2. Одноимённое стихотворение Станислава Куняева. 3. Издательство, некогда руководимое поэтом Владиславом Трефиловым.

Енот — любимое животное поэтов Дмитрия Кузнецова и Вячеслава Некрасова.

«Калужский пряник» — традиционное лакомство, изготовлением которого был знаменит местный купец-кондитер Ларионов. Позднее известен, как «Калужский сувенир», вкуснейшее сопровождение медленных чаепитий.

«Калужским Сократом» называли самобытного мыслителя Всеволода Всеволодовича Катагощина, проживавшего в конце XX века на ул. Проезжая.

Каменный мост — двухъярусный виадук в римском стиле, одна из визитных карточек Калуги.

Космизм (в том числе «калужский космизм») — философское направление, рассматривающее человека в неразрывной и творческой связи со всем Мирозданием.

Кукушка — 1. Название калужского ресторана. 2. Героиня множества лирических стихотворений. См., например, «Песню низальщиц жемчуга» из сборника народной японской поэзии «Манъёсю» (VII–VIII век н.э.):

Кукушка, не томи меня тоской,
Дай нанизать мне этот жемчуг майский —
И, вместе с жемчугом,
Печальный голос твой…

Марина — имя, на удивление популярное в сухопутной Калуге. Наиболее известные из Марин, живших на Калужской земле: царица Марина Мнишек, жена обоих Лжедмитриев, и поэты Марина Цветаева и Марина Улыбышева.

Мечты Циолковского — помимо прочего, главный русский космист мечтал о межпланетных рейсах по маршрутам «Земля — Луна, Калуга — Марс».

«Мокрый ивовый куст над Окой» — то, за что писатель-лирик К. Г. Паустовский отдал бы все красоты Неаполитанского залива.

«Московский дворик» — хрестоматийная картина художника В. Д. Поленова, изображающая, скорее, типичный калужский дворик середины прошлого века.

Ограда калужского городского парка своим обликом повторяет ограду Летнего сада Санкт-Петербурга, про которую Анна Ахматова написала: «Я к розам хочу, в тот единственный сад, Где лучшая в мире стоит из оград…» Пример лирической переклички, одной из многих, какими полна жизнь Калуги.

Окраины Калуги: каждая по-своему интересна. Рыбаков привлекает южная, где протекает Ока, грибников или лыжников западная (там шумит сосновый бор), поэты-урбанисты могут черпать вдохновение в промзонах северной оконечности города, а людей, истерзанных жизнью, ждут на восточной: там расположена психиатрическая больница.

Ольговка — район обитания Александра Трунина и Ольги Клюкиной. Уникален тем, что нумерация домов здесь выполнена не в пространстве (как это бывает в большинстве нормальных районов), а во времени — по очерёдности сооружения зданий. Поэтому и разыскать дом Саши и Оли — задача не из простых.

«Падающий чеснок» — загадочный (и, возможно, одушевлённый) объект из стихотворения Вячеслава Некрасова: «Всё время падает чеснок Сквозь щель в моём столе…»

Палиндромы — стихотворные конструкции, которые читаются одинаково как слева направо, так и справа налево. Непревзойдённым виртуозом палиндромов был поэт, искусствовед и художник Владимир Обухов (см. его сборник «Нет стен»).

Памятники Циолковскому — то, чем богата Калуга. Один из них изображает учёного, сидящего во дворе своего дома, другой Циолковский стоит рядом с велосипедом, третий — с конструктором С. П. Королёвым, четвёртый — с космической ракетой. И это, не считая многочисленных бюстов, настенных росписей и барельефов.

Поэт — Вячеслав Некрасов любит повторять восточную мудрость: «Благословен день, когда встретил поэта…»

Рыбная ловля — излюбленное занятие поэтов Александра Трунина и Юрия Холопова.

Синий зонт — устройство, под которым во время пленэров скрывается от солнца и дождя живописец Владимир Арепьев (см. «Бушмановский овраг»).

Тарусский гусь — 1. Пивоварня в Тарусе. 2. В форме множ. числа («тарусские гуси») — птицы, мешавшие жить героине стихотворения Н. А. Заболоцкого «Городок»:

…Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе!

«Тихий лирик» — самоопределение поэта Александра Трунина.

«У енота и феи» — нерегулярное литературное кафе, в котором время от времени проходят «квартирники» творцов и поклонников калужской лирики.

Фея — Марина Улыбышева.

Хирвости — не ругательство, а деревня под Петербургом, в которой жил и творил поэт Вячеслав Некрасов.

Чёрный бушлат — зимняя одежда, характерная для поэта Вячеслава Некрасова (см. его зарисовку «Деревня сушит чёрные бушлаты»).

Шляпа Гоголя. Калужане хранят предание о том, как шляпа, слетевшая от порыва ветра с головы Н. В. Гоголя, оказалась сначала в луже, а затем, в качестве почётного экспоната, в книжной лавке купца Антипина что в Гостиных рядах.



Владимир Геннадиевич Лущиков (1949–2016) родился в Кировской области. Детство провёл деревне Старое Селиваново Ферзиковского района Калужской области. Окончил Калужский коммунально-строительный техникум, несколько лет жил в Новгороде. Вернувшись в Калугу, работал на заводе, писал прозу. В 1993 году вышла его единственная книга «Крик чибиса» (второе издание в 2025 году), высоко оценённая коллегами и читателями.

ПОЭТ И НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА

Источники поэзии неисчерпаемы, время бессильно перед ними. Поэтому о Пушкине за двести лет высказано ещё не всё.

Спутница последних шести лет его, Наталья Николаевна Гончарова, стихов всерьёз не сочиняла, и, казалось бы, женщину не из гениев за два века можно описать до мелочей.

Однако! Никак потомки не придут к согласию.

Что-то там оставлено для нас, клад некий духовный, непонятный, нужный и в XX веке, до сих пор до конца неисчерпанный.

Значит, с поэтом рядом была непростая женщина. Простой — он без надобности.

У гениев не как у нас. И Наталья Гончарова для Пушкина, конечно, не только жена.

Сам он видел её как идеал небесной красоты, преломившийся в женщине и оказавшийся с ним. Большего желать нечего.

…Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

И хоть позже познал поэт немалую ревность, не было в нём никогда двойного мнения о ней — ни друзьям, ни в письмах, ни в стихах.

Это не былая Анна Керн, «гений чистой красоты», о которой тут же, в те же михайловские дни, он пишет в частном письме: «…наша Вавилонская блудница, Анна Петровна…»

Прежде Пушкин хорошо знал одну Россию — ту, что была с ним все лета неуёмной молодости. Но вот явился его душе и иной облик России в лице

Натальи Гончаровой, ещё не испытанный, мало знакомый — ведь переменилась его жизнь. Не только жена — новый лик России.

И потому вначале важен сам край, откуда родом жена Пушкина. Ибо ничего случайного нет на земле. Человек всю жизнь тонко соединён с краем детства.

Каждый знает близкие, трогательные отношения поэта с Михайловским.

Меньше известна связь Пушкина с тем русским краем, где жена его провела года детства, позже — немногие счастливые летние недели вместе с Пушкиным и, наконец, два самых трудных, траурных для неё года после его гибели.

Берег реки Суходрев, Полотняный Завод, Калужская губерния…

Душа щемит при одном упоминании об этом крае. Сердцевина русской земли, конечно, не только эта губерния. Рядом Орловские, Смоленские, Тульские, Рязанские, Тверские земли — под стать ей и суть одно. Величия всех этих мест хватило стольким орлам нашей литературы в прошлом и хватит в будущем.

Здесь не умирала история — трепет её слышится повсюду. И цветение нашего дня, и дыхание будущего — всё едино, ничто не выпадает, куда бы ни потянулся взгляд: на купол церковной колокольни, на звезду братской могилы, на летнее разнотравье, на девичьи голубые изгибы тихих равнинных рек. Здесь всё, что должно знать, помнить, чувствовать и любить человеческое сердце. Здесь всё. Здесь загадки русской истории, мятущейся русской души, нашей неповторимой мимолётной минуты. Здесь и отгадки, никуда ехать не надо. И всё это впечатано неизгладимо в русском пейзаже — вся Россия в каждом малом её уголке.

Символично, неслучайно, глубоко религиозно, что великий поэт взял жену, связанную с этим краем. Именно через красоту Наташи Гончаровой Пушкин, прикипевший сердцем к Неве, Петербургу и Псковской земле, возмещал недостающее — центр России, её исток.

Обаяние жены поэта на здешнем крае. Но нет! Напротив, очарование этого зеленеющего в дремоте веков тихого края лежит на Наташе Гончаровой и от неё красотой России идёт к Пушкину.

Поэзия извека, с древности, растворена тут повсюду — под солнечным, под ненастным ли небом — утешая душу и барина, и последнего безвестного здешнего мужика во всяком поколении — то самое незаметное, щедрое, негромкое чудо, без чего нельзя жить на земле. И она тут точно рассветной росой на каждом шагу, куда ни посмотри — всегда с человеком, в непримиримой, вечной борьбе со всем низким в нашей истории, её кровью, духотой, глупостью и насилием.

Суходрев — один из притоков удивительного создания божьего — реки Оки, красавицы всей России, хотя много рек претендует на такое звание. Волга — сама Россия. А это — её красавица.

Есенин родился и рос на берегу этой реки, он много раз назвал её в стихах — рекой, но не любил называть её настоящее имя.

Гоголь три года в летние месяцы уже на закате жизни смотрел на эту реку с обрывистого холма окраины Калуги, но тоже не любил называть её имя.

А на Орловской земле сколько глаз…

И Цветаева заворожённо и задумчиво смотрела в детстве с тарусского берега на вечернюю гладь этой реки.

Они очень многое оставили нам.

Туманы над речными берегами, звёзды или синева дня в зеркале заливов, разговор перекатов с твоей душой, волна Оки, волна цветущего луга, волна уходящего времени. Зелёный невод берёзовой рощи на древних холмах. Можно написать книгу об этом. А можно и не писать. И так всё ясно.

Уже в наши годы два крупных человека появились, как в седой былине, вблизи Тарусы на окских берегах. И это после их долгих путешествий по многим странам, по экзотическим их уголкам. И связали жизнь со здешними берегами. Имена их всем известны. И прямо стали славить этот край: первый кистью, второй словом.

И сказалось тогда, что мокрый от дождя ивовый куст на берегу Оки стоит всех красот Неаполитанского залива.

Это центр России, куда и Пушкин приезжал в неплохое создание божие — Калужскую губернию. И хотя видел поэт лишь уголок этой цветущей земли, в этом уголке была она вся.

Что же её особенно украшает?

Леса — да. Кто понимает в лесах.

Пейзажи — да. У кого не омертвело сердце.

Реки — конечно. Разбудят душу полумёртвого. Сколько поэтичных рек кроме Оки, а названия-то чудесные… Суходрев, Угра, Рессета, Таруска и ещё много-много. И в музеи никакие не надо ходить. Чем и жил всегда простой человек. И чем многие жить будут, когда выродится, станет элитарным всякое искусство.

А ещё дали… и с синей дымкой, и с пьянящими голову лучами, и с крышами деревень по горизонту, и заречные, и полевые, и с лесными резными вершинами.

Те самые, что незаметно, исподволь воспитуют души человеков с древних веков. Наше Главное национальное достояние. В другие страны можно продать всё: нефть и газ, и лес, и золото в горах. Но вот дали — не тут-то было — не продаются, цена непомерная. А если уж и дали пойдут на продажу и оставит их русский человек — только тогда исчезнет с лица земли Россия.

Если бы красота и поэзия не были в избытке даны России, то много Небо с неё бы и не требовало и многая пошлость была бы ей отпущена. Увы, после сих даров, божественных и небесных, — не то. Многое и взыщется. Потому трудна её история.

Оставлять жизнь на земле человеку и в сто лет жаль из-за этой уходящей красоты, она, а не надежда покидает человека последней. Даже если ум не сознаёт, величие этого края без помех идёт в сердце человека, делая то же святое дело, что и поэзия с книжного листа. Книга — только настройка души на реальную живую поэзию, разлитую в мироздании вокруг человека. И истинные поэты связаны с первыми библейскими страницами, с началом Творения. И тем оправданы и защищены. У поэзии свой путь, хотя мудрость

та же. И даже куда не войти проповеднику, миссионеру и философу, туда ещё нечаянно может войти поэт.

Города? Города этого края не вполне. Ибо там люди живут. А святые слишком часто бежали от лица человека. Неоскорблённого божественного за пределами любого города с его засорённой энергетикой — несравненно больше.

Потому и Полотняный Завод, и особняк Гончаровых, суть музей — это далеко не всё ни о Пушкине, ни о Наташе Гончаровой. Во всём музейном есть нечто пыльное, нечто омертвелое. Не верится, что ИХ души часто бывают в музеях. В аллеях парка жизни уже куда больше, где всё открыто небу и солнцу, цветёт, зеленеет, колышется под ветром. В праздниках поэзии на берегу Суходрева к этим бликам жизни прибавляется много светлых движений разных человеческих сердец, и всякая хмурь уходит с лица людей, и радуется в ответ, отзываясь, всё понимающая мудрая окрестная природа.

Можно просто пройти берегом от Полотняного Завода, смотря на задумчиво зеленеющие дали, на июньскую цветь под ногами, на спокойное былинное течение реки и думая понемножку о жизни. Только день лучше, конечно, солнечный. Синь, свет, ненавязчивый ветер, шёпот волны, отдалённые голоса людей, каждая травинка безвестная и беззащитная, как и человек в этом мире, — всё это жизнь. А жизнь — это Пушкин в его светлом стремлении. Хотя Пушкину подобало бы проехать здесь на верховой лошади, что он и делал часто, находясь здесь.

Взгляд поэта остался по сей день на всех этих окрестностях, в этих далях и на речных изгибах, пусть прошло достаточно времени. Пусть. Время — категория условная, из него всегда можно выйти в вечное…

Вечное Пушкин в себе носил. Нация выражает ему признательность за его явление ей уже столько лет и до сего дня. Есть за что. Как мы изменились! Прочтите-ка древнего Геродота, историка, что он писал о племенах, живущих к северу, то есть и о нас, и рука сама закроет его книгу. А то, что он писал, у нас и в XX веке было трижды, пусть в краткие годы трагических исключений… Не хочется приводить подробности эти в светлые дни юбилея поэта, омрачая их. Любопытные догадаются, а остальным не на пользу. Главное, мы изменились, и в просветлении нации Пушкин до сего дня участвует в самых первых рядах. И хотя ещё посреди России стреляют, но не сажают на кол, не травят медведями и даже не вешают.

И пусть кому-то ещё трудно любить стихи Пушкина. Это можно понять. Но важно любить человека — Пушкина, в светлом его стремлении. Нам бы такое стремление! Именно здесь он гений. Стихи-то и мы напишем, но тут нам его не достичь. В этом его долгая-долгая современность.

Да, но всё-таки личные отношения поэта с Натальей Гончаровой…

«…И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой…»

Вообще-то нечего нам туда совать нос.

Известна резкая точка зрения на Наталью Гончарову. Даже обвинительная.

Но есть также обвинительная точка зрения на всю русскую художественную литературу.

И даже на всю национальную культуру тоже есть. Это было даже у современника Пушкина — Баратынского. Не вспоминая уже Руссо и Толстого.

Мало ли чего есть на земле. И доводы и частичные подтверждения есть всему, любому…

Но религиозная правда не в этом. Задним числом претензии вообще некрасивы. Всё уже свершилось. И Наташа, и литература, и прочее.

В конце концов, людей сводит Небо. Без этого отношения Пушкина с Натальей Гончаровой просто не могли сложиться, каков бы ни был итог.

Русская художественная литература религиозно оправдана, пусть не вполне, пусть отчасти, пусть временно, а ведь и всё — временно, раз уж она была. И даже есть ещё немного… Нация не смогла без неё обойтись, встать с колен.

Национальная культура также оправдана — пусть временно и пусть частично, и пусть она мирская — с ней и в ней росла нация, а нация — явление вполне религиозное — любая, с любым её атеизмом.

Основы же всего — и отношений поэта с женой, и русской литературы, и национальной культуры остаются вполне христианскими, сколь бы демонического к ним не прилипло.

Существуют стихотворные строки XX века:

… уходя с земли,
Поэт просил Наташу не тревожить…
Оставим же в покое Натали…

Это хорошо бы, да только Пушкин принадлежит нации всецело. И нации интересно в нём всё — она учится у поэта, данного ей свыше, учится по сей день. Не только в стихах, поэт ничуть не менее интересен, чем его стихи. А во многом — более. Стихи всегда с нами, а поэт — краткий миг на земле.

Поэтому осторожно, легко-легко коснёмся женской темы… Применительно к мученикам литературы.

Как решался этот вопрос у великих?

Гоголь… знаем, печально… Никак не решался. Если исключить мечты.

Тютчев… знаем, брал в жёны не русских женщин, а немок, и, возможно, это было безопаснее для него, правда, в конце жизни испытал мучительную любовь к русской женщине.

Есенин… бродяжничество и муки бытия, лишь скрашенные женским теплом… и женским телом.

Блок… мечта… Россия… Прекрасная Дама… Незнакомка… Катька в кабаке… До реальной женщины не дойти, хотя жена была рядом.

Толстой… последнее и предсмертное — это разочарование.

Лермонтов… могла ли женщина, любая, спасти от судьбы, где написана гибель?

Достоевский… две великих любви. И сплошь мука. И вдруг Анна Григорьевна, божьей милостью. Как редкое исключение на земле.

А мы сами… Лучше не надо. Больно.

Нет, ещё Владимир Соловьёв. Он прямо писал, что сильная любовь чаще не сбывается или кто-то из двоих погибает. Если же двое в сильной любви сходятся, брак не даёт потомства. Такие слова не выдумываются, они бывают услышаны в невидимом мире и записаны в видимом. И ни один библейский пророк или святой не рождены, с его слов, от сильной любви.

И так вопрос глубокой женской любви часто решается на этой земле. Есть что-то в Бытии, противящееся этому. А цветёт всюду и даёт будущее любовь обычная, серенькая. Или в полосочку.

Русские женщины в основном нежны, сильны, своенравны, иногда агрессивны. Недаром их побаивался Фёдор Тютчев. «И роковое их слиянье, И... поединок роковой». Тютчев — знал. Но Пушкин в силу своего уровня это мог преодолеть.

Зная всё такое, можно понять, что идеальными отношения поэта с женой, может быть, и не были. И, может, и быть не могли. Но они всё-таки были реальными и живыми, и не нам бросать первый камень. Переписка их вполне убеждает в этом.

Жена поэта сделала самое необходимое, чтобы эту пылкую импульсивную натуру обуздать и ввести в семейные берега. О чём он не жалел и чему не сопротивлялся. Семейная жизнь его не тяготила и была благом для творчества. Это не прежняя жизнь по трактирам или в Москве у друга Нащёкина, где «б... толкутся с утра до вечера». И Лермонтов вспоминается без семейного берега, но со скорой плохой судьбой. Пушкина в таком положении оставлять было нельзя.

Что же ещё требовать от Натальи Николаевны... она сделала для поэта что могла. Другая, Оленина или Ушакова, да и любая не смогла бы более. А Анна Григорьевна Достоевская ему бы оказалась и не нужна. Время Анны ещё не наступило.

И обязательно нужно различать отношения Пушкина и Гончаровой до выстрела и после него. В этом много. Такие рубежи меняют очень. Перемены в Наталье Николаевне после выстрела отслежены мало, но они, безусловно, глубоки. Что было у неё на душе? Нет, не то слово — что было с её душой?

Никогда уже не будет она прежней Натали... Мадонной.

Небесные отношения меж двоих запротоколировать нельзя, изучить исторически и чрез архивы нельзя. Что-то останется недоступно. Свидетельство самого поэта здесь главное, а он любил Наташу и не сказал осуждающего слова.

«...радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше» (Жуковский — князю Вяземскому). Поверим им.

Даже та ревность, что привела его к болезненному состоянию перед дуэлью (а, действительно, как вспоминают очевидцы, нервы его были расшатаны до предела) — и она не может осудить Гончарову. Не в Наташе дело, а в духе тогдашнего «высшего» общества, в его уровне, в нравах его, в условиях всей той культуры. Значит, и в нас тоже, мы связаны со всем этим и далеко не ушли. Этого не было у Гёте в Германии. Лучшего варианта в тех условиях быть не могло, в других — возможно.

Небо оправдало Наташу со временем, подарив ей чудесного Ланского и детей от него. Геккерн же во Франции оказался весьма порядочным человеком и даже стал сенатором.

Дело дуэли именно в «высшем» петербургском обществе, избежать которого было нельзя и дышать духом его поэту долго невозможно.

Размышляя о роковой дуэли, невозможно обойти тему «поэт и Высшие силы».

Всё великое земное
Разлетается как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим.

Это сказано Шиллером о Высших силах. Действие их универсально, они могут разрушать государства, но и петь колыбельные песни, и говорить пророку в веянии тихого ветра или библейскому Иову голосом бури. У них своя логика.

Пишется стихотворение «Пророк». Работает очень высокий источник информации, что бывает редко — напрямую, хотя и через поэта. Обычно от таких источников мы отделены, жизнь на земле содержит немало низких энергий. Высшие силы всюду участвуют, всюду могут помогать, но действуют прямо редко.

Зато обычна работа коллективного энергетического поля нации или даже энергетики планеты. Кому эти термины неприемлемы, скажем «духовное поле нации», которое реально, тонко материально, но вечностью ещё не обладает.

В поле нации уходят мысли и чувства поколений, которые действуют и после смерти человека. (Юм на Западе выражается иначе — «коллективное бессознательное»). Так встречаются поколения между собой.

Высший слой этой тонкой энергетики нации можно условно назвать «Небесной Россией», он уже достаточно чист, и в нём содержится самое лучшее и светлое, что было в истории России. Но он тонок по сравнению с мощными нижележащими пластами энергетики нации, где ещё много нечистоты и страстей, к тому же духовно разделёнными.

«Небесная Россия», можно условно сказать, завершена девятнадцатым веком, и следующие поколения могут принадлежать к ней или не принадлежать. По своей чистоте она относится только частью к нации, а лучшей своей частью даже к высшим сферам вечного. Место Пушкина там имеется, какое именно — нам знать не дано.

Дуэль поэта не была религиозной. Это демоническое дело, и обе стороны не были ни в коей мере христианами. Убийство, судьбы семьи и детей… Высших сил не могло там быть, хотя гибель поэта в целом религиозна. Они не вступились за его жизнь. Этому несколько причин. Если кратко — одно духовное крыло поэта было ослаблено. Сразу решения о гибели поэтов

не принимается. Несколько раз рассматривается их судьба, и всегда бывают предупреждения. Были они и Пушкину. Даже дуэль состоялась лишь во второй раз. Поэта уговаривали и друзья, и сам Николай I брал с него слово чести. Впрочем, программа Пушкина на земле и в России была к тому времени, вероятно, выполнена. Нам хотелось бы поэту долголетия Гёте, но от нас ничего не зависит. Даже великому Моисею, столько сделавшему для духовной жизни планеты, сказано было: посмотри на эту землю, где будет жить твой народ, — она прекрасна, но ты туда не войдешь. И могила его неизвестна.

О недостатках поэта не хочется говорить. Доля зла всегда есть в человеке, пусть у Пушкина его было не столь много. Оно уходило, сжигалось любовью, эпиграммами, дерзостью с жандармами… оставляя поэта чистым для главного — поэзии.

Владимир Соловьёв его недостатки описывал, хотя и прохладным тоном. Когда читаешь его, хочется вступиться за Пушкина, несмотря на реальные факты. Это чувство отчётливое. Так было и сто лет назад, нация дружно защищала своего поэта. Литературный мир России выступил против нашего философа. И он недоумевал, ибо верил фактам. Он не понял одного — все другие авторы, пусть не вполне понимая, брали на себя недостатки поэта, оправдывая и очищая тем самым его. Как и Пушкин, описывая язычество и грешную плоть России, светом своей поэзии тоже освещал и очищал эти стихии: Владимир Соловьёв бессознательно почувствовал правду в реакции на его статью и в следующих статьях о Пушкине касался только поэзии, не упоминая более фактов дуэли. Нация взяла грехи поэта на себя — великий благородный жест. Поэт тоже брал на себя грехи нации в своей солнечной поэзии.

Очень характерно, что на дуэли Пушкин ещё не погиб и ему были даны три дня жизни. Это не случайно. В эти три судьбоносные дня его уже не мучили демонические, языческие и национальные стихии. Страстей малых или больших, цеплявшихся за него, не было близ. Они отошли, зато Высшие силы как раз пребывали с поэтом, совершая очищение от остатков зла — перед уходом с земли — уже не для нас, для него самого.

Например, Некрасову понадобилось гораздо больше очищающих мук. Лермонтову не дано было и трёх дней, это ещё людьми не понято: или очищение стало бесполезным, или что-то ещё.

И пусть Пушкин не был святым, свет поэзии его был религиозен, итоги жизни его были религиозны. И в гибели замечалось это, почему увозили тело поэта из Петербурга практически тайно. Страх пред этим явлением чувствовался и у властей, хотя они не были виноваты в дуэли.

Снова возвращаясь к дуэли, отмечаем два странных факта. Живя с Гончаровой, поэт однажды увидел в зеркале изображение второго её мужа, которого подробно описал. Но ни он, ни Наташа ещё никогда не встречали этого человека. Он появился спустя семь лет после смерти поэта и стал мужем Гончаровой. Также, рассматривая бюст наследника (Александра II) у Жуковского, поэт вдруг описал его убийство и кровь, случившиеся много лет позже.

Доля ясновидения была в нём. Как и боязнь разных примет и ощущение собственной смерти. Также сложные отношения поэта с Небом. Жизнь — лишь проявление более глубокой реальности, именно с ней и связана судьба.

Когда читаешь описание жизни Пушкина до встречи с Гончаровой, его проживание по трактирам и друзьям, где «б… толкутся с утра до вечера», не верится, что с ним пребывало Небо. Но потом откроешь томик стихов… да нет, всё на месте, вот настоящий Пушкин, никуда не исчезал, а там описывали кого-то другого. Поэт был бесконечно выше и дуэли, и Дантеса, но в жизни поэтом был не всегда, и в этот момент защита добрых сил оставляла его. На дуэли был человек, а не поэт. Поэта там не было.

В последний раз возвращаясь к Пушкину, поймём, что он весьма страдал в своей жизни, и последнее страдание ревности было ещё малой каплей, может быть, и тем «последним пёрышком», что переломило наконец «спину верблюда». Но страдания всей предшествующей жизни стали уже непоправимыми.

После Пушкина и до сего дня страдали и страдают все без исключения наши и великие и малые поэты — от той действительности, что всегда, в этом смысле ничуть не меняясь, перед нашими глазами. Среди подлинных поэтов счастливых нет.

Жизнь на земле, конечно, и определена страданиями — и в этом её великий религиозный смысл, ибо в утешение нам всегда дана божественная красота и поэзия, также пронизывающая землю повсюду, везде, во всём самом и великом, и ничтожном, чем и утешались, и в чём творили поэты.

Нужно лишь найти равновесие.

Жизнь Пушкина подробно описана, биография запротоколирована по датам, неизвестного не осталось. Но это не так. Подлинная биография — биография души, небесных её состояний. Здесь биографы бессильны. Туда вхожи лишь поэты. И потому сначала должны быть Они. То есть:

…Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюёт на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Сначала — это. Потом уже то, что в «Пророке»:

…И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

А уж потом милость к падшим, любовь, восславление свободы и всё прочее.

«Пророк» — высшее, что на земле может записать человек. Не написать, а записать.

На поэтов же у людей нет управы.

Юрий Холопов



ВТОРОЕ ПРОЧТЕНЬЕ СУДЬБЫ

(биографический очерк)

Помнить своих

В молодости он был красив: волнистые русые волосы, высокий лоб, прямой «греческий» нос, чёрные брови и голубые весёлые глаза. Завершала портрет «аристократическая» бородка, посреди которой чуть улыбались полноватые губы, неизменно державшие сигарету. Курил он много, даже слишком много…

Такому больше пристало бы родиться в какой-нибудь аристократической западно-европейской семье, в Испании или в Италии, а он появился на свет в русской крестьянской семье. Мог бы пойти в артисты, но выбрал путь нелёгкой писательской работы. Неисповедимы пути Господни…

Интернет (Википедия) о калужском писателе Романе Федичеве (представлена его последняя фотография — лицо измождённого старика) даёт до обидного скудную информацию:

Роман Иванович Федичев *(28 ноября 1955, пос. Дубищенский, Калужская область — 27 июля 2016, Москва) — русский писатель, один из организаторов литературного агентства «Глагол», в котором работал главным редактором, впоследствии также организовал издательство «Голос» и издательско-полиграфический центр «Глобус» (1997), в котором занимал должность директора, лауреат Всесоюзного литературного конкурса имени М. Горького. Награждён дипломом ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую культуру».*

Здесь надо уточнить сразу: литературную премию им. М. Горького в 1986 году (в 31 год) Роман Федичев получил за книгу прозы «Восьмой причал» (г. Москва, издательство «Молодая гвардия»), а диплом ЮНЕСКО



Роман Федичев – студент литфака КГПИ им. К.Э. Циолковского. 1978 г.

констатировал его большие заслуги прежде всего как российского издателя, когда Роман Иванович, возглавлявший в Москве издательский центр «Глобус», проделав со своими коллегами огромную составительскую и редакционную работу, выпустил в свет в 2003 году пять больших томов «Шедевры русской литературы XX века». В один из томов этой огромной антологии, переизданной ещё раз в 2010 году, вошла также повесть Романа Федичева под названием «Аспид».

Он также является автором книг: «Пейзаж со знаками» (Тула: Приокское кн. изд-во, 1985), «Восьмой причал: рассказы» (М.: Молодая гвардия, 1986), «Журавли летят домой: повести» (М.: Современник, 1989), «Сезон тревог: повести и рассказы» (Тула: Приокское кн. изд-во, 1990), «Сон о белом городе: повести» (М.: Молодая гвардия, 1991), «Избранное» (М.: ИПЦ «Глобус», 2005) и других.

Роман Федичев прожил недолгую жизнь – шестьдесят лет. Десять лет назад он навсегда вернулся из столицы на свою малую родину. Отпели его по православному чину в жиздринском Свято-Покровском храме, а похоронили на сельском кладбище посёлка Дубищенский (бывший сельхозпосёлок «Большевик») рядом со своими родителями и другими родственниками. Как он и хотел.

Если говорить о его общей литературной работе, то надо сказать честно: не у каждого калужского писателя такой «послужной список». Тем не менее сегодня мало кто из наших земляков, занимающихся краеведением, назовёт имя уроженца Жиздринского района, писателя-прозаика Романа Ивановича Федичева. И, увы, на это есть свои причины.

Мы знаем, что ещё в 1981 году Калужская областная библиотека им. В.Г. Белинского издала первый автобиографический сборник «Калужские писатели», составителем этого сборника стала Г.М. Морозова. Однако в этом сборнике нет автобиографии и портрета молодого калужского прозаика Романа Федичева, поскольку он ещё не был принят в Союз писателей СССР.

Затем в 2004 году издательство «Золотая аллея» выпустило в свет второй писательский автобиографический сборник под названием «Писатели Калужской области». Но и в этот сборник директор издательства Владислав Трефилов не вставил автобиографии и библиографии нашего земляка, поскольку тогда Роман состоял в Союзе писателей г. Москвы, по месту проживания и прописки.

Нет имени калужского писателя Романа Федичева и в книге «Литературное краеведение» Игоря Ксенофонтова, изданной в 2012 году Калужским государственным институтом модернизации образования. Так уж получилось.

Будет ли кто хранить сегодня в Москве память о нашем земляке-писателе и заниматься изучением его творчества — неизвестно. Столица живёт своей жизнью, количество писателей там с каждым годом становится всё больше и больше, накал политических страстей достаточно высок, и пока нет признаков, что творчеством писавших о советском селе кто-то сильно озаботится. Так уж получается, что нам, калужанам, надо самим помнить своих.

До Москвы…

Автор этих слов познакомился с Романом Федичевым (тогда студентом 2-го курса литфака КГПИ им. К. Э. Циолковского) в далёком ноябре 1977 года, когда, отслужив в Советской армии, поступил на подготовительное отделение того же литфака и стал жить в том же общежитии по адресу Каракозова, 4 (ныне переулок Воскресенский).

Тогда на всём подготовительном отделении педагогического института и на самом литфаке училось немало представителей мужского пола. Роман сразу познакомился с нами, недавно мобилизованными, а сблизились мы с ним по той причине, что я в то время уже писал стихи и рассказы, хотя ещё нигде не публиковался. Роман же отличался от всех студентов факультета тем, что уже был своим человеком в областных газетах «Молодой ленинец» и «Знамя», имел немало публикаций, а ещё у него была настоящая печатная машинка, на которой по вечерам и ночам он печатал свои рассказы и статьи. Он успевал писать рассказы, посещать лекции, заниматься в творческом литературном кружке литфака, который тогда вёл доцент кафедры и кандидат филологических наук Николай Владимирович Карпов (1925–1985), ходить на литературное объединение «Вега» при «Молодом ленинце» и даже посещать открытые собрания Калужского отделения Союза писателей СССР. Разница в возрасте была небольшой — меньше двух лет, но мне он казался старше: он многое умел, многое прочёл, лучше знал саму жизнь и хорошо разбирался в людях, а главное, уже имел конкретную цель, которая была для него вполне достижима — стать профессиональным писателем. Я очень удивился, когда узнал, что он из простой крестьянской семьи: мне уже приходилось видеть сельских ребят в столичном ПТУ, которое я окончил перед службой, и в самой армии, да и на подготовительном отделении их было немало, но он был какой-то не такой. Впрочем, в его сельском происхождении мне пришлось вскоре убедиться на собственном опыте.

Помню, это было в сентябре 1980 года, Роман зашёл ко мне в комнату и спросил: «Ты говорил, что умеешь косить… Может, на выходные махнём ко мне под Жиздру? Отцу дали делянку с отавой, надо быстрее выкосить, пока нет дождей…»

Я согласился, но поехали не вдвоём, а втроём: появился ещё один помощник — такой же студент литфака Виктор Пеленягрэ. На следующий

день, с утра, мы втроём отправились на «Икарусе» Калуга – Жиздра до райцентра, а оттуда на стареньком «ПАЗике» добрались до сельхозпосёлка «Большевик».

Родители Романа были рады гостям-помощникам. После обеда, когда солнце покатилось к закату и на траве стала появляться роса, глава семейства Иван Романович Федичев повёл нас в поле. Он же и встал первым в ряд с косой – ведущий, самый опытный косец. За ним – Роман, после – я, Виктор был в конце.

Косили долго, без перекуров, чтобы успеть не только положить траву, но тут же увезти её на двор. Аккурат к заходу солнца загруженная под завязку тракторная тележка уже стояла около высокого сарая Федичевых. Забросали на сеновал подвяленную траву (досушивать всё равно придётся) и пошли в избу. А там уже для работников был настоящий деревенский ужин: картошка-сухопар из русской печи, свежие солёные огурцы и грибочки, копчёный окорок, сало и бутылка водки.

Ужин прошёл весело, в разговорах и шутках, а потом Роман решил испытать недавно купленный отцом мотоцикл с коляской «Урал». Уже достаточно «весёлые», мы втроём выкатили его из сарая на улицу, Роман сел за руль, я в люльку, а Виктор пристроился на заднем сиденье. Машина-зверь (по сути, копия немецких мотоциклов BMW, на которых супостаты решили покорять СССР в 1941 году) мощно затарахтела и рванула за околицу.

В темноте, разрезая мрак светом фары, мы летели с ветерком по полевой дороге, как вдруг увидели, что впереди нас, в луче света, несётся со всех ног какой-то сумасшедший заяц.

– Лови его! Лови! – закричал Роман и прибавил газу. Мы с Виктором тоже заорали. Но хитрый заяц вскоре прыгнул в сторону и помчался по полю прочь от дороги, а мы, не отставая, за ним…

Долго три пьяных студента, оглашая окрестности дикими криками, гоняли бедного зверька по ночному полю. Добром это кончиться не могло. На полной скорости мы влетели в грязный пруд… Потом в темноте вытаскивали «Урал», пытались его завести, но бесполезно.

– Свечи засорились! – решил Роман. – Надо прочистить, посветите мне спичками…

Мы с Виктором, поочерёдно зажигая спички и обжигая себе пальцы, подсвечивали ему, пока он вывинчивал свечи и продувал их. Наконец машина-зверь снова заработала. Приехали домой, когда все уже видели сны. Быстро раздевшись, попадали спать.

Когда я проснулся, родители Романа были давно на ногах. Рядом с моей постелью, на стульчике, лежала моя аккуратно сложенная и вычищенная одежда. Это мама Романа, Анна Александровна, встав ещё затемно, потрудилась… Мне стало стыдно за вчерашнее. Проснулся и Виктор. Одевшись, мы с ним вышли во двор и увидели Романа, который старательно мыл мотоцикл «Урал». Видимо, отец его разбудил пораньше.

* * *

Второй памятный трудовой поход с Романом состоялся через год, когда он уже окончил литфак и работал директором Кошняковской восьмилетней школы Медынского района, а я доучивался на последнем курсе.

Педагогическое «наследство» Роману досталось незавидное: двухэтажная школа, стоявшая в деревне, была сильно запущенной. Собранная из панельных блоков, она требовала серьёзного ремонта, но самое страшное было в том, что кочегар котельной, большой поклонник Бахуса, год назад по своей нерадивости разморозил школьную отопительную систему.

Учебные классы, находившиеся на первом этаже, ещё кое-как отапливались, но второй этаж, где находилась квартира директора, оставался холодным: не имея возможности (или желания) менять размороженные батареи второго этажа, местное начальство просто перекрыло туда подачу горячей воды. Так, вместо обещанной квартиры новый директор получил настоящий карцер! Директор совхоза был человеком неуловимым, поэтому Роман решил надеяться только на себя: он задумал поставить у себя (на втором этаже) «автономную систему обогрева». Этим он поделился со мною, когда в конце октября 1981 года нагрянул в студенческое общежитие и попросил помочь ему в этом деле. Тогда уже лёг первый снег и на улице стал покалывать лицо небольшой морозец.

Главный котёл обогрева по его чертежу ему сделали на Калужском машиностроительном заводе, там же — патрубки с резьбой и вентилями, несколько коротких труб с резьбой, заглушки, краники. Это «оборудование» тянуло пуда на три, если не больше. Весь «контрабандный груз», минуя «таможню», мы получили через… проходную.

С трудом дотащили свои рюкзаки с железом до остановки дизеля «Калуга I — Тёмкино», с грохотом и лязгом загрузились в пустой ночной вагон, и поехали… Мне пришлось тащить самую тяжёлую деталь — котёл обогрева. Я всю дорогу разглядывал чертёж Романа, но меня мучили мысли не столько о преодолении дальнейшего пути до Кошняков, сколько о том, что вся эта «автономная система» может просто не заработать по причине отсутствия насоса.

От железнодорожной остановки «Кошняки» до самой школы мы шли, поскрипывая свежим снежком, напряжённо и молча, экономили силы, на последних парах поднялись в гору… Не отдыхали, знали по армии, что если позволить себе перекур, то потом будет ещё тяжелее. Наконец добрались до школы и поднялись на второй этаж, где градусник показывал нулевую температуру. Мы включили свет, сняли шапки, расстегнули пальто (от нас повалил пар), и градусник вскоре показал уже плюс один.

Выпив по сто граммов водки и наспех закусив, принялись за работу. Длилась она часа три: мы снимали старые лопнувшие батареи, выносили их в подъезд, ставили на их место новые и соединяли с котлом, который был по уровню чуть выше. Пакля, краска, газовые и другие ключи — всё уже было заранее подготовлено. Затем стали заполнять новую систему водой из крана с первого этажа посредством длинного шланга… Наконец Роман

достал из шкафа большой кипятильник, опустил его в котёл и включил в розетку. Я спросил: «А проводка не сгорит?» Роман ответил: «Берёт не больше, чем спиральный «козёл» и кислород не выжигает! Проверено!»

Через полчаса я стал ощупывать проводку, распределительные коробки, заглянул в щиток… Проводка не перегревалась, но две новые батареи уже стали теплеть. Максимальная температура, достигнутая таким ноу-хау директора Кошняковской восьмилетней школы, была равна 14–15 градусам. Нагретая вода в автономной системе потихоньку циркулировала, и Романа это вполне устраивало.

— Главное, чтобы руки не мёрзли, а то мне нужно рассказы печатать, — говорил Роман, улыбаясь. — В пустыне Гоби, где служил, бывало зимой покруче…

Накрывшись поверх одеял своими пальто, мы легли спать за полночь, но отдыхали недолго: на рассвете нас разбудил громкий стук в школьные двери. Пошли вниз открывать, думая, что пришёл рабочий котельной, но ошиблись: перед школой стояла небольшая группа из местных парней и девушек. В этот день были проводы в армию у двух юношей из Кошняков, и они по традиции решили зайти на прощание в школу, где прошло их детство. Роман достал из кармана ключи и открыл им класс. Мы снова поднялись наверх, но спать уже не хотелось. Пили крепкий чай, Роман при этом курил, поглядывая на термометр, говорили о том, что интересного напечатано в больших московских журналах, и слушали, как снизу доносится негромкая музыка магнитофона и периодически — весёлый девичий смех.

— Вот видишь, — сказал задумчиво Роман, — для нас здесь бедный совхоз, в котором директора меняются как перчатки, невесёлая местность — кругом болота да лес, панельная обшарпанная восьмилетка… А для мальчиков, которые завтра уже будут в армии, это лучшее место в мире, их родина, где живут мама с папой, любимая школа…

В полдень Роман проводил меня на поезд Тёмкино — Калуга I. Встретились мы с ним только через два года, когда он был уже студентом московского Литературного института им. М. Горького, туда же на год позже поступил и Виктор Пеленягрэ, один из основателей «Ордена куртуазных маньеристов», ныне известный российский поэт-песенник.

* * *

После армии Роман мог спокойно поступить на заочное отделение какого-нибудь гуманитарного московского вуза, но выбрал Калужский педагогический институт. На это была своя причина: надо было опекать свою младшую сестру Валентину, которая поступила на тот же литфак двумя годами позже него. Она училась со мною на одном курсе.

В отличие от многих сокурсников, Валентина была прирождённым педагогом: старательная, скромная, училась хорошо, прекрасно усваивала методику… Внешне она была похожа на старшего брата, и к ней, симпатичной «промокашке» (так мы, армейцы, называли между собой тех студентов, которые поступали в педагогический институт сразу после школы), периодически

кто-нибудь из парней «подклеивался». Но Роман был начеку, он без лишних разговоров «отшивал» ухажёров, иногда не слишком корректно. Валентина действительно думала прежде всего об учёбе, хотела стать настоящим учителем и стала им. После окончания института честно отработала три года в Жиздринской средней школе, а затем, выйдя замуж за работника милиции г. Москвы, стала педагогом в одной из московских школ и немало лет работала завучем. Но Роман был всё-таки старшим в семье, и это чувствовалось всегда.

В 1985 году я вернулся в Калугу, устроился работать корреспондентом в областную газету «Молодой ленинец» и при первой же встрече с Романом узнал, что у него в городе есть жильё: маленькая комната в одном из старых домов по улице Красная Гора. Сумасшедшая богемная жизнь в студенческом общежитии Литинститута им. М. Горького (я там успел побывать несколько раз, навещая Романа) не давала возможности внимательно сосредоточиться на творческой работе и он наконец нашёл себе тихий уголок в Калуге, в её историческом месте. Впрочем, тихим этот уголок бывал не всегда…

У диктофона память лучше

Так бывает нередко: вроде знаешь человека давно, знаком с его родственниками, друзьями, а когда он уходит из жизни, вдруг оказывается, что ты ничего толком о нём и не ведаешь. Долгая работа журналиста, а ещё работа с архивными документами убедили меня, что лучшая память — это записи в корреспондентском блокноте или рассказ на магнитофонной ленте. И лучше не тянуть, а сразу обработать текст и уточнить его у того, о ком ты собираешься писать. Да и писать надо так, чтобы не позорить великую русскую литературу. Слово — великая сила! И несёт оно не только информацию. Не случайно калужский писатель Юрий Убогий в своей автобиографии сказал, что «…само бытие становится вполне завершённым, лишь когда оно отображено, и закреплено в слове. Тогда оно окончательно *есть*. Если художественное слово выполняет эту роль, то обретает связь со Словом, которое было вначале. И этой связью живо, а с ним живы и мы…»

Второе прочтение судьбы Романа Федичева началось в 2010 году. На несколько месяцев нас объединила общая работа над книгой «Симфония щедрой души» о выдающемся советском композиторе и музыкальном педагоге, уроженце Калуги Николае Петровиче Ракове (1908–1990), которую я решил издать в московском издательском центре «Глобус».

Материал был специфический (музыкальный), следовало уточнить некоторые события и напечатать немало старых фотографий, в книге также шли отрывки из дневника композитора… Поэтому надо было периодически приезжать в Москву и внимательно отслеживать продвижение вёрстки будущей книги.

В феврале 2011 года, когда книга была уже свёрстана и печаталась, мы встретились с Романом на его подмосковной даче в посёлке Пушкино. Тогда и удалось записать на диктофон его рассказ о родителях, жизни в Калужской



Родители писателя Анна Александровна и Иван Романович Федичевы. 1955 г.

области, службе в армии, учёбе и творческой жизни (эта запись долгое время нигде не была опубликована и не озвучена). После расшифровки получился автобиографический «краеведческий» рассказ Романа Федичева:

— Родился я в Жиздре 28 ноября 1955 года. Моя мама Анна Александровна Баранова в юности, во время войны (в 1942 году, во время оккупации) была угнана немцами в Германию, где и находилась до 1945 года, до самого освобождения советскими войсками. Там на тяжёлых подневольных работах она и подорвала своё здоровье. Поэтому, когда она меня родила, у неё был вес 44 кг, и не было достаточно молока, чтобы выкормить меня, первенца. Кормилицей стала родственница из Москвы, проживавшая в Марьиной Роще. Звали её Полина. Она и выкормила меня грудью вместе со своей родной дочерью Валей.

Отец и мать переехали ещё до моего рождения из города Подольска в Жиздру. Отец работал под Подольском в угольных шахтах, там заболел силикозом и потерял лёгкое, стал инвалидом. Врачи его выходили, но посоветовали жить не в городе, а в деревне. Так мои родители и перебрались из Подольска в сельхозпосёлок «Большевик», что находится в четырёх километрах от Жиздры. Там жили мамины родственники.

Так что младенчество моё прошло в Москве, а в первый класс я пошёл уже в Жиздринском районе, ходил в четырехлетнюю начальную школу. Интересная была школа. Там работали хорошие учителя и был даже свой театр, в котором актёрами были и взрослые, и дети.

Отец как инвалид I группы работать не мог. Он потихоньку вёл домашнее хозяйство и подрабатывал — плотничал, клал кирпич и другое. А мама работала в совхозе бухгалтером, была активной общественницей. Избиралась даже депутатом Совета трудящихся Калужской области.

Отец был интересным человеком, он не только мог работать руками, но также имел творческую жилку: писал басни, сказки… Что-то даже печаталось в газетах.

После окончания сельской четырёхлетки продолжил учёбу в Жиздринской средней школе. Проживал в самом городе, на квартире родственников. Мне, можно сказать, повезло. Русский язык и литературу в школе преподавала Ольга Павловна Орлова — учитель от Бога. Она тонко чувствовала творческое начало в учениках и стремилась его развивать, учила образно мыслить. Мои сочинения удостаивались особого внимания. Я был у неё одним из любимых учеников. Тогда, наверное, я и решил стать писателем.

В 1972 году окончил Жиздринскую среднюю школу и решил поступать в один технический вуз, что находился на Украине. Однако я туда слишком долго добирался: опоздал на экзамены, и пришлось возвращаться в Жиздру.



Сержант Р. И. Федичев *(слева)*. Монголия, 1975 г.

Вскоре я устроился литературным сотрудником в жиздринскую районную газету «Искра». Редактором там работал Геннадий Иванович Борисов — опытный журналист и хороший человек. Это было интересное время: приходилось часто бывать в командировках, посещать колхозы, совхозы, небольшие предприятия района… Приходилось также много писать заметок, зарисовок, очерков… Это была хорошая школа для начинающего писателя. Членом Союза журналистов СССР я стал в 1976 году.

В ноябре 1972 года был призван в Советскую армию. Как и многие мои ровесники, службу я начинал в учебном центре. Но не в простой «учебке», а в такой, где учили военному делу посерьёзнее. Достаточно сказать, что наше обучение длилось 8 месяцев. Сам учебный центр находился в Москве, на реке Яузе. Это была 50-я учебная школа.

Учебный центр окончил с отличием и сразу получил звание сержанта. Направлен был служить за границу, в Монголию, а точнее — на монгольско-китайскую границу, где во времена правления в Китае Мао Цзе Дуна было неспокойно. Официально того воинского контингента, в составе которого я служил, как бы не было. Но на самом деле всё было. Мы охраняли границу в районе пустыни Гоби, которую китайцы нередко нарушали. Психологически и физически служить там было трудно. В одном из пограничных столкновений я был ранен и оказался в госпитале.

После служил в Даурии на советско-китайской границе. Во время службы о творчестве не забывал и продолжал печататься в газете Забайкальского военного округа.

Вернувшись домой в 1975 году, подал документы в Литературный институт им. М. Горького, прошёл творческий конкурс. Был уже готов получить студенческий билет, как вдруг во время экзаменов случился трагический случай: из окна комнаты общежития, в которой я проживал, во время вечеринки одна абитуриентка в состоянии сильного опьянения вывалилась из окна и насмерть разбилась.

Всех, кто был на этой вечеринке, быстренько исключили. Так я очутился в Калуге, где поступил на подготовительное отделение литфака Калужского педагогического института им. К. Э. Циолковского. Учиться там мне нравилось. Тогда на кафедре русского языка и литературы работало немало сильных и интересных преподавателей.



Поэт Е. А. Евтушенко в гостях у писателя В. А. Волкова. Калуга, 1977 г.

В то же время познакомился со многими калужскими писателями: Валентином Волковым, который вёл областное литобъединение «Вега», Михаилом Кузькиным-Воронецким, Александром Авдониным, Алексеем Шеметовым, проживавшим в Тарусе, и другими. У меня с ними сложились хорошие отношения именно как с коллегами, поскольку они, прочитав мои рассказы, признали меня за своего собрата-писателя, хотя я был только членом Союза журналистов СССР и являлся только студентом. Возрастного уровня как бы не существовало, главный уровень был творческий.

Особенно я сблизился с калужским прозаиком и поэтом Валентином Волковым. Вероятно потому, что мы оба были из деревни и у нас находилось немало общих тем для разговоров. Он тогда жил в бывшей трёхкомнатной квартире писателя Николая Воронова у областного драматического театра, а сам писатель-прозаик Воронов к тому времени уже переехал в Москву. Мы с Волковым частенько вместе гуляли по Театральной площади, рассуждали о жизни, о литературе… Нередко заходили в большой книжный магазин на ул. Кирова, копались в книгах, что-то себе покупали.

Впрочем, Калугу любят не только писатели, но и кинематографисты. Как известно, в 1978 году поэт Евгений Евтушенко снимал в Калуге фильм о К. Э. Циолковском, где заодно играл главную роль. После съёмок он заходил в гости к Валентину Волкову, с которым был знаком ещё по Литературному институту. Они вместе где-то выступали, снимались… А поскольку у меня в общаге был свой фотоувеличитель, Валентин Волков однажды поздно вечером залез ко мне в окно общежития, что находилось в пер. Каракозова (я жил

на первом этаже), достал проявленную плёнку, и мы с ним ночью печатали фотографии, на которых были запечатлены моменты пребывания Евгения Евтушенко в Калуге.

После окончания педагогического института в 1980 году я был направлен в Кошняковскую сельскую школу Медынского района, где проработал один год директором школы.

После предпринял вторую (на этот раз удачную) попытку поступить в Литературный институт им. Горького. В 1981 году на Всесоюзном семинаре молодых литераторов было отмечено моё творчество. Это помогло оставить школу и более интенсивно заняться писательской работой.

Надо сказать, что в Калужском областном отделе народного образования нашлись люди, которые пошли мне навстречу и не стали заставлять меня отрабатывать в сельской школе ещё два года. Но поставили условие: отремонтировать к новому учебному году школу. Я сдержал своё слово, и меня отпустили.

В студенческие годы печатался во всесоюзной газете «Пионерская правда», в журнале «Костёр», в «Учительской газете». Как правило, это были очерки и рассказы. Среди них «Журавли летят домой», «Похороны», «Федоткины открытия». Иногда мне приходили отрицательные отклики. Например, такие: «Ваши рассказы не могут быть опубликованы. В первую очередь из-за их мрачного колорита...» Но потом они вошли в сборник «Восьмой причал», изданный «Молодой гвардией», за который я получил премию им. М. Горького...

* * *

У честного писателя, описывающего жизнь советского села того времени, и не могло быть исключительно светлого колорита. Глубокой печалью проникнут рассказ Романа Федичева «Прикосновение», посвящённый памяти его отца Ивана Романовича Федичева. Лирический герой рассказа приехал на родину из большого города, где стал свидетелем разудалого «Праздника русского фольклора», у него в ушах ещё стоит радостный смех и народные песни ряженых артистов. Но он на пути к родному дому видит завалившиеся заборы, покинутые избы соседей, заросшие бурьяном сады... Ещё есть на селе люди, в основном пожилые, они продолжают трудиться на родной земле, но молодёжь уже смотрит в сторону города. Она не видит здесь никаких перспектив!

Но были и другие взгляды на творчество молодого прозаика из Калужской области. Одна из официальных рецензий так отзывается о рассказах молодого писателя Романа Федичева:

«Герои рассказов Романа Федичева — люди труда, душевно щедрые, занимающие в жизни активную нравственную позицию. Это сельские труженики, учителя, молодые люди, стремящиеся найти своё призвание. Человек и его долг, истоки бескорыстия и эгоизма — вот круг проблем, волнующих молодого прозаика, отвергающего духовную леность, равнодушие, потребительское отношение к жизни...»

В литинституте Роман сначала учился на семинаре Василия Рослякова, а затем у Анатолия Приставкина.

Новая профессия

Учёба шла успешно, но в 1984 году Роман был ночью сбит в центре Москвы неизвестной машиной и получил травмы, ещё более серьёзные, чем много лет назад в армии. Врачи тогда чудом спасли его жизнь. Он опять выжил, но пришлось уйти в академический отпуск на один год. Продолжил учёбу, а в 1986 году окончил Литературный институт им. М. Горького, вступил в Союз писателей СССР и решил заняться издательской деятельностью. Благо, цензуру вскоре отменили, и появилась возможность публиковать такие произведения, которые раньше были под запретом. Например, произведения русских писателей-эмигрантов первой волны и многое другое.

Немало времени и сил уходило и на общественную работу. Ещё во времена учёбы в литинституте Роман Федичев нередко принимал участие в семинарах творческой молодёжи в качестве организатора или члена комиссии по прозе. В частности «на заре перестройки» ему довелось организовывать в Калуге Всероссийский семинар молодых писателей, пишущих для детей и юношества, которым тогда руководил А. Алексин. Посчастливилось быть одним из руководителей ещё на трёх Всероссийских семинарах молодых писателей, где Роман Федичев вёл секцию прозы.

Но была и другая веская причина, по которой он переключился на издательскую работу. После окончания института Роман женился на студентке литературного института, известной никарагуанской поэтессе Альбе Асусене Торрес, которая занималась в семинаре советского поэта Льва Ошанина. Кормить семью в Москве за счёт издания «деревенской прозы» было уже тогда немыслимо. Да, компьютер был ещё большой редкостью и не мог теснить другие средства массовой информации и книги, но время компьютерного господства было уже не за горами.

Через год в интернациональной писательской семье родился сын Иван (по-испански Хуан), которого мама ласково называла Ивасито. Роман и Альба проживали на ул. Лесной, недалеко от Белорусского вокзала. Мальчик учился говорить сразу на двух языках — русском и испанском — и был всеобщим любимцем всех русскоязычных и испаноязычных поэтов и прозаиков, которые постоянно навещали молодую семью. Сегодня Иван Романович Федичев — журналист известного международного телеканала «Россия сегодня», знает три языка: русский, испанский и английский.

У автора этих слов сложилось мнение, что Роман Федичев тогда не слишком хорошо понимал, кого он взял в жёны. То же самое, впрочем, можно сказать, наверное, о любом молодом мужчине, создающем семью. Поскольку женщина всегда тайна. А если она ещё и поэт? С помощью Интернета (Википедия) внесём некоторую ясность:

«Альба Асусена Торрес родилась 9 сентября 1958 года в г. Чонталес, Никарагуа) — никарагуанская поэтесса и дипломат (дипломатом она стала намного позже, чем поэтом. — *Ю. Х.*). Окончила Литературный институт имени Горького по специальности «Русское искусство и литература».



Никарагуанская поэтесса Альба Асусена Торрес на Пушкинском празднике в Полотняном Заводе. 1989 г.

С середины восьмидесятых живёт в Москве. Член Союза писателей России и Никарагуанской ассоциации писательниц ANIDE.

Лауреат международной премии им. Рубена Дарио. Опубликовала сборники стихов: «Одни под небесами» (1998), «Когда идёт дождь» (2001), «Пепел и вода» (2010) и другие. Стихотворения поэтессы включены в целый ряд поэтических антологий. Её стихотворения переведены на многие языки мира. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Юность» и других журналах, изданных в США, Испании, Мексике…»

Дополним, помимо испанского и русского, Альба Асусена Торрес знает английский, французский и немецкий языки.

Однако вернёмся к новым делам Романа Федичева. Позже он вспоминал: «В 1991 году я с единомышленниками организовал литературное агентство «Глагол», где работал главным редактором. Мы публиковали ту литературу, которая после 1917 года была хорошо забыта. Однако после разногласий с руководителем «Глагола» ушёл из агентства и организовал новое издательство — АО «Голос». Издавали Пикуля, неизвестное Леонида Леонова, Ивана Бунина и других. Позже ушёл из «Голоса» и организовал с друзьями издательский центр «Глобус». Как известно, самый крупный издательский проект «Глобуса» — «Шедевры русской литературы XX века», пять томов…»

Во второй половине восьмидесятых Роман был частым гостем в Калуге. В историческом центре города, недалеко от калужской пристани, в старом деревянном доме на Красной Горе побывала почти вся творческая калужская элита. Там проходило «неформальное общение»: писатели, артисты, художники, журналисты вели творческие разговоры и политические споры. А обсуждать было чего: началась «перестройка»! Разумеется, дискутировали не «в сухую», обсуждая, в том числе и горбачёвский «сухой закон», который считали делом несерьёзным. Самым актуальным вопросом было обсуждение внешней и внутренней политики КПСС.

Когда Роман привёз в Калугу молодую жену, калужские писатели, пообщавшись с ней и прочитав её стихи, единодушно решили: «Альба — наш человек!» В смысле — человек творческий, настоящий поэт! Мы тогда не знали, что эта молодая симпатичная женщина с тёмно-карими глазами прошла у себя на родине суровый и опасный путь революционной борьбы с режимом диктатора Анастасио Самосы: работала в подполье, участвовала в боях Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа против карателей… Мы видели в ней только замечательного поэта, который искренне любит Россию и русскую классическую литературу.

Незабываемым для калужан стало выступление Альбы Асусены Торрес на Пушкинском празднике в Полотняном Заводе, где она читала свои стихи сначала на испанском, а затем на русском. Тогда Альба вполне заслуженно сорвала бурные аплодисменты.

У Романа и Альбы в Калуге было много друзей. Писательская чета, приехав из Москвы, нередко заходила в старый деревянный дом Татьяны и Анатолия Матвеевых, что находился рядом с калужским стадионом на улице Баррикад. Это были старые друзья: с Татьяной Роман учился на одном факультете КГПИ им. К. Э. Циолковского, а с Анатолием, начинающим писателем, был знаком ещё со времён литобъединения «Вега», которым тогда руководил Валентин Волков.

Старый домик (увы, сегодня уже снесённый) имел то преимущество по сравнению с соседними многоэтажками, что сохранял при себе, почитай в центре Калуги, небольшой уютный садик, где в хорошую погоду можно было спокойно посидеть под яблоньками, развести огонёк, пожарить шашлык и, громко разговаривая и даже исполняя под гитару песни, праздновать встречу с друзьями хоть до самого утра.

* * *

Пройти мимо такого литературного явления, как пребывание в городе Калуге известной латиноамериканской поэтессы, областная пресса, конечно, не могла. Своего телевидения в Калуге тогда не было, но вскоре жители области смогли прочитать на страницах «Молодого ленинца» (сентябрь 1989 года) интересное интервью с никарагуанской поэтессой, лауреатом международной премии имени Рубена Дарио Альбой Асусеной Торрес Мехия. Интервью называлось в духе того времени «О юности, стихах и революции».



Слева направо: журналист Геннадий Рогов, Альба Асусена Торрес, Роман Федичев, Татьяна Матвеева, (?). Калуга, 2007 г.

Нет возможности полностью привести его, но слова иностранной поэтессы о Калуге и жителях города не могли остаться незамеченными. Приведём их:

«Мне приходилось нередко приезжать в ваш город (мой муж — калужанин), и должна признаться, что мне Калуга нравится. Довелось побывать во многих городах Западной Европы и Америки. Много городов, теряющих или уже потерявших свой исторический облик. Это всегда потеря для народа. А ваш небольшой городок сумел сохранить своё лицо, хотя и тут проявляется угроза потерять свою неповторимость. Меня радует, что в последнее время у вас в городе стали больше внимания уделять реставрации. Русские православные храмы — это же такая красота!

За несколько лет жизни в СССР я присмотрелась и к людям, живущим в России. Может быть, это покажется странным, но русские очень похожи на латиноамериканцев. Удивляет непосредственность, искренность, доброта вашего народа. В Западной Европе люди по складу характера несколько иные: более пунктуальны, более расчётливы, более замкнуты...»

Роман купался в лучах успеха Альбы, был горд своей женой и производил впечатление человека, у которого вполне удачно сложилась жизнь. Таким он мне тогда и запомнился.

В этом же номере «Молодого ленинца», как раз под интервью, были напечатаны стихи Альбы Асусены Торрес, в переводе лучших советских переводчиков с испанского. Настоящая поэзия, в отличие от человека, никогда не стареет. Она вечна! Поэтому в завершение вполне уместно ещё раз прочесть эту замечательную лирику.

Дни

По пути от твоего до моего дома
я кое о чём тебе расскажу —
Расскажу о моей земле, о солнце,
поджигающем листву апельсиновых
деревьев,
о жарком воздухе и автобусах,
исчезающих в последние часы
сумерек
на дороге из Манагуа в Чонталес,
о первом запомненном дне
рождения
и о пылающих лицах детей.
Так славно было удить рядом
с братом,
подол моей юбки весь был в тине,
я забрасывала леску подальше
и думала, обмирая, о будущем.
Нашими были птицы, ветер,
Нашей была луговая трава.
Я уже рассказывала тебе об этом,
а после я впервые солгала маме
и обнаружила, что у меня крепкие
ноги,
маленькие ступни и ловкое тело,
я всё время думала о своём,
и стала стыдиться открытых
взглядов,
а там — первые вопросы к жизни.
Стали короче расстоянья и лето,
в апреле в городке появился
цирк —
карточная судьба на дне шляпы,
стройный смуглый гимнаст
дотягивался до самой луны,
я, Майра и Ямилет влюблялись.

По вечерам мы усердно молились,
рассказывая Богу о наших грехах.
В ту пору у сестры был жених,
а я была бесконечно печальной.
Некоторые подруги начали
по ночам убегать из дому
и, словно это была игра,
стали юными матерями.
Другие отправились в среднюю
школу —
дрались, охотились за светляками.
Сандра, Кубия, Ксиомара
и я покинули наш городок.
Всё осталось там, навсегда,
в зелёном покое огромной горы,
и сон о реке меня покинул.
Потом появились Ахмед,
Алехандро
и другие ребята — они по секрету
рассказали мне о Сандино.

Поэты

Ахмету, Вуиллу, Санти и другим…

Я жила среди поэтов, это безумцы,
почти всегда плохо воспитанные,
у них нет денег, и они докучают,
порой им скучно, и они обманщики.
Они сторожат дороги,
следят за птичьими перелётами,
водят хороводы со звёздами,
и порой один из них
превращается в аэролит,
стремительно и вечно кружится.
Я столько жила среди поэтов,
что угадываю их издалека, —
там, где проходит поэт,
всегда есть женщина и ребёнок,
утренняя или ночная птица,
сигареты и пустые бутылки,
печальные стены, одинокие улицы,

муравьиные тропы, а также
тропы,
проторённые древними босыми
ногами,
и один-другой свергнутый
диктатор.

Перевод с испанского Павла Грушко

* * *

Господи,
пошли мне слово, которое ты ещё
не придумал,
слово, которое можно кричать
морю, —
и его не испугаются сирены,
крабы и баркасы.
Одно только слово, которым
в предрассветный час
можно назвать сразу всё,
слово, которое догонит птицу
в полёте
и откроет тайну птичьего гнезда
на дереве
и тайну, существующую
до семечка,
давшего жизнь дереву.

Предупреждение

Я создала его —
этого мужчину, которого
ты любишь.
Я растревожила его душу, словно
спящую птицу,
и разбудила его тело,
которое ты сейчас ласкаешь.
Я внушила ему древнюю гордость
и ночами, пока не взойдёт солнце,
объясняла непонятные слова.
Ещё я научила его мечтать,

я читала ему свои стихи —
о нём и о его глазах.
Я выучила песни на его языке,
много ездила, чтобы узнать
его страну.
Ожидая лета, я посадила овощи
на грядке,
Как мало было между нами соли —
ведь мы часто так пытались всё
подсластить!
Я наливала его любимое вино,
и мы вместе грустили и смеялись.
А теперь всё осталось только в этих
стихах.
Написанных для других,
которые любят другие,
похожие на нас или такие же, как
мы.
Я не могу запретить тебе
любить его,
ведь я его тоже любила.
Но предупреждаю:
он коварен и слишком опасен,
и забыть его невозможно.

Перевод с испанского Нины Стручковой



Алексей Мельников

Алексей Александрович Мельников родился в 1963 году. Окончил Московский институт стали и сплавов. Работал на промышленных предприятиях, в прессе. Лауреат многих журналистских премий. Пишет статьи на разные темы, в том числе о литературе. Публикуется во многих печатных и сетевых изданиях. Живёт в Калуге.

ПРИТЯЖЕНИЕ ОКИ

Борис Зайцев и Юрий Казаков

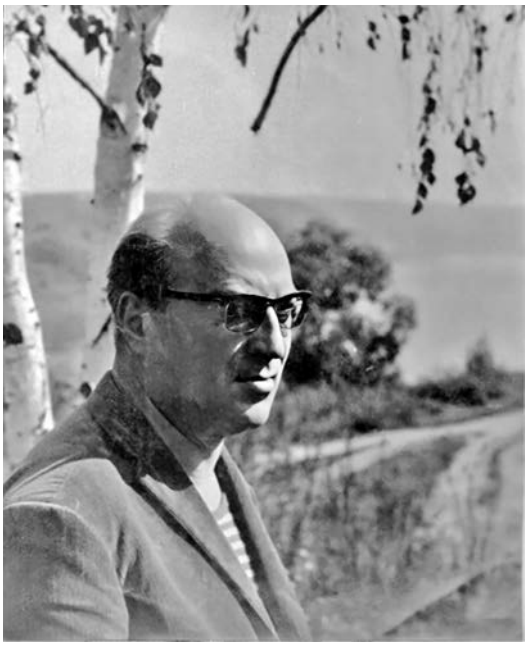
Судьба сводила их не раз. И, как правило — заочно. Единожды только — наяву: в конце 60-х в Париже, когда Юрий Казаков постучался в дверь уважаемого классика, дабы расспросить Бориса Зайцева, старейшину русской литературной эмиграции, о другом великом изгнаннике — Иване Бунине. Но это было уже в финале истории соприкосновения двух выдающихся литературных биографий: Бориса Зайцева и Юрия Казакова. До этого они не виделись ни разу, хотя исхаживали порой вполне себе идентичные пути. И главным образом соприкасающиеся с вдохновляющими своей красотой Окскими далями.

Оке Борис Зайцев был обязан первыми импульсами своего литературного творчества. Когда, будучи ещё совсем мальчиком, был очарован красотой Оки близ маленького именьица Будаки, что его отец, горный инженер на Мальцовских заводах, прикупил под боком у Калуги в качестве летней резиденции для своей семьи. «Есть места на земле, — пишет в своей знаменитой тетралогии «Путешествие Глеба» о Будаках Борис Зайцев, — как бы уготованные душе». Может быть, именно здесь, отмечает писатель, и «проявился в нём впервые дурман мечтательности». То есть — зародился будущий литературный классик Борис Зайцев.

Интересно, что тем же обстоятельством, а именно — близостью к чарующим окским берегам — мы обязаны и становлению другого литературного классика — Юрия Казакова. Тот прикипел к самой русской из русских рек три четверти века спустя, остановившись сначала на время в Тарусе, потом — в живописной деревне Марфино недалеко от Тарусы. И тот же результат: рождение нового литературного классика под благословенный



Б. К. Зайцев (1881–1972)



Ю. П. Казаков (1927–1982)

плеск прибрежных окских волн, которому мы обязаны и появлением рассказа «Трали-вали», и «Северного дневника» и самого «казаковского», как именовал его сам автор, рассказа «Осень в дубовых лесах». Именно в «Осени...», родившейся здесь, на берегах Оки, и произошла вспышка самостоятельного, ни на кого не похожего литературного феномена — стиля «нежных и дымчатых» казаковских рассказов.

«Я хочу купить себе тут дом, так мне нравится в Марфине, — пишет Юрий Казаков в одном из писем. — Как здорово! Такие дали, такие детали, что ай люли! Я дрожу...» Приглашает Паустовского сюда и в шутку предлагает меняться: он покупает неказистый дом Паустовского в Тарусе, а взамен дарит Константину Георгиевичу красоты Марфино и окских берегов впридачу.

Примерно так или почти так приворожила Ока и старшего товарища Юрия Казакова — Бориса Зайцева. Но — много раньше.

«Что может быть важного или значительного в трёхмесячном пребывании мальчика с матерью и сестрой в глухом именьице под Калугою, в восьмидесятых годах прошлого века? — пишет Борис Зайцев. — Ничего замечательного! Замечательно разве лишь то, как расцвёл, после яблонь, жасмин под окнами, белыми с золотом цветами. Как по всему дому этим жасмином благоухало — ветви с цветами прямо лезли из окон в комнаты. Как блестел самовар на балконе, и налево, в прорубленный среди лип просвет, сияла Ока. Замечательно было — среди цветущих вишен, слив, яблонь, при тихом гудении пчёл пройти по дорожке к дубу. Тропинкою вдоль частокола повернуть вправо, под тёплым солнцем сквозь облачка высокие, в тёплом,

райски-благословенном благоухании сада дойти до калитки в частоколе — отворить её, выйти. Там под клёном скамеечка. И вот пред тобой Божий мир! Вот он, тут!»

Мы идём тем же крутым спуском к Оке. Вокруг — долговязые липы (которые сегодня никто, конечно, не прореживает), раскидистые клёны и старые расколотые дубы. Пытаемся среди них угадать тот, что служил навигатором будущему писателю в детстве. Может — этот, а может — тот… Есть просто древние. Кто знает, не касалась ли рука маленького Бори именно его.

«И всего, может быть, замечательнее Ока, — продолжает вспоминать Борис Зайцев, — к которой можно сбежать по крутому спуску — она делает здесь плавную, как бы зеркальную излучину, удаляясь направо к Серпухову, налево к Калуге».

Юрий Казаков не единожды мысленно и наяву возвращается к Оке, всякий раз тоскуя о том, сколь по сердцу были ему эти места и что жизнь не сложилась так, чтобы остаться тут навеки. «У меня вот только что родилась гениальная идея, — пишет в одном из ранних писем Юрий Казаков. — По приезде в Москву и при отъезде в Тарусу я еду не через Серпухов, а через Калугу. Там я иду в Калужск. отд. Союза писателей, становлюсь на колени и бью челом насчёт того, чтобы они вошли в Калужское земство, чтобы оно мне разрешило построиться в Марфино Ух!..»

Ока опоясала и связала судьбы двух выдающихся русских писателей. Не только их, но их — в первую очередь. Наделила вдохновением. Зарядила творческим запалом на годы вперёд. Может быть — на всю жизнь. Юрий Казаков будет до смерти тужить по Оке, вспоминать её и в рассказах о Франции, и северных историях и в письмах из Абрамцево, где всё вроде бы хорошо, кроме одного — нет рядом любимой Оки: хоть, как в том же Поленове, или — Тарусе, или — в Марфино.

Борис Зайцев и через полвека не допустит ни одной неточности в подробнейших мемуарах о своих благословенных детских мгновениях в Будаках, в окском имении отца, что яркими мощными вспышками осветили дальнейший творческий путь выдающегося русского литератора.

Места на Оке, где «открылся Божий мир» выдающимся русским прозаикам, и по сей день никуда не делись и, дай Бог, останутся здесь навсегда. Одна печаль: памятных знаков о принадлежности их к рождению великой русской прозы — пока что никаких…

Виктор Боченков



Виктор Вячеславович Боченков — кандидат филологических наук, писатель, журналист. Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия». Автор книги «П. И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, старообрядчество» (2008), сборника литературоведческих эссе «По голгофским русским пригоркам», научных статей, краеведческих исследований и др. Лауреат премий «Имперская культура» им. Эдуарда Володина Союза писателей России, журнала «Наш современник».
Живёт в Калуге.

«О ЗЕМЛЯКИ! МНЕ ВЕЧНО СЛАВИТЬ ИХ...»

Валентин Алексеевич Волков: первые шаги в литературу

Начну обыкновенно. Валентин Алексеевич Волков родился в августе 1936 года в селе Ивановское Козельского района. С ним не связано ни громких событий, ни имён, ничего другого, что отличало бы от сотен других сёл и деревень среднерусской полосы…

А дальше, что касается детства, можно посмотреть хотя бы автобиографию в сборнике «Писатели Калужской области», который в 2004 году выпустило издательство «Золотая аллея», или догадаться: война, которая пришлась на самый нежный возраст, когда человек кое-что уже начинает понимать и осознавать. Из предисловия «О себе» к сборнику «Последняя невеста» (1979): «Сверху, нарастая гулом, сыпались бомбы. Между маленькими домами нашей соломенной деревни ходили взрывы, распихивая стены и забрасывая их землёй. На земле было страшно. Под землёй — голодно и сыро. Шёл мне шестой год».

5 декабря 1942 года на фронте погиб Алексей Иванович Волков — отец писателя. Благодаря сайту «Память народа» можно отыскать документы с упоминанием его имени. Похоронен он был, как в них указано, на юго-западной окраине деревни Гончарово Сычёвского района Смоленской области. В отдельной графе именного списка «безвозвратных потерь» (именно так называется он на казённом языке) значится жена: Волкова Анна Павловна.

«Ни дедушки, ни бабушки со сказками, ни отца, ни дяди (все полегли на войне), ни газет, ни радио, ни книг, ни разговоров о них — откуда могло прийти в голову десятилетнему мальчику, что на свете существуют стихи

и что их вообще можно сочинять? <…> Однако что-то заставило сдвинуть брови в поисках рифмованного слова, приучило отставать от ребят по дороге из школы, куда мы ходили за четыре с лишним километра в один конец…» Школа располагалась в деревне Лавровск, там же находился и сельсовет.

Первый поэтический сборник Волкова «За Калугою, за Окой…» открыло стихотворение «Родина». В нём звучит мотив ухода: в 1958 году деревенский парнишка поступил в Литературный институт и был вынужден оставить Ивановское. Кроме Козельска он не видел никакого другого города. Но расставание «уравновешивается» возвращением. Лирический герой осознаёт перемены в себе. Взрослость…

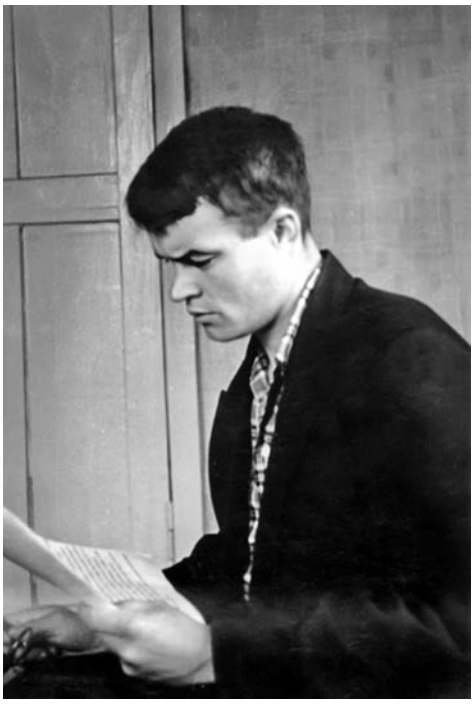
Вот и снова лёг предо мною
Мой задумчивый край Калужский.
Сладко пахнет мокрой травою
гретый берег пенной речушки.
Уезжал я. Тряслась телега,
на два
сердце моё разрывалось:
Я с одним из села уехал,
а другое — в селе осталось.
По какой бы ни шёл дороге —
друг о друге они томились,
А сегодня в едином вздохе,
как две чистые капли слились.
Кепку набок и душу настежь! —
Пробегу через всю округу.
Здесь росло моё звонкое счастье.
Счастье, здравствуй!
Дай твою руку! <…>
Эти стёжки, как ленты, узки, —
но они меня всюду носили.
Мой задумчивый край Калужский,
Ты — цветок на груди России!

Валентин Волков вспоминал, как услышал однажды имя Твардовского: «его книгу поэм постоянно носил с собой в заплечном мешке откуда-то прибывший к нам в деревню наёмный пастух. Вся перекоробленная, замызганная, в жёлтых дождевых подтёках, в табачных и хлебных крошках, книга представляла собой памятник простонародной читательской любви к родной литературе… У меня дух захватывало от простоты и выразительности рассказа! Вот уж действительно — всё на русском языке!» По совету этого «просветителя с кнутом» он рискнул послать Твардовскому тетрадь со стихами — всё, что к тому времени написал. Адрес не знал. На конверте указал коротко: «Москва. Писателю Твардовскому». «Разве такого — не найдут?»

Нашли!

Жаль, что автор «Тёркина» не сохранил этот, теперь уже уникальный, конверт. Но два письма Волкова остались в его архиве среди писем других

начинающих авторов. Их было много. Все просили советов. В 1960-е годы интерес к поэзии достиг небывалого пика. Она была ёмким средством высказаться, но требовала, конечно, мастерства, как всякое искусство. А мастерство — личностного роста.



Валентин Волков

В первом письме Валентин Волков признавался: «Пишу вам как земляку. От волнения не знаю, с чего начать.

Я давно хотел написать именно вам. Потому что считаю вас своим учителем. <...>

Я тоже с детства начал писать стихи. Писать их трудно, а печатать ещё трудней. В областной газете напечатал только два стихотворения, а больше не смог: то они меня не понимают, то я их».

Твардовский родился в Смоленской области, и к ней до 1944 года, когда была образована Калужская, относился и Козельск. Отсюда это «пишу вам как земляку». Волков упомянул, что в 1955 году окончил среднюю школу, а дальше никуда пойти не пришлось. Подросток, он остался единственным мужчиной в семье. Накануне поступления в Литературный институт, а это было в следующем, 1958-м, работал в колхозной кузнице.

Удивительно или, напротив, совсем не удивительно, что Твардовский ответил. По стихам видно, что пишет деревенский парень и неизвестно, что из него получится. Может, ничего. Что время тратить? Но... На первом письме Волкова осталась пометка Твардовского красным карандашом: «Отвечено». Другими были отношения между людьми, представлявшими собой, несмотря на все различия, единую общность, сплочённую советской идеей, как к ней ни относись...

«Ознакомился с вашей тетрадью. Стихи ещё очень слабые, ученические, хотя кое-где встречаются отдельные строчки, свидетельствующие о некоторых ваших способностях. Но наперёд ничего с определённостью сказать нельзя. Одно ясно, что печататься вам ещё рановато, рано браться за поэму, там — поверьте моему опыту — вас ждёт верная неудача». Таков был ответ Твардовского, неожиданный для начинающего поэта. Волков не сохранил это письмо, но частью переписал его в отдельную тетрадь. Что же делать, ответ честный, но суровый. На второе письмо Твардовский не ответил. Там были упрёки ему: вы, мол, взяли для разбора только одно стихотворение, не очень-то сильное. Однако молодой

автор приложил дальше несколько коротких стихотворений, и они дают возможность судить о самом раннем его творчестве, об опытах. Вот одно, называется «Котёнок».

Ты сегодня такой нескромный,
Я с постели смотрю давно.
В первый раз этот мир огромный
Ты увидел, сбежав в окно.
Сколько солнца, тепла и песен!
Ты сегодня лишь то понял,
Как домашний твой мир был тесен,
Сколько радости он отнял.
Эх ты, баловень беспокойный,
Ты не хочешь того понять,
Как не хочется мир огромный
На домашний уют менять.

Наивные строки, безусловно, слабые. Но жизненного оптимизма, согласимся, им не занимать. Последнее стихотворение, рядом с которым стояла крупными буквами приписка: «Можно ли их печатать?», называлось «Одуванчик»:

День от солнца светел.
Я иду домой.
Августовский ветер
Гонится за мной.
И пушинку-крошку,
Светлую, как лён,
На мою дорожку
Грубо бросил он.
Каждая травинка
Ставит крошке сеть.
Ты куда, пушинка,
Хочешь улететь?
Я лечу, не зная,
Где придётся сесть.
Под лазурью мая
Хочется расцвесть.

Сельская библиотека, которая обслуживала деревни под Козельском, в том числе Ивановское, выписывала «Литературную газету». В том же 1957 году Волков увидел в ней объявление: начинается набор в Литературный институт. Он послал туда стихи. Пришёл ответ: вы прошли творческий конкурс и допущены к экзаменам. Нужно ехать в Москву. Но, наверно, если б настояла мать, Волков бы остался, однако всё определило желание погибшего на фронте отца, чтобы сын учился, вырос, чтобы жизнь у него сложилась лучше… Строки из поэмы «За Калугою, за Окой…» автобиографичны:

Время шло.
Я окончил школу.
И старушке помощником стал.
Взял кувалду, и гром тяжёлый
По окрестностям застонал.
Осыпались искры за ворот,
Вспухли мускулы — что металл!
В институт, в незнакомый город
Я путёвку себе ковал.
И мечте моей подали руки
Седовласые профессора.
В дальний город,
В город науки
Мне уехать пришла пора.
Говорила мать:
— Не неволю,
Как-нибудь уж, пока жива...
Обожгли моё сердце болью
С болью смешанные слова.
— Хочешь, я чемодан открою,
Лошадь выпрягу — и конец!
— Нет, не надо, господь с тобою,
Поезжай, так хотел отец.

Валентин Волков поступил в Литературный институт на творческий семинар Евгения Долматовского — известного тогда поэта, в прошлом военного корреспондента, как многие, те же, например, Симонов и Твардовский.

С этого момента начинается его стремительный творческий и, что немаловажно, личностный рост.

Поэма «За Калугою, за Окой...» впервые была опубликована в журнале ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» в 1961 году в августе. Публикацию сопровождал портрет автора, ему здесь 25 лет. Обратим внимание на эпиграф, Твардовский: «Прошла война, а ты всё плачешь, мать». Новое произведение совершенно не похоже на «Котёнка» с «Одуванчиком». Перед нами поэт со своим взглядом на мир, пытающийся осмыслить близкую ему тему: историю семьи, рода, военное детство, судьбу родителей, матери. И, конечно, через всё это, свою собственную судьбу.

Главным редактором «Молодой гвардии» тогда был Андрей Пришвин, двоюродный брат известного писателя. В архиве журнала сохранилась его докладная записка, адресованная в ЦК КПСС и посвящённая отчёту о работе с молодыми литераторами. В записке упомянуто имя Волкова. Рядом — другие известные имена: Владимир Костров, который будет впоследствии вести поэтический семинар в Литературном институте; ленинградец Анатолий Поперечный (известный «песенник», вспомним, к примеру, «И снится нам не рокот космодрома...» в исполнении ансамбля «Земляне» — классику советской эстрады); вологодский поэт Сергей Вакулов упомянут с опечаткой, имеется в виду Сергей Викулов — будущий главный редактор журнала

«Наш современник»; Василий Белов, известный прозаик, который начинал как поэт и в Литературный институт поступал со стихами, первой его книгой был поэтический сборник…

Сборник Валентина Волкова «За Калугою, за Окой…», куда вошла и одноимённая поэма, выпустило в 1962-м Калужское книжное издательство. Он был в твёрдом переплёте, тираж составил 2 тысячи. Вступительную статью написал Евгений Долматовский. Она была достаточно общей, в ней упоминалось, что начинающий автор колхозник, что он действительно талантлив, что раньше не слишком-то много молодых людей ехало в московский институт из деревень… Если коротко, добрые, улыбчивые слова. И как доказательство, что всё это подлинно, — подпись в виде факсимиле с датой от руки: 17 марта. Книга была сдана в набор, как сообщает последняя, техническая, страница, 31 марта, а подписана к печати 29 мая. Её редактором выступил известный тогда калужский писатель и журналист Владимир Кобликов, к сожалению, слишком рано умерший…

В архиве Литературного института сохранились журналы творческих семинаров, который проводил в том числе Долматовский. Читаю один из них, это сентябрь 1962 года. Преподаватель спрашивает студентов, как прошло лето, что могут они представить для предстоящей защиты диплома. Книга книгой, и не только Валентин Волков её к тому времени выпустил. Хорошо бы что-нибудь ещё.

Но давайте представим, что мы на этом семинаре.

«Сидел в сарае и писал стихи, — рассказывает Волков и шутит: — Женил двух парней, а сам остался холостым. Ударился в космическую пыль. Воображение — клином».

— Не шамань! — обрывает его сокурсник Анатолий Заяц. Он родом с Украины, из-под Винницы. Его отец преподавал русский язык в украинской школе и в 1945-м погиб в Венгрии. Дети войны должны были теперь, встав на ноги, докончить то, что не успели, о чём мечтали отцы. Студентов тех лет роднило в том числе общее горе — безотцовство…

Волков прочитал новое стихотворение. Оно называлось «Седьмой материк» и было им включено в очередную книгу «Солнечный бунт».

О сердце,
Материк горячий,
Откройся слову моему!
Какими тайнами охвачен,
Не доверяешься ему.

Я горы книг прошёл,
Задумав
Тебя узнать.
Я полюбил
Всех Магелланов и Колумбов,
Кто у твоих пределов был.

Теперь,
Когда окрепла воля,
Понятней стало и слышней
Кипенье жизненного моря.
Что бьётся в тесноте твоей…

— Прочитай ещё раз медленно, — попросил Долматовский. — В этих стихах много мысли. В них надо вчитываться. Но я скажу с ходу. Форма традиционная. При ней надо избегать штампов в изобразительных средствах, а у тебя «встревоженная птица», «неведомые края». «Встревоженная птица» — об этом должен сказать читатель.

Имелась в виду строка «Душа, встревоженная птица, / Нигде затишья не найдёт». Это так и осталось. А другую строчку Волков поправил. Было: «Пусть говорит и судит всяк, / Что слишком часто я скрываюсь / В твоих неведомых краях». Стало: «В твоих запамятных краях».

В разговор вступил другой сокурсник, Анатолий Куприн:

— Стихам Волкова недостаёт поэтичности. Всё содержание у меня прошло через разум. Стихи меня не трогают.

— Тебе надо опохмелиться, — пошутил ещё один студент Александр Говоров.

— Базарная острота, — совершенно справедливо одёрнул Долматовский.

Атмосфера занятий, чувствуется, была непринуждённой. Но наконец наступило время защиты диплома. Её стенограмма тоже сохранилась. Если дневник писал кто-то от руки, то её отпечатали на машинке. Одним из выступавших был известный в своё время поэт Дмитрий Ковалёв.

— У него есть такие стихи, — сказал он о Волкове, — которые заслуживают лучшего отзыва, которые стоят некоторых книг полностью, да ещё и остаток останется. Я прочитал стихотворение «Бабы». Давно я таких стихов не читал… Ничего сногсшибательного нет, но меня эти стихи очень тронули, потому что за ними, может быть, судьба целой страны угадывается.

Стихотворение вошло в сборник «Солнечный бунт» 1963 года. Ему предшествовало посвящение: «Моим односельчанам».

Этот вечер…
И частушки эти…
Этот луг, израненный войной.
…Приезжали в председательской
«карете»,
Как за счастьем,
За гармошкою,
За мной.

Не долга была дорога,
Луговая тихая.
Мы до самого до стога
Мчали, дико гикая.

А у стога
Вдруг дорога
Оборвалась, росная,
А у стога —
Баб немного,
Радость с водкою у стога,
Сабантуй,
Откосная.

— Ой! Ой!
Дайте мне одной!
Я плясать хочу,
Своё горе затопчу.

И засыпались,
посыпались,
рассыпались
лады.
— А вы что так поздно прибыли,
Мы все позаняты! <...>

У гармошки отнимались руки,
Но душа горела без вина.
О какой любви
И о какой разлуке
Пела эта пьяная жена?
У неё ни сына и ни внука.
Никого —
Одна!
О какой любви
И о какой разлуке
Пела эта бывшая жена?

В тонком голосе
Ни слёз, ни крика.
Пьяным горем скомкано лицо.
«Ты приди-ка, — пела, — ты приди-ка,
Ключевой водою вымою крыльцо».

А другие —
Вьюгою летали,
Падали от быстроты
И на кофтах по-мужицки мяли
Душные горячие цветы.

И была во всём такая ярость,
Что гармошка прятала глаза.
Гибнущая молодость и старость.
По лицу бегущая слеза.

...Полночь,
От усталости лиловая,
Вывела туманы на луга.
Милая,
Судьба моя,
Любовь моя,
Как ты мне сегодня дорога!

— Я вспоминаю другое стихотворение, такого же масштаба, — продолжал Дмитрий Ковалёв. — Там говорится об укрощении природы, стихии. Там говорится о кузнеце, который куёт коня. У жеребца взыграла дикая кровь, а у кузнеца — тоже. Но кузнец смог взять себя в руки, и он победил коня. И, победивши, шёл усталый, от кузницы... И так это здорово сделано в стихотворении, так образно показано, так не перескажешь... Там это написано так просто и естественно, и слово-то взято избитое, измызганное — «золотой», а как оно играет!.. У Волкова впереди большая дорога, но и опасная: он может свернуть на лёгкий путь, и это будет плохо.

Здесь имеется в виду стихотворение «Горячая кровь». Оно вошло в сборник «За Калугою, за Окой...» Это жанровая сценка. Кузнецу нужно подковать упрямого мерина, а тот не хочет поставить ногу в станок. И вот — поединок, кто кого переупрямит. Соперники стоят друг друга...

Следующим выступавшим был известный критик Валерий Друзин. Он заведовал кафедрой современной советской литературы в институте.

— Конечно, те большие сдвиги и изменения, которые произошли и происходят в деревенской жизни после XX съезда партии, должны быть отображены в поэзии. Отчасти об этом говорят очеркисты, но этого маловато.

Речь идёт о произведениях Валентина Овечкина, его цикле «Районные будни», и рассказах-очерках Гавриила Троепольского. В 1955-м в издательстве «Молодая гвардия» у него вышел сборник «Прохор Семнадцатый и другие» с подзаголовком «Записки агронома». Они без прикрас показывали сельский быт и труд со всеми несовершенствами, включая управленческую вертикаль: председатель районного комитета партии — руководитель колхоза — рядовые колхозники. С этих отдельных (пока ещё) очерков, а к ним можно добавить произведения Александра Яшина, Ефима Дороша, развилось целое литературное направление, окрещённое потом «деревенской прозой». Насколько это удачно или нет, особый разговор. Придёт пора, к нему примкнёт и Валентин Волков...

— Надо сказать об этом поэту, для которого деревня была бы кровной темой, — продолжал Друзин. — Волков говорит об этом бесстрашно, говорит он об этом по-разному — о своих сверстниках, о людях старшего поколения. Вы знаете, ведь это очень трудно, выразить поэтически характер, запечатлеть в поэме или стихотворении жанровые сценки, колорит. Это гораздо труднее, чем выразить своё личное настроение к чему-то, своё личное «я», свою любовь, грусть. А Волков как раз может броско и ярко показать колорит, окружающих людей, сцены из жизни, как мальчик и девочка встречают

ягнят у колодца… Очень хорошо это сделано! Есть все основания ждать от Волкова новых интересных творческих достижений.

Действительно, уже на примере «Баб» и стихотворения «Горячая кровь» видно, что жанровые сценки у Волкова получались замечательно. Сюда же относятся строки, отмеченные взыскательным критиком. Он имел в виду стихотворение «Грусть» (вошло в сборник «За Калугою, за Окой…»).

Иваново,
Снова в памяти вырасти,
Ракиты твои мне в столице снятся.
На них вечерами
В туманной сырости
Холодают в гнёздах грачиные яйца.
А там, под ракитами,
Домик маленький,
Жасминовый куст под окошко жмётся.
Сестрёнка в моих растоптанных валенках
С краюшкою хлеба
Встречает ягнят у колодца.
Сестрёнка.
Глаза её ночи грустнее,
Синие, словно июньский вечер.
Стану невидимый рядом с нею
Слушать плачущий крик овечий.
Рядом с нею смешно и любо.
Ягнята, как дети, бегут к ней сами
И рады не в пальцы с хлебом,
А в губы
Сначала чмокнуть её
Губами.
Смешные, стою — боюсь распугать их,
Пускай отведают вкусного хлеба.
Какое им дело, что в этой хате
Я с прошлого лета ни разу не был.
Не видел, как с крыши солому сняли,
Как птичьими перьями дрань стелили…
Сестрёнка,
На мягком твоём одеяле
Луна — что горстка сахарной пыли.

Короткое слово сказал на защите диплома поэт Александр Коваленков:

— Думаю, что из Волкова получится талантливый для русской литературы поэт, не меньший, чем, например, бывшая моя семинаристка Белла Ахмадулина и другие. Они преувеличены, а он заслуженно может называться хорошим поэтом. Поможем ему получить диплом с отличием.

Тут стоит немного остановиться и отметить один момент. Я не признаю определений «золотой век» и «серебряный век», которые порой применяются в отношении литературы. Это откуда-то из области цветной металлургии.

Это просто метафоры, образы, коими принято обозначать значительный подъём в поэзии, прозе, искусстве художественного слова. Он был в пушкинскую эпоху, в начале XX столетия, был и в 1960-е годы. Назвать их «бронзовым веком»? Будет странно. Валентин Волков вступал в литературу в период огромной популярности поэзии, которая вышла на эстраду стадионов, собирая тысячи поклонников; вместе с тем возник совсем особый поток, получивший название «тихой лирики». Не злободневность темы, не плакатная броскость, как то было свойственно, скажем Евтушенко или Роберту Рождественскому, не декларация верности ленинским идеям или лозунгам вообще, но осмысление начал человеческого бытия и значения малой родины в судьбе — вот что стало важным для второго направления, к которому можно отнести и калужского поэта.

И ещё. Такие стихотворения, как «Бабы», «Горячая кровь», «Грусть», — совершенно непохожи на «Седьмой материк». Они — от чувства, от опыта наблюдений за людьми, от личной судьбы. «Материк» — от рассудка. Думаю, прав тот однокурсник Волкова, который ему на это указал. Всё правильно, всё отшлифовано, выверено, безупречно, даже искренно. И в книгу можно включать. Но… содержание «идёт через разум». Не трогает. Не жжёт.

В заключение выступил Евгений Долматовский как руководитель семинара. Он сказал обычные слова: к нему на семинар пришли люди с опытом работы на производстве, на селе. Волкова «воспитала кузница». Он перспективный поэт.

Пять коротких лет учёбы были временем стремительного творческого и личностного роста. Валентин Волков нашёл свои темы, освоил способ раскрыть их, овладел поэтической техникой, смелостью, новыми размерами (дольники и тактовики) и средствами художественного выражения. Это стихотворение, которое вошло в сборник «Солнечный бунт», примечательно тем, что автор стремится к широким обобщениям, уже говорит о судьбе поколения детей войны, к которому сам принадлежал.

Стою,
Прислонившись к берёзке тонкой,
А ветер
укачивает меня.
И нежно чувствуешь себя ребёнком
На мягких руках
Далёкого дня.
Стихала война.
Овдовела деревня.
Кто оплатит страданья и руки её?
Подымался народ моего поколенья,
Поднимался расплачиваться за всё.
Несмышлёный, оборванный, гордый
Шёл за плугом,
за гробом,
за шёлком знамён.

Поднимал через силу,
Глядел через годы,
Любил через возраст,
Мечтал через сон.
Тот день…
Всё в нём было суровым, кромешным…
Но почему
Через столько лет
Он вспоминается солнечным,
нежным?
Нету у детства иных примет.



В. А. Волков

Трудно подумать и поверить, что когда-то, всего пять лет назад, этот же автор писал стихи о котёнке, «сбежавшем в окно».

25 апреля 1963 года в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья Анатолия Зайца «Сердце поэзии». Она была приурочена к очередному совещанию молодых писателей. Эти мероприятия ЦК ВЛКСМ организовывал регулярно. В статье упоминался Валентин Волков.

«В журналах “Октябрь” и “Сельская молодёжь” появились стихи Вал. Волкова — сельского парня, пришедшего пять лет назад в Литературный институт прямо от кузнечного горна. Недавно вышла его книга “За Калугою, за Окой”. В издательстве “Молодая гвардия” вот-вот выйдет второй сборник поэта. На днях он защитил в Литературном институте свой диплом, диплом с отличием. Своё призвание молодой поэт видит в том, чтобы “от строчки, как от стали, искры падали в сердца”. Вал. Волков работает вдумчиво, серьёзно. Он видит, знает своего героя, он хорошо слышит и понимает время».

Второй стихотворный сборник Валентина Волкова «Солнечный бунт» вышел в 1963 году в Москве в издательстве «Молодая гвардия». Книгу сопровождает портрет автора на авантитуле. Я бы выделил в нём одно стихотворение, его тема в будущем войдёт и в прозу Волкова: разрыв с деревней, но здесь на первый план выходит не «производственная», а морально-этическая проблематика, вопрос человеческого бытия на земле.

Ты теперь
До бровей городская,
Носишь тонкие кофты,
сквозя плечом,
По сухому асфальту чётко ступая,
Вечерами грустишь.
О чём?
Может, в запахе камня и дыма ты
Вдруг припомнишь
Тёплый,
живой,
Огородом под гору сдвинутый
Закрестованный домик свой?
Те заботы, что свет тебе застили,
Не ушли с тобою вослед.
Одиночество старой матери
Наряжают в гречишный цвет.
Там,
За синими километрами,
Где преснеет полынь от рос,
Убирают подружки лентами
Темнолистые косы берёз.
Пахнут руки у них геранями,
Понадречной жирной травой.
Сколько песен споют до утра они,
Прислонившись к заре головой!
Может, в девичьей грусти замутится
Грусть, которой болела ты.
Всё равно
Эта тихая улица
Им родней городской тесноты.
Что же брови твои тяжелеют?
Без труда ведь с деревней рвала.
Или, может быть, всё-таки с нею
Ты когда-то счастливой была?

Понятие «деревенская проза» слишком условно и отражает только содержательную фактуру, тогда как проблематика произведений таких писателей, как Василий Белов, Валентин Распутин, Фёдор Абрамов, Иван Акулов и в их числе — Валентин Волков, куда шире и глубже, чем простое бытописание или осмысление «производственных» реалий на селе (плохой председатель — хороший агроном и пр.). Понятие «деревенская проза» не отражает и не выражает философско-нравственное содержание произведений, направленных на поиск абсолютных духовно-нравственных основ бытия человека. А они уже подняты в приведённом стихотворении.

Лучше пользоваться термином «онтологическая проза». Она направлена на осмысление судеб русского человека вообще, русского крестьянства в частности. Она основывается на идейно-эстетических принципах почвенничества.

Ей свойственная своя концептосфера, и, если обратиться к стихотворению, можно отметить такие слова-понятия, как «дом», «счастье», «чужой» город, «своя» деревня — «малая родина», где остались подруги детства... Русская онтологическая проза ставила задачей осмыслить духовную суть социальных сдвигов на селе в конкретных исторических событиях, развитие (или искажение) духовных основ человека. Это стихотворение, где поднята тема разрыва связей с «почвой», — только начало, только прицеливание, только попытка отыскать собственные ответы на непростой вопрос: «Что с нами происходит?» Кем станет, куда идёт человек?

Будучи студентом, Валентин Волков познакомился с известным в те годы поэтом Василием Фёдоровым. С другим однокурсником «по наглой студенческой простоте» они, узнав его адрес, пришли к нему в гости. Автор «Проданной Венеры» их принял, уделил время для разговора. Как это было, Волков рассказал спустя многие годы в статье «Отдам народу сердце». Она была опубликована в декабрьском номере журнала «Москва» за 2002 год.

В поэзии Фёдорова привлекала «пронзительная лирическая мощь», «изящная, подтянутая образность». И деревенская тема. Его поэма «Золотая жила» посвящена непростой судьбе кузнеца Харитона, который кувалду называл не иначе как молотком, был наделён немалой силой. И непростой судьбой. Фёдоров повествует о своих корнях, о предках. Харитон — дед рассказчика. Он, влюбившийся в замужнюю женщину, не сумел разорвать этой связи, а когда попытался, она сама ушла к нему, оставив мужа. Выход был один — покинуть село. По сюжету Харитон погиб в Гражданскую, воюя на стороне красных партизан. Всё действие происходит в Сибири.

«Только что вышедшие книги его (Фёдорова. — *В. Б.*) стихов и поэм — "Дикий мёд" и "Белая роща" — буквально ходили по рукам в сопровождении крепких афоризмов из них, особенно из поэмы "Золотая жила"», — вспоминал Валентин Волков. Судьба Харитона во многом типична для крестьянина, когда тяжёлый труд был повседневностью. «Он до смерти работает, до полусмерти пьёт», — обмолвился об этом ещё Николай Некрасов. Фёдоров наделил своего Харитона и этой привычкой, не обойдя её стороной. И, что касается афоризмов (Волков не стал пояснить, что именно тут имеется в виду), думаю, подразумевались следующие строки с вопросом:

...Отчего был дед на зелье лют,
Почему сыны твои, Россия,
Больше всех на свете водку пьют?
Почему?..
Не надо удивляться.
Наши деды по нужде, поверь,
Пили столько,
Что опохмеляться
Внукам их
Приходится теперь...

В статье «Отдам народу сердце» Волков обозначил основной темой Фёдорова красоту в самом широком и разном понимании слова, и это верно. Внешняя красота человека и красота (величие) его подвига, его самопожертвования — основная проблема поэмы «Проданная Венера», но это требует отдельного рассказа… Несмотря на разницу в возрасте, в жизненном опыте, поэты — один из калужской глубинки, другой из села на Кузбассе — поддерживали тесные отношения и переписывались. Василий Фёдоров приезжал в Калугу, и Волков в своей статье вспоминал, как показывал ему город. Он опубликовал его письма в Калугу. «Валентин, многие ваши стихи так легко легли мне на душу. Деревенские мы, вот что… Живём в городах, а нет дня, чтобы не вспомнилось родное, уходящее… Ваши мысли о деревне грустны. Увы, веселее и не будет. Вопрос из вопросов: кому там работать? Старики доживают, молодёжь уходит. А хлеб все едят…» — такую свою печаль высказал Фёдоров в одном из них.

Фёдоров написал предисловие к поэтическому сборнику Валентина Волкова «Улица ветра». Он вышел в свет в издательстве «Советская Россия» в 1969 году. В перспективе, если изучать творческое наследие Волкова, было бы интересно сопоставить его с Фёдоровым.

Окончив институт, Валентин Волков вернулся в деревню, около года проработал в сельской библиотеке. Это время нашло отражение в его повести «Три деревни два села». Вскоре, вступив в Союз писателей, он переехал в Калугу, но с родными местами не порывал связи до конца дней. В середине 1960-х подготовил сборник прозы. В 1965-м в Приокском книжном издательстве вышла книга рассказов «Последняя невеста» и вскоре, там же, в 1969-м — «Только бы верить вместе». Поэзия не осталась в стороне; в советские годы у Волкова увидели свет, помимо «Улицы ветра», другие сборники: «Подкова счастья», «Синь сторона», «Как ветер сквозь огонь», «Жаворонки над снегом»… Эта тема — последующая эволюция его творчества — для другой статьи. Но, как и в «период первых шагов», так и в зрелые годы, он остался верен деревне, малой родине, людям, живущим там. Литература понималась как служение им:

О земляки!
Мне вечно славить их.
Через меня,
Мой дух и суд,
С далёкого начала памяти
Их судьбы светлые
Текут.



Юрий Убогий

Юрий Васильевич Убогий родился 19 сентября 1940 года в Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более двадцати лет работал врачом-психиатром. Автор многих книг и публикаций в журналах. Лауреат премий «Отчий дом», имени Леонида Леонова, «Большая литературная премия России» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

ПИСЬМА ГРЕБНЮ

1 часть
(1960–1968 годы)

Переписка моя с Юрием Филипповичем Гребенниковым в бумажном виде продолжалась 50 лет. Потом письма стали регулярно пропадать по вине почты, и мы вынуждены были перейти на «электронное» общение до времени теперешнего. Всего, стало быть, 64 года. Уверен, что прервётся оно, общение, лишь уходом одного из нас из жизни.

Юрий Филиппович — мой ровесник. Инженер-авиастроитель, долгие годы проработавший сначала на воронежском авиационном заводе, а потом в воронежском филиале туполевского КБ: «Ту-144», первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт, там проектировали и строили.

По главным душевным интересам Юрий Филиппович — ярко выраженный гуманитарий. Литература, искусство, философия, религия — вот области, где он редкий по глубине собеседник, оценщик и критик.

Публикую письма к нему в надежде, что в них, так или иначе, отразилась жизнь Советского Союза и теперешней России за поистине громадный срок. Да и личная моя история жизни может быть любопытна по одной уже продолжительности — от студенчества до старости глубокой. А, главное, надеюсь, что письма просто интересно будет читать как исповедальный, в каком-то смысле, текст.

04.05.1960

Хелло, старина!

Думал, что ты напишешь первым, уехал как-никак. Ну да чёрт с тобой, я не гордый. Тогда ночью на проспекте было как-то похоже на прощанье.

Не надо было, а? Давай, брат, друг другу письма писать! Скажем, раз в месяц, как идут экзамены, удалось ли напиться за истёкший период и какая была погода. Под «философию» 13 строчек на каждое письмо. Если хочешь — поторгуемся.

Есть вещи, которые делать нельзя. Просто знаешь, что нельзя. Например, нельзя толстеть или прикрыть эту нашу с тобой лавочку.

Забил я 7 шаров на двух экзаменах, 4-го сдаю последний, и гуляй, душа!

Еду на практику в Грязи. Весёленькое дело.

Тут жара африканская, мокну целыми днями на речке. Наверно, ни одну весну я не проводил с таким лёгким сердцем, как эту. Решили мы с Генкой с осени найти комнату на двоих и дожить останние годочки в трудах и добродетели. А пока — гуляй, душа. Почти каждый вечер маршрут мой трогательно прост: дом, первый овощной магазин, 2-й овощной магазин, автомат на проспекте (везде по стакану), Инка (или Зиночка). Говорят, это скверно, а не совестно мне. По ночам купаемся (там, где мы с тобой всегда валялись). Ночные купанья и бар. Удивительно хорошо бывает! Жаль тебя нет, уж очень это всё хорошо. Как сказка. Долгов только до чёрта.

На днях посмотрел «Коллег». Оформили изумительно, но играют скверно. Зеленин похож на Чекмачева.

Ирке не пишу — устал я чертовски. На днях видел Тольку — цветущий парень, аж завидно.

Нравится мне одна замужняя женщина. Есть и дитё. Интереснейшее дело — чудеса в решете. Ну, бывай. Может, в Воронеж заглянешь?

Твой Убогий.

10.09.1960

Хэлло, бэби!

Скажите, вам нравятся мои глаза? (Произносится лирическим баритоном, таинственно и нежно.)

Только что приехал Ф. П. и передал письмо. И я уже пишу ответ — вот поступок, которого я не сделал бы даже для любимой женщины.

Хорош комплиментик? (читай — хорош транспарантик?). А живём мы, брат, по-старому. Я здоров и печален, Генка здоров и деятелен. Но я уже подумываю, не взять ли на вооружение лозунг: «Пройдём по жизни, хихикая»? Он не так плох, как кажется сначала. Ходим в клиники, замираем в восхищении перед великолепными гнойными ранами. У слабонервных даже обмороки бывают от восхищения — тонкие натуры! Иногда раздаётся призывный клич: «На вскрытие!» И мы с Генкой мужественно пролагаем себе путь в секционную — иногда оказываемся так близко от стола, что кое-что видим.

Холодище тут собачий. На проспекте ветер, серые листья и светлые плащи.

На танцплощадках первокурсники и б... Последние нравятся первым — они ведь только начинают и дураки ещё.

...

А я сочиняю рассказ про старика, который умирал в лесу один в избушке. И как все это было, я здорово представлял. А потом думаю — но откуда он взялся один в лесу в этой самой избушке? Ну и сделал его старым лесничим. А потом думаю: а как же он стал лесником и совсем один? Ну и сочинил ему трогательную историю жизни со смертью отца, женитьбой, рождением сына и дочери, а потом взял и отправил сына и дочь вслед за отцом. По всему видать, что и жена за ними вприпрыжку отправится. Вот горожу я этот винегрет из смертей, а до смерти самого старика никак не доберусь. Раздулась эта печальная история до двадцати листов, и конца не видно. Поедем, видно, в колхоз с 15 сентября. Я рад, а Генка не рад. А в общем, все довольно херово. Посмотрел я фильм великолепный — «Серёжа». Чудо! Анекдотик тебе что ль рассказать? Ну вот. Вопрос: «Может ли женщина сделать мужа миллионером? Ответ: «Может, если он миллиардер».

Ну, всего. Привет от Генки. Пиши. Надеюсь, что приедешь на 7-е.

Твой Убогий.

10.11.1960

Хэлло, старина!

Новостей — навозная куча, придётся пачкаться.

Заехал к тебе за барахлом (перехожу в общежитие) и решил написать письма. Генка мотается по городу в поисках квартиры. За окном мелкий дождь, и настроение у меня сопливо-сентиментальное. На кроватях голые доски, и ни смеяться, ни петь неохота. Три года эта комната задыхалась от сигаретного дыма и винных паров. Весело ей с нами было.

С кем буду жить в общаге, не знаю, боюсь влипну к пьяницам. Приехали из колхоза недавно. Жили шикарно. В дыру попали глубочайшую, и всего 9 человек, без преподавателя. Полная самодеятельность. Пили мало, раза три крупно, не считая мелких брызг. Ну и роман имел место. Интереснейшая история. Девчонка — прелесть. Думал завязать с приездом в Воронеж, а не могу — жалко. Уж очень она какая-то человеческая. Приедешь — расскажу, кадры экстра класса. Жаль, не попал я на Толькину свадьбу. Вчера встретил его на вокзале, но поговорить не удалось. А идти к нему как-то совестно, как на похороны. Вчера видел Пискова, он заехал в Воронеж на пару дней. Сходили в кабак, в старушку «Москву». Выглядит он на миллион долларов: в элегантном тряпье, мужество в глазах, держится как бог. Рассказал типично «писковскую историю», как обманутый муж пытался зарубить нашего сложного Пискова примитивным топором. Я ему (Пискову) посочувствовал — обидно и пошло. А, вообще, видно надоела ему и «революция и контрреволюция». Уморённый он какой-то. Думает бросить чернозём и агрономию и удрать в Воронеж на мелкие хлеба, куданибудь в газету, в сельхозотдел, заочно. Расплачивается четвертными билетами, приятно пить с таким партнёром. Просидели мы с 8 до закрытия, и никак не могли напиться. Испугались — уж не импотенты ли мы алко-

гольные? Пошли под дождём выяснять вопрос на вокзал, перерыв до 2-х. Обещал писать.

Ну ладно, хоть бы это разобрал. Как копчёный Харьков? А наши-то ободрали «Динамо» на 2:0. Генка как молодожён ходит. Ну, жму благородную конечность. Пиши. Твой Убогий.

21.12.1960

Хэлло, старина!

Думал сразу написать, да всё что-то мешало, а между делом писать не хотелось. Сейчас во мне немного водочки, совсем немного. Обрати внимание — если пьяный хоть немного человек пишет кому-то письмо, это кое-что значит.

Пил я в больнице (Женька Лахин сломал ногу на трамплине, лечится). Ну чем же ещё утешить товарища?

Я эти дни думал над твоим письмом, и мне не хотелось просто написать ответ. Это — серьёзный разговор.

О том, что ты написал мне, не принято говорить, как о том, что первая брачная ночь не такая уж чудесная штука. Насчёт того, что тебе сложно и плохо в Харькове и что нет Воронежа — это пустяки. Это естественно — чем дальше в лес, тем больше дров. Может, количественно и не больше, но это всамделишные, тяжёлые дрова. В Воронеже были щепки — пофилософствовал со мной, выпил с Сузи, поболтал с Милкой, вот и всё. Была и ещё одна приятная и обманчивая штука. Думал небось, что всё это просто так, забава, прелюдия жизни, а вот потом будет настоящее, вот тогда и поработаем. Да и наши рассуждения, и то что нам было приятно рассуждать и отрицать, в основном держались на ощущении молодых сил и предчувствия большого будущего. А пришло время жить по-взрослому — и трудно. Мне тоже. Я тебе уже писал, что мы прожили уже одну жизнь — в мыслях. А чтобы оттолкнуться для нового взлёта, надо и упасть до нуля. Вот теперь ты и расписался в этом. Не о чем думать, продумано всё до дыр. Теперь надо жить. Мы проделали колоссальную работу — мы создали аксиомы для этой жизни, к которым не надо возвращаться и которым можно доверять. Подумать только, мы решали вопрос, что бы мы делали, если б у нас был мешок денег и в деньгах ли счастье! Знаешь, какое различие между нами сейчас? Ты говоришь — следуй самому себе, как за ночью следует день. Я говорю — человек помоги себе сам (тоже из Библии или из чего-то подобного). И ещё — дорогу осилит идущий (индийская поговорка). Это слова, а по-простому, мне стыдно, если я лягу спать в 10 часов или встану в 10 часов без особой причины. Подлецом себя чувствую (совершенно серьёзно). Я очень рад, если напишу страницу, которая меня устроит. После этого я могу болтать о пустяках, смеяться глупым остротам, мне не жаль времени, потому что что-то важное и настоящее (пусть даже чисто субъективно) я сегодня сделал. Но это уже кое-какие результаты, а как это получилось? Было что-то в зародыше, и я чувствовал, что это настоящее, и берёг его. А теперь это довольно прочно. Главное, что б было нечто, даже чуть уловимое. Самый слабый звук

можно усилить до очень громкого (тебе лучше знать). Нужно воспитывать себя. При трудолюбии и требовательности к себе, как у Толстого, каждый пятый если и не напишет «Холстомера», то, во всяком случае, кое-что получше «Коллег». Ты, небось, и Маяковского не прочитал? Прочитай три или нет, лучше четыре раза.

Ты не обижайся на тон письма. Я понимаю, как-то назидательно получается. И потом это всё чисто субъективно и претенциозно. Но ведь мы делаем не только ботинки, мы делаем и самих себя. Три года мы делали из себя циников и нигилистов, и какой был триумф на пятое декабря. Ты говоришь — следуй самому … и т.д. Чёрта с два мы следовали. Мы сознательно этого добивались. И добились. Так почему не попытаться добиться кое-чего другого?

Ты пишешь, что есть только ты и всё. Ещё есть я. И ещё есть эти три года. Количественно это мало, но качественно — это то, что нужно.

Ну вот и всё. Это я и для себя написал. Мне тоже бывает скверно, старик. Где ты, сермяжная правда! Посмотри «Дорогу в рай». Это фильм века. Если б мне его показали накануне казни, я бы умер со смеху во время сеанса назло палачам.

Ну, будь здоров. Когда приедешь? Твой Убогий.

30.02.1961

Салют, бэби!

Прочитал я твоё письмо и посмеялся над самим собой со смаком. Остроумный ты, дьявол. Есть это в тебе, есть. Только засыпал ты свою мысль под обломками острот, да и за дело взялся не с того конца. Ну что ты хочешь сказать?

…

Жизнь — это путь, который каждый проходит в одиночку. И в восьмом, и в двадцать втором веке.

А вообще, твоё письмо похоже на самозащиту, неосознанную самозащиту. Я мог бы это разъяснить, но это длинный разговор. Может быть, ты и сам поймёшь.

Когда я получил твоё предыдущее письмо, я подумал, что, может быть, лучше писать друг другу именно такие письма, просто письма. У нас началась жизнь, своя жизнь со всеми её правдами и неправдами. Тут всё только твоё — и победы, и поражения. И незачем говорить об этом. Ты говоришь, что мне херово. Нет, мне просто трудновато сейчас. Это разные вещи. Полцарства за отдельную комнату! А трудно будет всегда, потому что надо жить всё время, повышая ставку. Потому и Толстой не был счастлив, и Хэм тоже. Иначе можно стать счастливым, кончив вуз и дорвавшись до сладкого куска. Ты говоришь, гармония с миром? Чёрта с два. Гармония у стариков, вроде Тагора. Они вышли на постоянную орбиту и сбалансировали свои счёты с жизнью. В конце все это делают, только по-разному. Ну, хватит. В Воронеже снег, целые сутки снег. Бесконечный, беспокойный и чёрт

знает ещё какой. И ёлочные игрушки тоже продают. Неплохо бы купить игрушку, да куда её денешь? Приезжай, старик, на Новый год. К чёрту метели, пойдём к нам в вуз на ёлку. Говорят, в буфете вино будет. Покурим. Проводим двух девушек по хрустящим улицам. Лучшую тебе уступаю. Ты — гость. Приезжай и всё. Чёрт с ними. Посмотрел я на днях отличный фильм — «Загон».

Ну ладно, видать, не дотяну я до конца страницы, а жаль. Вот мы размышляем, а жизнь может быть очень проста. Ну, всего. Пиши. Твой Убогий.

23.09.1962

Хэлло, старина!

Всё трудней мне писать письма. Тебе ещё туда-сюда, а Ирке — смерть. Кажется, что пишешь как-то задним числом, и не о себе, а о совсем другом человеке. Всё стало недостоверным и (я зачеркнул «выдуманным», это не «то» слово). Просто недостоверным.

Живу я туго. Не живу, а преодолеваю жизнь день за днём. Так, наверно, славяне перетаскивали свои ладьи от реки к реке. И это для меня самое серьёзное и глубокое отношение к жизни. Всё, что облегчает, — дешёвка. Это тот аскетизм, который тебе почему-то кажется искусственным. Я понемногу «нахожу себя». Избитые слова, но в них самое глубокое, что может быть. Найти себя не только и не сколько в работе, профессии, а в ощущении гармонии своего «я» с миром. И для меня необходим элемент аскетизма и стоицизма. Чем сильнее себя ограничиваешь, тем больше можешь иметь. Парадокс, но для меня это так. Только тогда чувствуешь, что живёшь, живёшь именно ты, а не плывёшь в общем потоке. Чёрт побери, стану я, видно, тяжёлым и суховатым парнем, и «в мире ином друг друга уж мы не узнаем».

Я наконец сумел учесть то, что имею в себе и вокруг себя, и попытаюсь что-нибудь из этого сделать. А то ведь раньше всё надеялся открыть философский камень — ещё чуть-чуть подумать, и откроешь Америку, где необъятные горизонты и легко дышится. Чёрта с два! Нету этой Америки, и мечтать о ней нечего.

Пишу дома. Генка сидит за столом и тоже строчит что-то, да так, что сотрясается стол. Ты ведь знаешь, какой он, этот Генка! Изредка поругиваемся с хозяином. Отличное развлечение! Тут тоже премудрая погода, но сегодня наконец пошёл долгожданный осенний дождь, и весь город лёг на мокрый асфальт под фонарями. Посмотри «Дикую собаку Динго». Изумительный фильм. У меня до сих пор такое ощущение, будто меня обворовали.

На Новый год я не приеду — незачем, да и денег нет. Приеду в начале февраля на предмет посещения погребальной конторы, именуемой загсом.

Ну, я приостановлюсь, пожалуй. Пиши, старик, не валяй дурака.

Твой Убогий.

1963 г.

Здравствуй, старина!

Чёрт знает что творится на свете! Холод тут собачий. Снега на улицах совсем нету, и город похож на серый скелет. Ну как весны не будет. Плохо будет! Я прямо по-стариковски стосковался по теплу.

Любопытное ты мне письмо написал. Ничего подобного я и не припомню. И не по содержанию, а по подтексту. Раньше за твоими письмами чувствовалось что-то похожее на талый мартовский снег, а за этим — сжатая пружина. И если даже опять начнёт что-то разваливаться, нужно всегда помнить, каким ты был в такие вот дни. Это здорово облегчает жизнь. Нужно всегда держать на такие вот «моменты истины», как писал Хемингуэй о бое быков. Всю жизнь так не проживёшь, но это даёт какой-то компас. Нужно пытаться сделать это своим постоянным состоянием, а не ждать, когда это наступит, как естественная противоположность после пьянства, неприятностей, ошибок и т.д. Ну, а в крайний аскетизм лезть тоже нечего, как лез я полгода назад. Это мальчишество и в своём роде слабость. Слабость и страх. Мы с тобой ещё пропустим по маленькой, только без попыток переплывать лужи.

Фолкнера я читал — «Особняк». И не дошло. Может, это искусство для потомков? Я ещё могу понять за простотой что-то сложное, но искать в этой кофейной гуще жемчужные зёрна — тут я пас.

Прочитал я ещё одну похожую вещь — «Зима тревоги нашей» Стейнбека. Тоже американец и тоже Нобелевский лауреат. Там попроще, но идею я всё-таки уловил довольно смутно. Я б тебе мог посоветовать массу книг, но это как-нибудь потом. А пока прочитай «Жан-Кристофа». Это для тебя сейчас чертовски нужная книга. Возьми её домой и читай по часу перед сном. Недельки за две осилишь. И ещё прочитай статью «Учение Фрейда и реалистический роман». 7-й и 8-й номера «Иностранной литературы» за 1961 год. Не откладывай, а то забудешь, и не попадётся она тебе до самой смерти. А статейка интереснейшая.

Да, два рассказа Солженицына в 12-м номере «Нового Мира» за 62-й год.

Живу я по-прежнему в читальне, и чертовски нужна комната. Если жене удастся устроиться в Воронежской области, сниму непременно. Не могу я работать, когда рядом сидит девица, листающая «Советский экран». И чертовски хочется лета. Никогда так не хотелось. Поваляться где-нибудь на «собачке» в высокой траве. Позагорать, согнать жирок. Ну, авось доживём. Какие планы на праздник? Было б потеплее, приехал бы я в Харьков. Как он там весной? Пиши. Ю. У.

1963 г.

Здравствуй, Юра! (смешно?)

В институт я сегодня не пошёл, сижу, изобретаю рассказ. Денёк серый… Как старость. И тут приносят твоё письмо. Прочитал, расчувствовался… Давай, брат, письма друг другу писать. Чего уж там.

Помнишь, как сидели на стадионе, и заходило большое солнце, и была собака. Я себе тогда всю рубашку винищем залил. Ты, брат, прав, что для

этого стоит жить. Смотреть в небо, и чтоб были маленькие белые облака, и небо темнело и уходило от земли, и зажигались звёзды. Но для этого надо иметь новую душу. Мир один и тот же, и надо искать не новых ощущений, круг которых крайне ограничен, и что скоро приводит к водке и б... А бесконечно обновлять душу, чтобы с новой силой воспринимать мир, который остаётся одним и тем же. Вечно зелёное древо жизни, как говорил Гёте. Вечное самообновление. В этом закон и природы, и человека.

Ты не так понял мой оптимизм. Я никуда не вылез насовсем. Насовсем можно вылезти только на тот свет. Просто я вылез из одной трубы и отдыхаю. Но скоро уж лезть в другую. Так и придёшь к финишу измазанный нечистотами.

Я тебе очень советую прочитать «Жан-Кристофа» Ромена Роллана. Очень. Хотя бы две последние книги — 9 и 10. Эта вещь написана для тебя. Для меня в мире существуют четыре человека — Толстой, Шолохов, Хемингуэй и Ромен Роллан. Если бы их не было, я был бы другой. Совсем. Так что прочитай. И ещё — не бойся страдать. Только у сильных есть силы страдать. «Розовые мальчики» не страдают, потому что они бессильны. Жизнь — это борьба, а борьба — это страдания. Так что валяй. Собственно, прогресс души — это плоды, которые приносит только страдание. Радость прекрасна, но бесплодна. Ты не обижайся на нравоучительный тон, просто я это очень чувствую. Это столп моего мировоззрения. Через страдания к радости. Это сразу поставило всё на свои места. Обычно люди воспринимают страдания, как нечто противоестественное. Это и ставит мир с ног на голову.

Я живу один, совсем один на свете. И неплохо. Это как награда за всё, через что пришлось пройти. За пьянство, за наши дружные мучения, за грязные подъезды, за Вальку Дегтярёву, за Нинку Бочкарёву, за Жорку, за мордобой и Женьку Чекмарева. Только не сойти со спирали, только не сойти. Это мой девиз и молитва.

Что-то мне Жорка стал сниться. Что мы сделали! Это единственное по-настоящему чёрное пятно на моей совести. И это не исправишь.

Генка всё в больнице. Боюсь, что придётся брать академию. Хорошо, что есть Генка. Как жизнь ни вертится, а Генка есть. Это как эталон. И это не имеет цены.

Тут весна. Щиплет за сердце. Женька Савчук вышла замуж. Вчера. Приглашала, не пошёл. Никого я там не знаю, свадьба была сугубо семейная. Да и денег нет. Теперь страшно жалею. Такой кадр, подлец, пропустил. Это не измеришь ни на какие деньги. Особенно для меня. Заказал разговор с Иркой. На завтра. Приходи на пункт. Посмотришь на неё. Ну и со мной поздороваешься, опять же. Тьфу, осёл. Ведь письмо-то не успеет. Явно у меня склероз мозговых сосудов.

Ну, под занавес — анекдот. Это — экстра.

Вопрос: «Будет ли война?»

Ответ: «Не будет, но будет такая жестокая борьба за мир, что не останется камня на камне».

Пиши. Твой Ю. У.

19.06.1963

Хэлло, старина!

Я в Грязях. Но это не так уж забавно, как можно подумать с самого начала. Пыльно тут очень.

Практика идёт со скрипом. Грязи — самый разбойный город во всём Черноземном центре. Работают, сволочи, молотками, по-старинному. Позавчера сразу четверым проломили головы. Оперировали всю ночь. Словом — весёлое местечко.

Перед отъездом получил я 60 рублей и просадил за двое суток всё. Приехал сюда с 6 рублями. Веселился с супругами Шуриновыми и ещё кое с кем. Любопытнейшая история. Но всё обошлось хорошо, если не считать пустого кармана. Да так и лучше — ведём с Пугаевым жизнь праведников. С нами ещё две дамы, и одна ничего себе. И неохота, а уж начал волочиться — привычка, чёрт бы её побрал. Живём мы прямо в больнице, а она на берегу реки, а на реке до черта рыболовов.

С Генкой я нарочно не поехал — осточертели футбольные разговоры. А скучаю по подлецу. Перед отъездом встретил твою мать — кто там утоп, какой Генка? Ну, будь здоров. Пиши, а то ведь вряд ли когда придётся писать в Грязи.

Убогий.

05.09.1963

Здравствуй, старина!

Пораньше написать как-то не собрался — то да се. Ехали мы скверно. В Грязях пришлось заночевать — не было билетов. В Волгограде опоздали на поезд — ещё ночёвка. Так и доехали на перекладных на третий день.

Посмотрели Волгоград — всё как следует. Большой новый город, большая старая Волга, и течёт она, по всему видно, долго и издалека. Вот ГЭС — это классно! Космос, ракеты, реакторы — это для нас суть абстракция, а ГЭС — вот она, смотри. Ну великое творение рук человеческих!

На месте всё оказалось не так и плохо. Современный новый город, зелень — далеко и Воронежу. В получасе ходьбы — Ахтуба. Река отменная-чистая, холодная, пляж, острова, рыба. Плохо одно — посадили нас на казарменное положение. Штатские тряпки отобрали, едим из солдатского котла (ну к этому мне не привыкать). В 22 часа — отбой. Подъём в 6 часов. Вроде и делать за день нечего, а к вечеру как выдоенный. Позанимаемся здесь месяц, а потом на стажировку непосредственно в части.

Собрали нас со всего Союза — 100 рыл. Из Ташкента, Самарканда, Москвы, Киева, Омска и т.д. Распределять будут тоже по Союзу. Так что, может, в Пески и не попаду.

Насчёт выпивки — ни-ни. Полнейший сухой закон, буквально. В продаже не бывает даже сухого вина. Зато разврат невероятный. Я, старый греховодник, и не подозревал, что такое бывает. Чудеса в решете — видно, в этом деле не бывает берегов. Ну, встретимся, расскажу.

Аргентина заменяет водку женщинами, приходит на заре. Лахин нашёл вдову с квартирой, и так каждый второй.

Дом офицеров тут — точная копия дворца Кирова, представляешь? Одно плохо — комары. Рядом пойма Волги, они оттуда и тянут. Побаловался я тут с одной, да рубашку снял. Наутро смотрю — на спине будто пьяные черти горох молотили — вся в буграх и шишках.

А вообще, жить можно. Стадион рядом, душ в 50-ти метрах, неплохая библиотека. Читаю «Приключения Векcля Джексона» Сарояна. Неплохо. Особых настроений и поползновений нет. Живу: день да ночь — сутки прочь. Надо отдохнуть. Появился разрушительный аппетит, снов не снится. Деньги так — эти два месяца по 135 рублей, а там поболе. Вот так, старина. Как там тебе живётся-можется? Пиши.

Письма сюда идут долго, через Москву. Так что не задерживай ответ. Ну, бывай. «Гамлет» не шёл ещё?

Твой Убогий.

03.02.1964

Здравствуй, старина!

Сижу я у себя в кабинете, и опять за окном снег, снег. Странное дело — вода текущая, идущий снег как-то растормаживает что-то внутри, я уж не буду писать про кору и подкорку, ослабляется внимание к неподвижному и надоевшему миру вокруг. И всплывает, всплывает что-то на третьем плане души. Перечитал я фразу — ну и ну, а ведь можно было художественно и точно выразить, а не все эти что-то, где-то, как-то и т.д. А ещё думаю — до чего ты, брат, дошёл, если письмо к другу с этого начинаешь. «Гомункул», думаю на себя, да и на тебя тоже. Чудеса со мной творятся. Ведь в полном одиночестве живу: смотришь всё в себя — и страшновато. Пусто и ничтожно. И самое-то страшное, что убеждён я — у всех так. Да что о всех говорить. Вот Лермонтов писал о себе: «В себя ли заглянешь — там прошлого нет и следа. И мысли, и чувства, и всё там ничтожно».

Истинно. А подумаешь о прошлой бойкой жизни — ну и было опьянение повседневной колготой, пьянство жизнью самой. Сказано: «Умрёшь — проснёшься». Ей-богу, ничего более ужасного о жизни не скажешь. Умрёшь — проснёшься. Ничего себе, обещаньице!

Вот придёшь со свиданья, чуть хмельной, а ещё лучше — и рубашка в губной помаде — а тут и письмо тебя от друга ждёт. Ты уж, брат, прости меня за эти страсти-мордасти, необразованность всё наша.

Ещё беда — без юмора сохну. Эх, и поржал бы сейчас в тёплой компании. А тут не до смеха, место не то. Монахи-пустынники всё молитвы читали. Продрал глаза — и бормочи целый день. Молитва — великое дело. Без неё ихнее дело было б табак — совершенно серьёзно говорю.

На днях Ирка приезжает, а Андрей пока у бабок. Ну куда я её дену? Квартиры нет, в гостинице мест нет. Одно хорошо — работа ей нашлась. Приедет она, видно, 6-го утром. Поведу в кабак, «Урал» называется, скорей

всего напьюсь. Только вот опекать она меня не будет и не сможет. Ты на этом деле руку набил, весёлый спутник-профессионал.

Всё хочу повернуть письмо на лёгкий лад, да куда там — пру, в звёзды врезываясь. Или вот ещё — подумай, чтоб было, если б мы с тобой не пили, не курили, не относились к женщинам, как к развлечению, не общались друг с другом (то есть не занимались бы прелюбодейством мысли). Вроде, все пороки, а откинь их, и жизнь уничтожится. Да, ещё лежание на кровати с «витанием», а ровно и сидение в кресле.

Сходил отобедал. Кормят тут до отвращения хорошо. Где моя тюремная баланда!

Генка не пишет, подлец. А тебе? Шуринова написала, что он на 7-е в Воронеже был. Видел? Большая, однако, дырка во мне образовалась без вас двоих. Мне жены меньше не хватает, ей-богу. Без Генки как-то неспокойно. Он для меня был как причал. Хоть я, пожалуй, и не причаливал ни разу, но всё-таки спокойнее было. Ему там тоже солоно, я думаю.

Писание моё — горькие слёзы. Всё мучает противоречие, если пускаешь себя «без руля и без ветрил», пишешь азартно — заносит в сторону, да и по прочтении уж того восторга нет, с каким писал. А работаешь трезво — адски трудно, медленно и опять плохо. И выносливости не хватает, куришь, отвлекаешься. Еле вытягиваю по 3,5 — 4 часа. Вот получу квартиру, буду работать по ночам, этак часиков с 3-х до 7-и. Иначе нельзя. Я чувствую, что, если не буду жесточайше держать себя в руках, — крышка. Ставка сделана. Отними у меня цель — даже самоуважения на мизинец не останется. Ничтожество, грязнее грязи. Слюнтяй с разболтанными извилинами. Это будет похуже Мишки-кашевара, что в 64-й жил. Тот хоть лямку честно тянет, не косится, где бы сладенького урвать. Вообще — много авансов мы сами себе надавали, надо теперь отрабатывать.

Как Воронеж? Как снег, как банька в СХИ? Хороша была, паскуда. Что носят женщины? Значит, ты на «вечера» ходишь. С дамой? Уже, наверно, компании потихоньку сколачиваются — на Новый год выпить. Небось, чинно собираешься праздновать — с шампанским и детским ёлочным настроением. Навряд выйдет, хотя дай тебе бог и ёлочного настроения. Подарок даме дай — вот и растрогаешь себя. Опять же присыпка эта новогодняя блестящая, ленточки из бумаги путаются. Да и поцелуй в Новый год — это нечто. Я, брат, не в иронию, а так — в зависть. Ну, бывай, старина. Пиши. Выкладывай все как есть.

Твой Убогий.

На «Динамо» уж небось крутят по вечерам про «формулу счастья, что одна на двоих».

07.11.1964

Здравствуй, старина!

Пишу в странное и неурочное время, 7-е ноября, 17 ч. Вон аж до какой жизни дошёл. Из окна снег вовсю, солнце тонет за лесом.

Попал я в конце концов в район Нижнего Тагила. Городок среди лесов. А лес, как в сказке, сосна пополам с берёзой.

Вот песенки хорошие передают, послушал я, и зачем письмо? Как хлипко и тонко всё. Да и есть ли оно вообще? Писал Пушкин: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...» Ну, не в ночах дело, а вообще пусто и призрачно всё. Выжми воду и останется в кулаке — так, ничего. Так, из детства десяток дней. Что уж говорить про следы для потомков, сам своих не найдёшь.

Вижу, солдаты бродят меж казарм, рубаха зелёная на мне. Ведь страшно всё и дико. Да и всё-всё, что происходит с нами, до самых мелочей, к чему, зачем?

Ну, к чёрту психопатию. Хотя ведь это ещё смешней, то ли вопрос прячешь от себя, то ли сам прячешься от вопроса.

Дали мне комнату в медпункте. Квартиру обещают к Новому году. Так что кантоваться придётся пока одному. Ну, не первая волку зима. А одиночество мне сейчас как раз в масть. Уж очень колготно прошли последние 2 года.

Добуду на днях лыжи. Жёсткий режим. Посочиняю. Медицину надо немного подогнать. А вообще — тяжеловато. Жизнь каждого человека держится на связях со средой, с людьми, с делом, с повседневной вознёй. А как вытащат из этого обмятого хомута — зябко. Уж очень «бытие» ощущаешь, и бессилие своё, и свободу. И страшно этой свободы. Так и тянет в суету, от которой бежал. Хорошо как-то Есенин написал: «Под душою падаю, как под ношею».

Ну ладно, будем бодриться. Пока. Пиши, старик. Мне — нельзя не писать. Я — в тайге. Твой Ю. У.

23.11.1964

Здравствуй, старина!

Прочитал твоё письмо, и не верится. Неужели всё это есть на свете — стояние с девушкой в подъезде, плюшевые мопсы, вечера с Головановым, свадьбы с генералом? Чёртов телефон, четвёртый раз за 5 минут звонит, разобью я его как-нибудь, ей-богу.

Пишу тебе утречком, снег за окном, и такой густой, что и не идёт, а прямо стоит стеной. Тайга, брат, для меня дело вшивое — горизонта нет. Куда ни глянь — лес, а я ведь вырос на тимских просторах. Живётся трудно, иногда просто невыносимо трудно. Не как обычно это говорят, а в самом прямом смысле. Хоть за волосы себя раскачивай, как тот диккенсовский герой. А ты в некотором роде феномен. Ты, Юра, единственный человек, которому я взял это, да и написал. Я думаю тебя на много лет приберечь на этот случай. «Кому повем печаль мою» — какие горькие слова. Всё осталось за чертой, даже вещи. Одеваю по вечерам свои техасские штаны — ну хоть садись и плачь, на них глядя. Читал я Фета: «Был дан ему от бога «слёзный дар». А что — и правда, дар. Ты плакал когда? Я вот, едучи из Харькова на четвёртом курсе, читал жалостную книгу и всплакнул втихую. Но это, наверно,

не в счёт — потому со страшной похмелюги был, ослаб. Да и то слёзы не текли, а так — пощипывало.

Может, и настоящие книги — как слёзы. Какая-нибудь бабёнка поплачет, а суровый Хэм, глядишь, вместо этого — рассказик. И оба довольны.

А вообще-то, держусь. Знакомств и развлечений не ищу, да и смешно искать заменители тому, что было. «Только речка унесла». «Одиночество звенящее, до «посвиста пространства»». Вот сказанул, подлюга, а?

Распорядок такой. В 7 зарядка под таёжными звёздами. С 9 до 5 служба — мышиная возня. С полшестого час бегаю по бетонной автостраде, ввергая в изумление личный состав. С 8-ми до 12 пишу. Девиз: «Нельзя победить однажды, надо побеждать каждый день, и каждый день начинать сначала». Роллан сказал. Видал, как я вооружился цитатами — возьми меня теперь. Кошмарики в наличии, мертвецы штабелями — таскать не перетаскать. Целый день живёшь, скрепя сердце, а ночью оно и лезет из всех щелей.

Пишется тоже чертовски трудно. Написал один рассказик — дрянцо. Бреду по середине второго — тоже, вроде, не блеск. Никак не могу внутренне раскрепоститься, так и лезет эта душевная судорога в каждую строку. Прячусь за фокусы языка, за внешнюю остроту конфликта. И мучительное ощущение, что можно написать так просто, так кратко. Прав Хэм — всё вложить в одну-две строчки. Только бы суметь. Читал я, что для одних творчество радостно, а для других мучительно. Неужели для меня второе, это ж надо так не повезло. И кажется, о всём можно писать, я даже начал про деревья: дуб, сосну и осину. Такая дребедень вышла — животики надорвёшь.

Слушай, давай-ка присылай, что ты там изобрёл. Верну уж с рецензией. Всё равно ведь начисто переписывать, если посылать куда. Потеряться не должно, ну а вдруг — черновик останется. А почтовые расходы — что ж, сколько пропито…

Прислала Ирка письмо. Пишет, не могу больше ждать, оставляю Андрея бабкам и еду. А квартира-то к Новому году, куда я её дену? Придётся месяц в гостинице кантоваться. Я рад, конечно. Но и как-то жаль и этого распроклятого затворничества и схимничества. Вот и пойми нашего брата. Ты прав, хоть и мучаешь себя писаниной, но отними её, и жизнь сразу обесценится и станет бессмысленной дичью, прямо по Апокалипсису.

Ты написал бы про «даму» свою поподробнее. Что, как, куда, зачем? Интересно же! Трезвый ходишь? Мысли излагаешь, ну это вряд ли, да и трудно их стало наскребывать. Дурачишься, скорей всего, молчишь, тоже вероятно? Женись, а? Все-таки уже будет нечто. Оно поначалу только трудно, а потом и не замечаешь. Вот если б как-нибудь так жениться, что вроде бы уже прожил года два с ней. Как-нибудь этак с середины. Чехов в «Чайке» целый монолог про жену написал, а потом всё вычеркнул и оставил одну фразу: «Жена есть жена». В смысле, тут только руками можно развести. Ну, бывай. Пиши. Можно и ответов не дожидаться, а писать по настроению, вроде как дневник, а лет через пять письмами обменяемся. Так что чуть что, а ты уж мне письмо пишешь.

P. S. Достал я Достоевского «Подросток», вещь чуть, может, проще «Братьев Карамазовых», а на титульном листе надпись: «Дорогому сыну Саше в день 10-летия». Как бы этот Саша уже не в сумасшедшем доме.

Твой Убогий.

26.12.1964

Здравствуй, старина!

Возьмём сразу «быка за рога», мы ж деловые люди. Ты, конечно, помнишь, как писался рассказ, какое чувство у тебя было при этом, как ты придумал его написать и т.д. и т.п. Так вот: представь на минуту, что последнего абзаца нет. Посиди, подумай и представь... Без этого куска рассказ не только теряет очень многое, большинство, но, мне кажется, вообще не мог быть задуман и написан. Ну, задуман, ладно, если не задуман, то и писать нечего. Но ты не мог написать и той большей половины без «энергического» фона и полюса конца. Понимаешь, это какое-то доказательство «от противного». Но дело опять-таки не в этом, как думалось, как писалось. Важен результат. Читатель и подумает, к чему это он, а в конце вздохнёт облегчённо, ведь здорово повернул, подлец. Но корень, ещё раз, не в этом. Если ты пишешь рассказ, опираясь, как на точку опоры на какой-то острый момент, поворот сюжета, ключ, то при работе над остальной, большей частью, вдохновляешься именно этим моментом. И остальное, где говорится о другом, получается неверно освещено. Или ещё хуже, совсем мёртвое, пристёгнутое к этому ключу рассказа.

У тебя получилось что-то среднее.

Понимаешь меня? Великая трудность настоящей литературы именно в том, чтобы создать, как говорил Толстой, «живую ткань» романа или рассказа. То есть каждая фраза, каждый кусок должен жить своей внутренней жизнью, а не освещаться сюжетным или эмоциональным фокусом. Смысл физический, а не цирковой.

В этом именно рассказе тебе нужно было или поднять этот ихний день до самостоятельного значения, или оставить одно заключение. Скажем, так: «Этот сентябрьский день, который они провели вместе, остался лучшим днём его жизни, хотя он понял это много времени спустя. Он стал писателем и т.д...»

Я утрирую немного, но так будет ясней. Это всё я называю — прятаться за сюжет.

Теперь конкретно. 1. Описательно. Разумеется, вся литература — описание, но оно должно быть вещественным. Я чувствую, что у тебя есть страх описать окружающее точно, без «фальшивого», так получается, лирического нажима. И оправдаться перед собой и читателем этим нажимом. Но лирика, она растекается в лужу без крепко сделанного каркаса вещественного описания.

Возьми Бунина. Уж куда как лирик, но как суров, строг, конкретен, точен в описании мира. Скажем, примитивный способ сообщить своё чувство

другому, если он уже не заражён им. «Смотри, как красиво, как чудесно, какая прелесть и т. д.». Это когда есть на что смотреть. Писатель должен «рисовать» картину мира. Словом, не бойся точного вещественного описания. Только кажется, что скучно читать. Как раз наоборот. Это я называю «прятаться за фразу». Когда освободишься от этого, что я теперь безуспешно делаю, останешься голым. Диалог натянутый, выдуманный, ну это ты не хуже меня знаешь. А что делать? Думаю, что это вообще вытекает из всех недостатков. Диалог как индикатор.

Есть и в языке огрехи. Ты начинаешь: «Вечер. Сентябрьский вечер». Оно, может, и создаёт этакую певучую ноту, но нота дамская. Это стимуляция, а не стиль. Или: «Он прожил большую и богатую жизнь». Ох, уж эта «богатая» жизнь, в рот ей дышло. Всего я перебирать не буду, да ты и сам увидишь.

А вообще, это, пожалуй, лучше всего у тебя. Зато и недостатки яснее. Что делать, чем дальше в лес, тем больше дров.

Ну, а по стихам какой я спец? Мне, брат, всё нравится, потому, видно, что сам двух строчек не сложу. Хороший стих про море, лучше всех. Одно мне кажется не надо делать, перебивать белый стих рифмованными строчками. У меня нет с собой твоего письма, но, помню, в последнем стихе вклеил ты такое пошло рифмованное четверостишие.

Совет такой: поработай ещё над рассказом, хоть, оно, может, и противно. Нельзя прятаться от неудачи за следующий рассказ. Хэм прав — надо кончать работу, когда чувствуешь, что хоть чего-то добился, иначе потеряешь к ней вкус. И мерило, что хорошо, что плохо.

А стих про море пошли куда-нибудь. Пристегни к нему парочку ещё и пошли.

Теперь моя расчудесная и распроклятая жизнь.

Приехала Ирка, одна. Андрей пока у бабок. Хлопот со встречей, устройством и пр. было по ноздри и выше. Хорошо тебе, подлецу, в отчем доме жить, тепло и мухи не кусают. На работу она пошла на другой же день. Пожили неделю в гостинице. Имели аудиенцию у генерала, и теперь живём в новом доме, в двухкомнатной квартире. Смехота! Привык я к графским ватерклозетам, а тут горячая вода, хоть ванну прими, хоть душ. Испражняюсь на стульчике. А? Здоровая квартира, чем я её буду набивать?

Вчера в Тагиле был, плошки-ложки покупал. Ну да это всё пустяки. Будь здоров. Пиши. Ю.У

03.01.1965

Здравствуй, старина!

Через твои умственные дебри до настоящего живого друга и не доберёшься. Как же ты всё-таки живёшь, «материально?» В какой конторе работаешь? «Рога и копыта?» С кем водишься? Выпиваешь с кем? И выпиваешь ли? Как Витька Федотов? Как другой Витька, что всё жениться хотел? Как банька, лыжи, зимний сад за окном? Ты ж счастливый, подлец, живёшь в отчем доме и, покупая вещь, не думаешь, что её, может, придётся

транспортировать с Урала на Камчатку, а потом и обратно. Я что-то раздумал барахло покупать.

Буду лучше копить деньги в чулок. Деньги — овеществлённая свобода, да и переводить их проще.

Приехала мать с Андреем. Она на днях уезжает, а его в ясли. Большой стал парень, бегает, понимает, делает поползновения на некоторые слова. Аж не верю я, что такой сын у меня. Да и во что мы верим? Я с большим недоверием отношусь к тому, что я врач, офицер, что лет мне 24 и т.д. Я, брат, всё больше и больше чувствую парадоксальность мира, то есть, что много «наоборот», в сущности, по сравнению с видимостью.

Вычитал на днях у Сартра, что Бальзак и Флобер писали о любви к людям, внутренне и подсознательно ненавидя их. Насчёт Бальзака не знаю, а про Флобера поразительно точно. Так и мой «реализм», и твой «мистицизм». Кто знает, если б мы вдруг увидели негативную картину мира, она была бы много истинней по существу. А насчёт людей это сплошь и рядом. Вроде кремень-человек, стальные нервы, а внутри, за семью дверями, страх, и ему самому не видный. Или наоборот. Особенно это видно здесь, среди чинов. Чем выше чин, тем больше страх. И эта сумасшедшая работа, как пьянство, как щит. Истинно писал Толстой, «пьянство работы».

Ишь, как я разошёлся. А вот попробуй написать попроще письмецо, весточку, как живёшь-можешь. Попробуй. Прямо сочинительство, работа получится. А тут катишься, как с горки. Ну, покатились дальше.

Прочитал я у тебя о свободе творчества, чувства и т.д. И мне представились ясные и простые аргументы против, которые можно бы логически свести к пословице «без труда не выловить и рыбку из пруда». Хоть это и утрировано, конечно. Но потом, за пару дней, как-то исподволь, обрывками, я почувствовал, что в твоих словах есть глубочайшая правда. Но берёшь ты её не за тот конец. Чёрт, трудно излагать. Я б тебе на пальцах ясней показал. Да по комнате пошагать.

Перед человеком, занимающимся художественным творчеством, стоит стена, перегородка, между его чувством и тем, что получается конкретно. И эта стена — форма, путы формы. И только мастерство даёт возможность как-то ослабить эти путы. Тут пресловутая мечта художника говорить без слов. Так вот эту «свободу» творчества даёт только высшая степень мастерства. И только высшая степень мастерства даёт художнику возможность и право нарушать, смещать, изменять натуру, жизнь, в угоду духовному. Непропорциональные фигуры, утрированные у Гойи, примитивизм картин маслом Ван-Гога, наивность Гогена, это «свободное» творчество. Но к нему надо прийти, а не начинать с него.

Ты сказал как-то, что похож на саморазрушающуюся скульптуру. Не знаю, поймёшь ли ты, но это очень точно характеризует твоё отношение к работе. Ты хочешь писать не созидая, а разрушая себя, ибо разрушение тоже движение, и может нечто дать. Но можно погибнуть, как личность, растлить себя этим. Нужна ежедневная, укрепляющая, дающая уверенность в себе, работа.

А насчёт Олеши, страшное дело. Но что ж ты хочешь? Гарантии? Много хочешь. Ладно. Дам я тебе под занавес одну красивую цитату. Старый английский поэт: «Постоянна только переменчивость, устойчива только смерть. Каждое биение сердца ранит. И жизнь была бы сплошным кровотечением, если бы не существовало поэзии. Она даёт нам то, в чём отказала природа: золотое время, которое не ржавеет, весну, которая не отцветает, безоблачное счастье и вечную молодость».

Охвачен я страхом после случая с Аргентиной, что вы, подлецы, без меня переженитесь. Смотри! И носа в водку не удастся окунуть. Ежели что, телеграфируй, пиши заранее. Ей-богу, приеду. Ну, бывай. Пиши. А там, глядишь, и весна. У.

1965 г.

Здравствуй, старина.

Письма наши с тобой на музыку можно переложить, ей-богу. Опус номер 1, опус номер 2 и т.д. Ну как там словесно толкуют: «Через постоянную ноту отчаяния, неуверенно, но настойчиво пробивается нота надежды и веры. Всё произведение расцвечено ироническими бытовыми деталями. Играть лучше всего перед концом света, а ещё лучше — на следующий день».

Ирония, ирония, кто её выдумал? Может ли умный человек быть не ироничным, ну хоть немного? И естественна ли она?

Прочитал я недавно: у Марселя Марсо есть сценка — в мастерской масок. Примеряет он разные — весёлые, злые, добродушные и т.д. И вот одна, иронически-хохочущая, прирастает к лицу. Он в ужасе, пытается снять и наконец сдирает — а под ней печальное и бесконечно усталое лицо. Устал, старина. Разослал 10 рассказов по журналам и в институт — и как оброк кому-то заплатил. Ничего не могу больше — не работается. Пусто, спокойно, пепельно-серо… Курю чрезмерно, а что толку. Весна началась и тут. Та, которой явленье грустно.

Одного хочу — побродить. Да, не в Одессу, а так, из Курска в Рязань. По деревне скучаю, тут ведь химическая жизнь, гомункулез. А у нас теперь вода талая со снегом в оврагах, грачи, верба распустилась. Здесь насчёт грачей дела табак. Куплю себе скоро велосипед «Турист», стального коня. И айда: мы, красная кавалерия, и про нас… Так вот, старина, выпить мне после этого пришлось. Пишу выпивши. И опять хочется выпить, подписать, заострить. Проклятая добросовестная привычка. Может, что-нибудь мы делаем естественно? А может, и нет. Вот этого-то мы и не нашли — каков человек? Ведь и загрузили его понятиями, каков должен быть человек. А каков он есть. Страшно по Достоевскому, но таков. И очень хорошо, если таков. Ну, будь здоров, старина. Ничего нового я тебе не сообщил. Но — пьяный бред. Это уже нечто! Будь здоров, старик. Может, мы и померяем с тобой землю!.. Пиши. Убогий.

1965 г.

Здравствуй, старина!

Бабье лето, осенняя печаль и красота. Такие тут стоят дни! Главное, полные, полные до краёв сами собой. Это, наверно, возможно только при увядании — то ли человеческой жизни, то ли природы. Гармония, покой и умиротворённое сознание неизбежного конца. Не к этому ли стремятся люди в искусстве, в религии? Быть, как природа, как дерево, как трава. Зеленеть весной, шуметь и млеть в роскоши лета, принимать на себя ливни и грозы, а потом цепенеть в медленной и сладкой смерти, терять листья один за одним, не зная и не думая зачем, но зная, что так надо.

Может быть, самым глубоким и подспудным стремлением каждого настоящего художника является стремление уничтожить себя как человека (читай — царя природы, преобразователя, властелина) и вернуться к вечному своему лону, как дерево, как трава.

Мысль, может, и странна, но на первый взгляд.

Я думаю, в жизни возможно только одно счастье — счастье самозабвения. Это или в созерцательном растворении и отсутствии желаний, или в мощной деятельности, которая тоже есть самозабвение, только с другого конца. Вспомнилась мне случайно фраза чья-то: «Нравственней себя погубить, чем сберечь». Потрясающе глубокая мысль! И люди всегда понимали это — и в искусстве, и в религии, и в революции, и в борьбе за счастье других, и в любви. Счастье в том, чтобы отдать, забыть, растворить себя. В любви, в работе, в искусстве, в смерти наконец. Шопенгауэр, кажется, сказал, что смерть это высшее счастье. Смерть, может быть, высшее единение индивидуума с жизнью, наиболее полное растворение в природе, приобщение и возвращение к общему и вечному источнику. Да и в смысле духовном — ведь настоящее произведение искусства — это наиболее гармоничное и естественное умирание страсти художника; страсть, умирающая в форме.

Ну, ладно, старина, этих размышлений, я думаю, и у тебя хватает.

Живу я по-старому, стараюсь поменьше думать и меньше читать. То же ведь чтение палка о двух концах, и какой толще?

Пишется туго. Пережил я первую наглость и самоуверенность в этом деле, и теперь сомнения, сомнения… Главное-то не форма и даже не содержание. А что? Нравственное чувство автора, которое заставляет писать. Вот тут и загвоздка.

Я как-то говорил тебе, что чувствую возможность написать обо всём. А из этого естественно и логично вытекает антипод — а значит, и ни о чём. А талант — это разные степени жажды и соответственной неудовлетворённости, или, может быть, это жажда жажды жизни, что скорей всего. Интересно бы потолковать с тобой, но и опасное это дело — такое общение и под таким углом.

Есть пословица латинская — «опыты ставить приятно». Вроде и смысла немного, но ты постарайся понять — очень глубокая мысль.

Приехала Ирка с Андреем. Сын уже большой, говорит потихоньку, хоть и с большим акцентом. Глядишь, и спортом будем скоро заниматься вместе. Толстый, шустрый и избалованный. Портят бабки детей.

Женись, старина, ей-богу. Сделай это естественное дело — женись. Трепотня это — обуза, быт и т.д. Ничему это не помешает, а поможет. Семья — это единственный вариант, в котором ты нужен безусловно. И это не надо доказывать без конца снова и снова, как в любом другом случае.

Да ты не жди 100-процентных гарантий, рисковать надо. Ведь и развод существует, тоже развлечение. Как там Кермин? Общаешься? Аргентина, подлец, уж демобилизовался и работает психиатром у себя в Мордовии. Ну, бывай, пиши, не ленись. Убогий.

02.11.1965

Здравствуй, старина!

Стало быть, женишься. Факт несоизмеримо большой по сравнению с тем, что о нём можно написать в письме. Желаю тебе всяческого счастья. Грустно мне, чёрт возьми, стало, когда прочитал. Холостяцкой нашей дружбе крышка, и что-то будет потом. Семьями будем дружить?

А кто же наши злейшие враги? Жёны наших лучших друзей. Развесёлая ситуация. Чертовски хочется попасть на свадьбу. Если и смогу, то только самолётом 7-го вечером. Но лучше не жди. Чертовски неблагоприятно тут у меня всё складывается. Если не удастся вырваться к 7-му, то выеду числа 10-го. Сначала домой на несколько дней, потом в Воронеж. Хоть и грешно отвлекать тебя в медовый месяц, но на пару вечеров и несколько бутылок сухого вина я смею рассчитывать. Горячее сейчас у тебя время. Ведь чинная, я думаю, будет свадьба — выпивка, закуска, гости, подвенечное платье, смокинг, такси до загса, шампанское, фотограф, первая ночь и первое утро. И всё остальное тоже. Немного иронии, капельку жалости и поменьше выпивки. Иронию — к себе, жалость — к невесте. Вот формула свадебных дней.

Только зарядку по утрам сразу не начинай — жене станет жутко.

Ну ладно, старик — ни пера тебе, ни пуха. Так или иначе — скоро увидимся. Постараюсь 7-го быть, придержи на всякий случай местечко где-нибудь с краю и водочки бутылку. Пока. Убогий.

1965 г.

Здравствуй, старик.

Не так уж часто мы пишем друг другу «внеочередные» письма. Я могу припомнить одно или два, да и ты не больше, пожалуй.

Субботний вечер, Ирка приболела, спит, поздно уже. Перебирал я старые фотографии и «всё былое»… Отвык я совсем от душевной мягкости, живёшь всё этаким человеком в кулаке. А и фотографий-то у меня твоих — одна, да и та стилизованная, хамская, ты уж прости, меня, брат.

Нужно бы 6 на 9, и друг на этой площади с честным, открытым лицом.

Ну ладно, считай, что я припомнил все выпивки, все приключения, все свои «костылевские ночлежки» и тебя в них, и все погоды, и горы окурков, которые сооружали на пару, и всё остальное тоже. Ну вот, так-то проще,

чего чернила зря переводить. Можно и кончать на этом, а? К читающему человечеству можно обратиться с таким манифестом — «Вспомните!» Вспомните первое воспоминание и второе, и как научились плавать, и первый класс, и школьную сумку какого цвета, и первую двойку, и последнюю тоже, и маму, и друзей, и любовь, уж конечно, и первый чёрный костюм, который может быть совсем не чёрным, и как впервой обнимали женщину, с позволения её, всё остальное вспомните тоже. Вспомните!!! Что ж ответит читающее человечество? Не помним? Или — чего ещё!? Или — чего уж там? А если начнёт вдруг вспоминать и вспомнит, то и искусство можно по боку.

Много у меня, Юрка, подобных идей, а, значит, табак дела, сам понимаешь. С работой заколодило, но, кажется, на днях засяду и, наверно, надолго. Думается плохо, вот беда. Собеседник нужен и хоть какая-нибудь художественная атмосфера. С кондачка без толку писать, хоть умри за столом. Думать надо. И как-то организовать жизнь духовную. Хоть дневник заводи, ей-богу.

Жизнь внешняя никакая. Лямка, одиночество, по утрам купаюсь в луже тут одной. Худею.

Открыл я Томаса Манна. И настоятельнейшим образом советую тебе прочитать 7-й том. «Тяжёлый час», «Алчущие», «Смерть в Венеции», «Тонио Крегер», ну можно и остальные рассказы. Не потому прочитай, что-де интересно, а нужно. Эти вещи прямо половину моих смутных предчувствий объяснили.

Вот что вспоминается сейчас случайно: «Может быть, на свете есть единственный героизм — героизм слабых». «Почти всё великое утверждает себя «вопреки».

«Свобода — что это значит? Снилось ли вам, что может подразумевать под этим ум поэта. Свобода от чего? Уж не от счастья ли, от человеческого счастья, этих шёлковых пут?»

«Лишь простак полагает, что творец-художник вправе чувствовать... Если то, что вы хотите сказать, затрагивает вас за живое, вам обеспечен полный провал. Здоровые, сильные чувства — безвкусны. Сделавшись чувствующим человеком, художник перестаёт существовать».

«Жизнь во всей её соблазнительной банальности — вот царство, по которому тоскует художник. Тот не художник, что жаждет эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по блаженству обыденности».

Почитай, старина. Как там Воронеж? Скоро уж осень, желтизна, синева, ясный холод, паутина. И жизнь такая длинная, и не стареешь никак, вот ведь какое дело.

Как проспект по вечерам, как женщины с загорелыми плечами? Танцуют вовсю? В конце октября поеду в отпуск, опять, видно, к тебе и к Генке загляну. Не пишет что-то он. А тебе? Что-то мне за Генку страшно. Он уж если расклеится — то наповал. Да и как его подбодрить? То, чем я себя «бодрю», ему — не в коня корм. Жениться ему надо поскорей, вот что. Ну, бывай, старина. Пиши письма. Убогий.

30.07.1965
Здравствуй, старик!

Не понял я тебя в последнем письме и думаю, что написал ты об этой возможной «идейной ссоре» так… Немного от фонаря. Немного бы я дал за такие отношения, которые могут прерваться на идейной почве, хотя, разумеется, с известной точки зрения дело обстоит наоборот. Но эту точку зрения я оставляю соратникам по политической борьбе и их биографам. Я не отрицаю и даже не снижаю значение идейности и убеждённости и т.д. Но такие человеческие отношения, как дружба, строятся на другой основе. На основе понимания и человеческой теплоты. И я не знаю, что больше объединяет людей — образ Прометея или Акакия Акакиевича Башмачкина.

А цена человеческих отношений пропорциональна мере увеличения одиночества, когда они прерываются.

Есть у Хэма фраза: «Нет более одинокого человека, чем человек, который пережил любимую». Как будто так. И вот если бы вместо слова «одинокий» было слово «несчастный», она (фраза) потеряла бы для меня всю горечь и всю правду. Господи, сколько способов быть несчастным, и только один способ быть действительно несчастным — одиночество. Апостолы-то спали, а это хуже креста. Словом — не буду я с тобой ссориться «идейно». А если уж ссориться — то подраться. Это не худший случай. Встретимся на нейтральном поле, где-нибудь в Жерновце, и учиним.

Мудрец я вряд ли. Просто чувствую, что вопросы жизни не решаются рациональным путём. Все усилия вхолостую. А как — не знаю. Как-то с пятой стороны, через пятое измерение. И чувствую, что просто это решение до глупости.

Как толстовскому Ив. Ив. какой-то голос отвечал на вопрос: «Зачем же эти муки?» — «А так, ни зачем…» Мороз по коже подирает. А так же смешно. И больше смешно.

Ты пишешь: «Страшно попасть в руки бога живаго». Да всё в его руках, кроме, знаешь кого — Флема, семипудовой купчихи, в которую Иван Карамазов переселиться хотел, и какого-нибудь носителя абсолютной иронии: может, Вольтер таким был. Ну, ещё сумасшествие, но это особая статья.

Так что не богат выбор — хочешь, яйца себе режь, хочешь голову, а хочешь одну голову оставь. Два эти органа как-то не уживаются.

Что меня забавляет и смешит в самые мрачные минуты — это маленький Жан-Поль Сартр. Да и большой тоже. Всех он переплюнул — он для подстраховки всего себя от себя отрезал, а потом потихоньку сам себя выращивать стал. Чтоб никому обязанным не быть. Нет, без шуток — это ж шедевр. Он ведь сам себе король. Хоть, может, и плох, а самодельный. Если он и дальше так свою жизнь опишет — вот будет библия! Подозреваю, что хуже не было никому.

Убогий.

22.03.1965

Здравствуй, старина!

А, может, ты и так уже Робинзон, и уже не очень радуешься уже появившемуся парусу? Если парусом даму счесть. А, может, каждый писатель — Робинзон и пишет свою Робинзонаду? Это я вспомнил слова Сартра на съезде писателей в Ленинграде. Ну, где о судьбах романа говорили: «Каждый писатель лжец, он лжёт для того, чтобы сказать правду». Ну до чего ж дошло словесное фиглярство! Говори похитрей — всё в дело пойдёт. А уж я Робинзон кондовый. Дома теперь бываю 2 недели в месяц, а остальные 2 в 7–8 вечера приезжаю. Подкручивает жизня гайки, дышло ей в зубы! Но держусь. Внутреннее сопротивление растёт пропорционально внешнему давлению. Но ведь иначе и раздавит. А вообще — пора, мой друг, пора… Пора, говорю, в бакенщики. Только вот отчество не «Ерофеич». С твоим-то хоть куда! Эх, милый ты мой Филиппыч! Что нас держит? Слабость, слабость и слабость. Винтики-с. Ну а я, кроме всего прочего — солдат. Хотя, может, ещё и пошуршим? Жизнь продолжается, старик. Оформил я 5 рассказиков, на днях перепечатают по таксе — двугривенный за лист. Думаю послать на творческий конкурс в Литинститут, он до 25 мая. На заочное. Пока я здесь — можно б и поучиться. Да и интересно, что ответят. Как ты на это смотришь? Может, кое-что в журнал пошлю. А вообще, после трехмесячной работы упёрся я в стену. Чувствую — выше не иду, надо что-то ломать, менять, бросать. Поговорить вот тоже надо. Работа над деталью, точностью, объективностью пользу-то дала, но если тянуть и дальше в эту сторону — «занудой» станешь. Отличное слово, между нами. Ужасно хочется написать что-нибудь простое, доброе и горьковатое. Сюжет не вытанцовывается. Вроде, о чём угодно можно написать — а не выдумывается. Я даже написал рассказик про дуб, дерево то есть. Вот де жил-был дуб, да и того… Но не поднял — болтовня получилась. Перечитай, брат, «Шинель». Фокус, чудеса в решете!

А ещё держит нас «здравый смысл», только ты не обижайся. Паскаль, кажется, сказал: «Здравый смысл есть сумма предрассудков данной эпохи».

Только теперь я понял вполне те муки, про которые ты говорил, когда работать начал. Помнишь, выпивали в «Воронеже». Ты спросил, люблю ли я людей? А я-де не люблю, потому что на людях надо держаться. Да, тяжёлая штука. А у меня ещё плюс субординация. Прямо хоть под Швейка играй, ей-богу. Что надо человеку, что вообще надо человеку? Я думаю: 1. Свободу от обязанностей (ты понимаешь, я не имею в виду безделье, а наоборот даже). 2. Общение с людьми и возможность духовного резонанса (в оттенках, нюансах, противоречиях). 3. Физическое здоровье (а душевное приложится).

В смысле материальном я готов помириться на тюремной похлёбке и крыше над головой — буквально. Ну и срамоту прикрыть. Что можно сделать конкретно: одну работу часов на пять-шесть, неотвратительную, спокойную, видимо полезную, рублей на 70 (хоть землю копать).

Чёрт, что-то уж очень просто, не может быть. Отпуск я-таки надеюсь пробить к концу мая — к началу июня. Но это надо точнейшим образом состыковать, а то разъедемся в разные стороны и можно не увидеться, а надо бы.

Ты узнай, в какой мере точен твой срок и как его можно передвинуть — буферные свойства, словом. В Питер бы хорошо. Там даже у Ирки и ночлег для нас найдётся. А можно и на юг — в Пятигорск хоть. Там просторно и хорошо.

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдёт;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдёт;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду…

Лермонтов

Просьба к тебе важная. Лежал я в вашей заводской больнице с сотрясением мозга в конце января 57-го года. Узнай там в регистратуре, сохранилась ли моя история болезни. Не выяснишь, напиши мне адрес больницы. Ну, будь здоров. Пиши. Убогий.

01.05.1965

Здравствуй, старина!

Первое мая, солнечное, тёплое утро. Сижу на балконе. Небольшое похмелье после хорошей пробежки по тайге и горяче-холодного душа. Слышна военная музыка, скоро парад. Такие дела.

Долетел отлично. Здесь всё по-старому. Жду потихоньку, когда выйдет бумага мне.

Очень хочется писать, но никак не соберусь. То пьянствовал немножко по приезде, то вот праздник этот. И никак не могу расслабиться, отдохнуть. Что-то крутится внутри, как в моторе.

Да, по дороге домой было кое-что интересное (без пьянки), как-нибудь расскажу.

Во втором номере «Нового мира» два хороших рассказа Носова.

Ну ладно. Сейчас пойду за сухим вином, куревом и парад погляжу. Андрей опять приболел, нет совести у парня. Посылаю квитанцию. Постарайся. Пиши.

Убогий.

10.11.1965

Здравствуй, старик.

Только что получил твоё письмо. Спасибо. С самого приезда собирался написать тебе и не мог. Не потому, что не знал, что написать. Какое-то странное чувство меня останавливало. Может быть, это было похоже на то, когда ты обязательно должен идти на свидание с женщиной или жениться

на ней, даже если ты любишь её и хочешь этого. Ну да как бы там ни было — я вам пишу.

Знаешь, старина, по прошествии времени я понимаю, что всё-таки в нашу эту встречу всё было правильно. Пожалуй, и без «всё-таки». Всё было правильно. Конечно, не скажешь, что мы «приятно провели время», но ведь это банальное понятие комфорта и удовольствия. Во всяком случае, было соблюдено главное — отсутствие фальши. Трудные дни так же принадлежат нам обоим, как и хорошие. Единственное непоправимое в отношениях между людьми — когда они делают хорошую мину при плохой игре.

А вообще-то, напрасно я приехал сразу в Воронеж. С тебя вполне было достаточно того, что ты женился неделю назад в первый раз в жизни. К следующей встрече обомнётся семейный хомут, и в общении будешь доступней. Ведь тебя, наверно, хватало, чтобы только-только с ума не сойти?

Порадовался я на друзей: ты в состоянии запредельного торможения, Генка совсем сорвался с тормозов, и несёт его, как с горы. Аргентина жену прогнал. Тимской друг детства (который рассказ писал про женщину, у которой ноги-руки оторвало, и она влюбилась в этой ситуации, помнишь, я рассказывал?) бросил институт, 4-й курс, работает в Тиму истопником и собирается роман писать с аналогичным сюжетом. По слухам, заболел сифилисом, но отрицает это.

Словом, встряхнулся я в отпуске на славу.

Очень быстро идёт время. Раньше тянулось из-за скудности жизни, а сейчас бежит стрелой по той же причине. Ведь подумать только — через полтора месяца календарная весна. Только успеваешь просыпаться на работу, чёрт бы её побрал. А вечера с чёрным кофе и скрипением пером и с самоизнасилованием слились уже во что-то единое и уходящее в бесконечность, по обе стороны от настоящего.

После отпуска начал писать два рассказа и оба бросил. Неопределённо размышляю. Норберт Винер писал: «Главное преимущество человека перед кибернет[ической] машиной в том, что он может оперировать нечётко очерченными понятиями». Вот я на это и налегаю. Лыжи по воскресным дням.

Зимы тут чистоты и прозрачности невероятной. Небо во время зорь — космос и презрение к земле. Какая-то нечеловеческая, атомная чистота и чуждость.

А тайга в сильный мороз прямо жестока. Замёрзнешь где-нибудь на голубом снегу, и не будет от тебя ни гнили, ни вони, ни поживы червям — никакого приобщения к этому «вечному круговороту жизни». Космическая смерть с превращением в сосульку. Проблудил я на днях в тайге пару часов и очень сие прочувствовал.

Как жизнь семейная? Выясняется что-нибудь конкретное после начальной нервотрёпки? К тёплому ватерклозету привык? Водку пьёшь?

Проясняется для меня серьёзная музыка. Баха накупил. Кое-что доходит. Это как река, которая течёт через тебя внутри. С холодной чистой водой под солнцем. Кажется, понимаю твоё восхищением им. Его музыка как-то выше «музыки». Выше мелодии темы и т.д. Знаешь — «мечта каждого художника

говорить без слов». Если попадётся что-нибудь в исполнении Сафроницкого — купи. Изумительно. Он пианист и уже мёртвый.

Белым стихом я тоже могу.

В твоём лице всё меньше губ твоих,
В твоём лице всё меньше глаз твоих,
Как и в моём лице всё меньше глаз и губ.
Всё больше седины, морщин, усталости
И общих дней, которые делили мы.
Мы так близки, что нашей близости
Уже мешала, может быть, любовь.
И вот она ушла, оставив нас совсем вдвоём, тебя со мной.

P. S. Конечно, это вряд ли стихи.

P. SS. К моей семейной жизни это отношения не имеет. Не подумай.

Привет Тамаре. Пиши. Убогий.

1965 г.

Здравствуй, старик!

Не пишешь что? Я иногда по субботам подумываю, ну завалишься с бутылкой под полою. Не выгорело дело с командировкой?

Третью неделю в отпуске. Немного досаждает Андрей, но в общем лучше, чем я думал. Странно, один, не вижу ничего и никого, но жизнь наполнена. Лыжи, книжки, пописываю вечерами. Думается то ж. Видно, даже сносная работа — хомут, а несносная — совсем петля.

Спасибо за Бунина. Накинулся на него, но больше недели не выдержал. Перепроизводство изобразительности. И шёл он в этом к декадансу, но суровость, злость и реалистическая закваска не пустили. «Освобождение Толстого» хорошо. Думаю, что для развития личности каждого глубокого художника эта парабола неизбежна, предопределена. Интересен этот путь к освобождению, к исходу, к смерти. Неизбежность смерти оскорбительно глупа, и сильный дух стремится определить её. Как жена спешит бросить, опередить мужа, когда чувствует, что он готов сделать это с ней. Тоже гордость. Везде она, может, только в физиологическом юродстве снимается. Как-то думал о смерти, она ж не мгновение, а по «площади» должна быть жизни равна. Смутно, конечно.

Послал в Л. Т. про охоту, помнишь, читал, как бедных зайчиков стреляли. Написал кто-то: «Рассказ «Охота» мне понравился. Буду представлять его к опубликованию. «Диалектика» психики героев верна, характеры хорошо «проглядываются». И совершенно покоряет в рассказе ваше умение писать природу. Хотя в этом вы несколько злоупотребили серебряной краской (ночь охоты). О судьбе рассказа сообщу дополнительно».

Теперь жду, что будет, аж самому себе противен стал. Суетность — хоть лопатой выгребай. А нужно мне только одно, в сущности — оправдание перед собой, женой и обществом. Не «слава» же, и не гонорар. Да ты понимаешь... Тиснули б, я б и успокоился года на три, скрипел бы потихоньку пером.

Читаю «Былое и думы», купил. Изумительная книга. Не знаю, какая другая могла б принести мне в теперешнем состоянии такую пользу, именно пользу. Хочешь пришлю, есть они ещё.

Страшна наступающая «зрелость». Чувствую её как-то. И не денешься никуда от неё, и как скорбное окостенение она. И жалко мне тех похмельных, сумасшедших Юрок. Смотри, под трамвай не попади, старик. Что я тогда буду делать один?

Ну ладно, пиши, чего не пишешь. Покурю сейчас с кофеем, и ресторан «Москва» припомню. Всего. Убогий.

30.08.1965

Здравствуй, старина!

Не знаю, что у нас с письмами получилось, я отвечал регулярно и даже как-то написал 2 раза подряд. Может, почта барахлит, а может, кто заинтересовался? «Кому повем печаль свою?»

Есть такая песня из моей первой юности, про любовь.

Сколько б ни было в жизни разлук,
В этот дом я привык приходить.
Я теперь слишком старый твой друг,
Чтоб привычке своей изменить.

Правда, тут по замыслу автора женщина замешана, да ведь где те границы, какое терминологическое разнообразие в языке, для всех случаев и оттенков название есть. Одна любовь — любовь. И к женщине, и к богу, и к жизни, и к друзьям, и к родине, да мало ли к чему. Язык, может быть, самый точный индикатор для всего сущего, проверенный и созданный столетиями. И недаром понятие любви не раздробилось на словесные тонкости.

Любовь к ближнему, и акт соития — любовь. «Любите любовь». Помнишь в «Хождении по мукам»?

Так что, дружище, будем на пару горе горевать и жизнь перемалывать. Может, ещё и соседями поживём. А что ты думаешь? Переезжают люди с места на место за лучшей должностью, за заработком, за климатом. Неужели человеческие связи так пусты, что нельзя друзьям съехаться да жить в одном месте? С точки зрения здравого смысла, мысль детская, но чёрт бы его побрал, этот здравый смысл!

Так, говоришь, не понравилось тебе моё письмо? Думаешь, идеи распустившегося и одуревшего от одиночества парня? Где это мы ещё будем райской жизни искать, курам на смех? Но сколько ж держать себя в кулаке, сколько ж надеяться, что когда-то наконец жизнь станет не то что хорошей, но сносной. Да и надежды той нет. Что, к примеру, можно представить хоть в твоём положении?

1. Жить так же судорожно, одиноко и несчастно? Тащиться по жизни, по дням и даже часам? Писать, в надежде научиться это делать когда-нибудь?

Надолго ли тебя хватит? Да и нельзя ничего написать в положении средневекового алхимика. Чтобы писать, надо жить, как ни трудно, но жить. Нельзя заполнить и заменить сочинительством отсутствие жизни.

2. Принять жизнь как она есть, и не мудрствовать лукаво, жить, как живётся? Это выход, но получится ли это у тебя? Сомневаюсь.

3. Ну а третьего, как выхода, похоже не дано.

Встряхнуться надо, как-то усилием выйти из заколдованного круга. Тут по принципу, хоть оно, может, и хуже получится, но всё-таки лучше. Может, уехать куда подальше, может, повкалывать физически, может, жениться иль любовницу завести. Поворошить надо заколдованное царство. Страшно не «сбиться с пути». Это и поправимо, и даже помогает. Страшно «засушить» себя, как этакую бабочку в альбоме. А при такой жизни всё внутри ссыхается. И уже не исправишь.

Очнись, старина, хоть глупостей натвори, осмотрись. Классические и древние радости жизни-то есть. Усталость и отдых, сон, рассветы, осень с холодной синей водой, мысли, только не надо подстёгивать их, женщин, не надо мудрить с ними. Вино тоже благо, ну и всё остальное.

Помнишь в «Фаусте»: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет древо жизни». Это единственно и вечно. Не цель, не работа, не смысл, а жизнь. С историей, с настоящим, с молодым телом своим, с небом над головой. И жаждой есть и жаждой пить. Не входи в штопор, старик. Пока есть жизнь, есть и счастье. Сколько тебе об этом говорить.

Мне тоже плохо, так что и говорить об этом лень. Этакая минус-жизнь.

Уж так, что остаётся одна радость и утешение, что просто-напросто живёшь на белом свете. А, может, других радостей и нет. Да «не может», а нет. Круг замкнулся с другой стороны.

«И мысль о смерти бросив, вернулся к самому себе». Так, кажется.

Работается очень туго. В ноябре надеюсь быть в Воронеже, ты уж подержись пока.

Ну а с женщиной, что ж, бывает и так. Ирка уехала в отпуск, и я теперь один уж так один.

Не понимаю насчёт Генки, что он, в отпуск, что ль, в Воронеж приедет? И вообще, где он? Не пишет, подлец.

Как там у тебя? Друзья, выпивки, погода? Книжки-то не перестал читать ещё? Ну, будь здоров. Пиши. У.

10.09.1966

Здравствуй, старина!

Ты, видно, получишь сразу два моих письма, первое я не отправил вовремя.

Когда ты картошку копал, я же лежал в больнице. Не пугайся, тут особые причины, встретимся — объясню. Было время пораскинуть мозгами, но странно, когда есть возможность думать, думается плохо. Кое-что мне всё-таки удалось уяснить.

Во-первых, я думаю, что тот основной вопрос, над которым мы бьёмся, поиски согласия с самим собой и окружающим миром, не может быть решён путём размышлений. Он может быть решён только жизнью, практическим примериванием себя к окружающему и наоборот. Все жизненные, изречённые мудрецами истины открыты как постфактум, как отражение, отвлечение и обобщение былого. Во-вторых, для жизни необходима вера или полное безверие, которое есть оборотная сторона веры или даже вера в то, что верить абсолютно не во что. Необходимы жизненные постулаты, как в геометрии. Иначе интеллект тут же разъедает всё то, что он успел построить. Вера в коммунизм, в бога, в науку, в то, что «человек человеку — волк»... Вера ограничивает, но этим-то она и даёт возможность жить и творить. Безверие — синоним бесплодности.

Общаться с миром можно только ощущая себя как личность, ощущая границы личности, а стержень личности — вера. Иначе интеллектуальная, эмоциональная, моральная и всяческая слякоть.

В-третьих, нас раздирает постоянное противоречие: постоянное стремление к жизнеутверждению и одновременно поиски новизны, удовольствий самых изощрённых на пути самораспада, упадка, декаденства.

В-четвёртых, навязчивое стремление соизмерить каждый свой поступок с неким вечным коэффициентом и неумение делать этого. Вера, естественно, увязывает частность и общий принцип, а безверие обрекает человека на бесконечные и бесплодные потуги такого соизмерения.

В-пятых, теперешняя молодёжь — трудное поколение безвременья.

Ну хватит, остальные пункты как-нибудь потом.

Не горюй, старина, будем жить дальше, тем более тут уж никуда не денешься.

Здесь дело к зиме совсем. С начала ноября снег обычно ложится намертво.

И опять бесконечная зима в тайге, и снег по ноздри, и темень по утрам, и простуды Андрея (вот тоже мука), и тоска, и... Ну да и всё остальное тоже.

Так, поточнее, старина, когда ж ты женишься и, прости меня, на ком?

Может, к середине ноября сладится дело, что б и мне удалось пропустить по этому поводу стаканчик. А что волынку тянуть, если решил — не деньги ведь на свадьбу копить? Не страшно? Ведь непривычное занятие.

Женись, старина. Я думаю, хуже не будет, а лучше, может быть. Может быть, даже очень лучше. Но не надо передумывать. Это будет хуже всего. Ну, будь здоров. Пиши. Ю.У.

01.11.1965

Привет, старина!

За стеной играют на пианино твою любимую мелодию. «Зямя и К» её хорошо делали.

Сегодня получил твоё письмо. Хорошо излагаешь, да и рассказываешь ты лучше своих «сделанных» вещей. Вот ведь какое дело.

Хорошо играет, подлец! Аристократы кругом, прямо над нами полковник живёт, а напротив два генерала в коттеджах… Аргентину б сюда выписать на недельку для очистки воздухов.

Получил на днях от него письмо. Женился он. Ну не знаю, во что теперь верить. Одно утешение, может, по пьяной лавочке?

Новый год встречал в коллективе госпиталя. Ты, может, не видел пьяного веселья деловых и пожилых людей. Страшное, брат, дело. Достоевского б туда. Что было дальше, по своей всегдашней манере не помню. И хорошо. А первого с 9-ти заступил на суточное дежурство в госпитале.

В двух словах, филиал ада на земле. Еле потом в ванне отошёл.

Зима тут, зима в идеале. Заснеженная тайга, тишина, солнце в морозном мареве, сказка… Гравюра, чернь по старому серебру! А по ночам дымы над городком, луна, как прозрачный и призрачный парус. А жизнь ужасна. Ужасна в отсутствии её. И как её ни принаряжай, сущность одна. Я бы мог ещё помириться на грубой, простой, необходимо ясной работе физической, за «кусок хлеба и крышу над головой». Или на совершенной уж духовной абстракции. Но это положение «стержня квадратного в крутой дыре» невыносимо. И для того чтобы выдержать это тошное и фальшивое положение, уходят лучшие душевные силы. Что будет дальше, не знаю. Но размягчить и отмоделировать себя к условиям этой работы и жизни я вряд ли смогу. И дай бог не смочь. Ведь вопрос трогательно прост: за деньги, из коих меня бы устроила третья, даже четвёртая часть, за тёплый клозет и горячую воду, которые мне не нужны, за две большие пустые комнаты, я отдаю время, нервы, треть жизни на омерзительной мне работе. Зачем, к чему?

Всё бы ничего, но время, время, время… Уезжаю в 8, приезжаю в 7. Ложусь спать в 9, встаю в 3. Работаю до 7. Пока вся работа состояла в борьбе со сном. Но уже стал привыкать. Но четыре часа — это не работа. Но если дотянуть до 5 и вставать в 2, то это тоже не жизнь.

Я ж не схимник-схоластик, да и не библейские теперь времена. А часов в сутках 24, с какого конца не считай. Но нужно держаться, игра-то ва-банк, нельзя проигрывать. Злой я стал, будто виноватого на стороне ищу, а это уж никуда не годится.

Знаешь, чего очень не хватает? Хорошей выпивки. Раза 2 в месяц, ну хоть один раз, для полировки крови.

А насчёт работы. Ты рубишь сук, на котором сидишь. Вот кусок из предисловия к «Врубелю», что у тебя есть.

«Вдохновение — порыв страстный неопределённых желаний, есть душевное состояние, доступное всем, особенно в молодые годы. У артистов оно, правда, специализируется на желании что-нибудь воссоздать, но всё-таки остаётся только формой, выполнять которую приходится не дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника. Пар двигает локомотив. Но не будь строго рассчитанного, сложного механизма, не доставай даже в нём какого-нибудь дрянного винтика, и пар разлетелся, растаял в воздухе, и огромной силы как не бывало». И это Врубель писал!

Да и сама вещь вся создаётся только в процессе работы, переделывания, и во многом переделывания именно слова. Ты пойми единство содержания и формы, именно единства. Они выковывают друг друга. Вот ты не можешь подумать без слов, просто подумать. Так же и художественное.

Я тебя отлично понимаю, работа над словом часто сковывает и омертвляет чувство, с которым пишешь, но ведь без этого на бумаге остаются бледные тени того, что ты хотел сказать. Я по себе знаю: те куски, которые писал «вдохновенно и свободно», потом выглядят хуже всего. И за них больше всего стыдно. А для того, чтобы писать свободно и не «трусливо», надо уметь писать. Кто измерил килограммы пота прыгуна и боксёра, прежде чем они стали в решающий момент руководствоваться «чувством прыжка и боя?»

Выпусти меня теперь на ринг, я бы не «руководствовался», а убежал бы в угол. Может, и есть люди с природной «постановкой голоса», Пушкин там, Киплинг. Да и они вкалывали, а остальным и бог велел.

Ну ладно. Надо б нам вместе жить. Ты б чернила разводил, а я бы бегал по редакциям. Или как там у Ильфа с Петровым? Пиши, старина. Может, и пробьёмся. Жизнь продолжается. Твой Ю. У.

08.02.1966

Здравствуй, старина!

Я в Москве, в госпитале, валяюсь здесь уже вторую неделю.

Обследуют меня, лечат потихоньку и, насколько это затянется и что из этого выйдет, не знаю. Вряд ли что-нибудь хорошее.

Приехал сюда в сквернейшем состоянии. Окружающее и внутреннее совсем уже потеряли грани, границы, разность, и всё перемешалось в серую, ровно-бессмысленную слякоть. Хуже всего, что нет остроты и боли, а тупое, привычное, ревматическое нытьё. Привычное — вот где ужас. Да и не ужас, а скука и всё равно.

Помнишь, у Пушкина: «Мне скучно, бес… Всё утопить…»

Надеялся и тут поразмыслить на досуге, но из этого никогда ничего не выходит, сам, небось, знаешь. Как в калейдоскопе, разные узоры, да из тех же стекляшек.

Тут в библиотеке Достоевский. Я полистал, и противно мне стало, и брезгливо, и смешно. Ну зачем он добывал эти надрывные истины, эти глубины и т.п.? Кому понятно это, тому и так, без него, достаточно плохо, а для нормального человека это тарабарщина. Да и вообще, искусство, скорее, уродует, чем возвышает. Вечная погоня за всё более утончённым, раздражающим, до того, что невозможно уже и воспринимать обыденность и невозможно жить. А когда окружающее уже не действует и не дразнит, начинается ломание самого себя, декаданс, извращённость, чтоб хоть этим позабавиться.

Попались мне тут записные книжки Блока, вот кошмар. Чёрта с два художники творят от полноты жизни. Со скуки. Мучают себя, боли ищут, чтоб от неё уйти. И сильно это проституцией отдаёт.

Представь, человек вспоминает свою первую любовь, записывает её, а потом печатает в журнале «Подъём». С ума можно сойти!

Я сейчас чувствую себя человеком, не написавшим в жизни ни одной строчки. Просто это оказалось далеко не самым важным. Дикость ставить знак равенства между жизнью и каким угодно творчеством. Это ж нищета!

Вспоминаю детство, Воронеж, пьянство, любовь. И прямо хоть плачь, хорошо всё это было. Воспоминания — один из самых сильных мотивов творчества. Всё, например, творчество Бунина на этом. И это тем сильней, что совершенно неразрешимо. Так ясно, кажется, руку протяни, и в то же время сомнение, да полно, было ли? И чем ясней, тем нереальней.

С годами, если не клеится жизнь, происходит страшный процесс. Каким-то чудом уходит хорошее, нужное, любимое, и на его месте тоже каким-то чудом вырастает, как сорняк, всякая п…нь, не нужные никому обязанности, ненужные вещи, ненужные отношения, разговоры и т.д.

Чего бы проще, жить так, как хочешь. Тем более это большей частью вполне достижимо.

Как ты, старина? Как жизнь с молодою женой? Туго, наверно, среди альбомов с репродукциями с картин великих мастеров.

Я тут проторчу по меньшей мере до конца февраля. Так что пиши. У.

14.02.1966

Здравствуй, старина!

Солнце за окном чертовски весеннее и чертовски тянет туда помокнуть, помёрзнуть, подурачиться. Помнишь, как-то бродили мы с тобой в районе старых канав Воронежа, по ранней по весне? А потом выпили у графини в темноте отменно. Вообще, после каждого по-настоящему близкого общения с природой чертовски хочется выпить. То есть напиться. Некоторые люди кончают с собой из-за избытка жизненных сил. Это по Фрейду, конечно.

Интересная мысль, не правда ли? Тут парадоксальность в психологии, или глубина, достигает уровня теоретической физики. Тема прямо для Достоевского.

В этом заведении хорошо о смерти думается. Самые светлые и оптимистические мои размышления о ней. Это без всякой иронии. Смерть равноценна жизни. Это две стороны одной медали. Наивно искать счастья, гармонии в жизни, не пытаясь понять, узнать, ощутить, что есть смерть и что она неразрывно связана с жизнью. Мучительно чувствую, что ты меня не поймёшь. Смерть — это свет, это тот прожектор, который освещает жизнь, даёт ей гармонию и смысл. Конечно, не понимаешь! Неужели ты не видишь, что все вещи гениев пронизаны этим светом. Даже самые «любовные» стихи Пушкина, и Бах, и Гойя. Даже Маяковский, а уж Шекспир! Ежесекундное ощущение смерти даёт знание её и давало им возможность творить. Творец — противник смерти, но ощущение и знание её — тот катализатор, на котором держится вся технология настоящего творчества. Жизнь прекрасна тем, что она конечна и кончается она вечностью — смертью. Чем больше нитей

протянет художник от создаваемого им данного объекта, ситуации, детали к смерти и вечности, тем более совершенно его творение.

У Шекспира это стальные конструкции, у Пушкина — плотная, светлая, пронизывающая всё ткань.

Ты как-то говорил, что всё надо приводить к коэффициенту бесконечности. Так вот это несколько соприкасается с тем, что я пытаюсь сказать тебе.

Ну ладно. Не подумай только, что я сумасшедшим стал. Плохо пишу, потому что лёжа. Сколько мне тут ещё быть, не знаю. Нервишки, сам понимаешь, шалят.

Что-то смотрю я, брат, куда-то в тупик переписка наша сползает. Размышления, размышления… и нет тому конца. Всё об одном, всё об одном. Не письма, а трактаты. Скоро будет похоже на переписку Екатерины с Вольтером. Только вот кто как бы Екатерина, а кто как бы Вольтер — игривый вопрос.

Ты написал бы, как живёшь, как, что, чего. Говоришь, обязанностей много. Да наплюй. Оставь одну, хлеб зарабатывать да перед собой честным быть. Хотя обязанности — это латы современного человека. И тяжело их таскать, но защищают, и без них он как голый. Ну да это та же притча про великого инквизитора.

Будь здоров. Если не поленишься и напишешь сразу, письмо застанет меня здесь.

У. Ю.

07.03.1966

Здравствуй, старик!

Так вот и путешествуют за мной твои письма по разным адресам. Тропа через одиночество, которая всё больше глохнет во времени, и, чтобы угадывать, надо уже быть как Кожаный Чулок.

Прочитал я заметку о «Земляничной поляне» и, кажется, понял, почему ты написал об этом. Даже, кажется, понимаю, насколько близко и, если хочешь «злободневно» это для тебя сейчас. Но и для меня, и для всех, и сейчас, и всегда. Я думаю, что вскрытый там вопрос — один из очень немногих и объективно неразрешимых. А заключённое в нём противоречие и неразрешимость его — один из немногих истинных двигателей жизни и мук её. Я убеждён, что сохранить личность можно только ценой одиночества, а за победу над одиночеством надо платить ценой личности.

Преодоление одиночества — это путь утери, «снижения» личности. В идеале — до состояния «блаженного», «юродивого», до состояния Платона Каратаева или Алёши Карамазова. Это всю жизнь стремился сделать с собой Толстой.

В фильме главный герой — врач. Конечно, это может быть любой человек, но среди истинных творцов в искусстве каждый несёт в себе эту трагедию. Помнишь, я писал тебе слова Сартра: «Желание писать — это отказ жить». Этот врач, кажется, думает в конце жизни, что он, в сущности, не жил.

А в творчестве получается дьявольский порочный круг: творческим усилием художник пытается разорвать обруч одиночества, но этим только укрепляет его. В этом вечное противоречие, вечный двигатель и вечная мука творчества. А божественная свобода прозы Уитмена — умиротворённость отказа от борьбы. Это свобода бегуна, который «выкладывается» на 70 процентов. Знаешь, что такое художник? Это натяжка, неустойчивое равновесие.

А что женщины ему изменяли, так не ему одному — и Пушкину, и Лермонтову, и Бунину, и Маяковскому. Может быть, это естественно? Как ревность и месть естества, природы, физиологии, которые представляет женщина — мужчине, носителю духа.

Ну ладно, писать об этом трудно, хорошо бы — поговорить.

А вот что за катастрофу ты предчувствуешь, не понимаю. Какую-то «тихую, незаметную, неизбежную»? Воспринимается как что-то жуткое.

В прошлую среду была комиссия, решили дать мне свободу. Жду утверждения в высших инстанциях. Обычно это формальность, но, учитывая мою профессию, дело сложное. Хотя шансы неплохие. Вот так. Что это для меня — понимаешь сам.

Пятый день отдыхаю, первый раз в жизни. Курю 40-копеечные сигареты с фильтром, гуляю по лесу утром и вечером по паре часов. Ранняя весна — чудо. Туманы, тишина, птицы брачные песни распевают, грачи орут, как пьяные.

И покой. Почти такой, о котором Пушкин писал. Мыслей минимум, да я сейчас и не хочу их. Хотя исподволь что-то серьёзное происходит со мной. И, кажется, хорошее. Читать, как ни странно, почти не могу. Всё пресно, мелко, не нужно… Всё — ну и что… Забавляюсь воспоминаниями, что вспомнится. Дни идут глубокие, длинные, прохладные. Наверно, так они текут объективно, по космическому календарю. И начинаю ощущать, насколько издёргали и измучили меня последние 2 года.

Как долго я здесь буду, трудно сказать. Дней 10, а возможно, застряну надолго. Во всяком случае, с ответом не тяни.

Как там весенний Воронеж? Небось, собираешься уже с женой на Чернавский мост. Держу пари, что не обойдёшься без этой глупости. Тогда хоть винища, по крайней мере, захвати. Ну, всего. Пиши.

Убогий.

02.07.1966

Здравствуй, старина!

Волею судеб и своей собственной, оказался я в г. Железногорске Курской области на должности рентгенолога. Сейчас прохожу двухмесячную специализацию в Курске. В Россоши, кроме некоторых шероховатостей в быту и на работе (с которыми можно было бы мириться вполне), оказались одни хохлы. Понастроили там заборов до неба и болтают на своём самоедском языке. Хоть это со стороны и странновато, но уехал я оттуда в основном из-за них. Ведь жить там мне бы не год и не два. Железногорск — новый город,

центр той самой магнитной аномалии. Новый, тихий, чистый. Природа изумительнейшая, окраина брянских лесов. 70 км от Орла, 120 от Курска. В рентгенологах я долго застревать не собираюсь. Строится новая больница, и будет должность психиатра. Но пока меня устраивает и рентгенология. 5 часов работы и очень спокойно. Для меня главное сейчас — свободное время. Вот так.

Ирка уже работает, езжу на воскресенье к ней.

В Курске скучно, одиноко и жарко. Просто невыносимо. В смысле — жарко, но и одиноко почти так же. Родной город — и хоть бы знакомый один. Жизненный цикл прост — больница, речка, библиотека. В промежутках — пищеблоки.

Скоро приедет в отпуск Генка, должны увидеться.

Ну ладно, старина, не пишется что-то. Как ты? Пиши.

Изредка вечерами пью вино в невинных дозах. Не веселит. Даже добавить не тянет. Убогий.

11.10.1966

Здравствуй, старина!

Никак не мог собраться написать тебе. На праздники был дома. Семейные выпивки, то, сё... Тяжко что-то мне это показалось. Говорить особенно не о чем, говорить надо — сизифова работа, ей-богу. Не принято такие вещи обсуждать, да и тёмное ж это всё дело. Ведь и любят тебя, и заботятся о тебе и т.д., а висит это всё по рукам-ногам, как вериги. И у каждого понятие, каким ты должен быть. Угоди-ка на всех. Тёща у меня хорошая женщина. Без натяжки. А как побудешь у неё часок — хочется пару чайных стаканов водяры хватить без закуски, а там видно будет. Ну, я думаю, ты это знаешь.

Генка не приезжал. Дали ему новое здание под больницу, и возится он с переездом. Погода изумительная была все праздники — мороз, солнце, тишина, иней. Мрачное уж очень было твоё последнее письмо. Неужели так скверно? Должен был бы отдохнуть в Москве. Хотя, когда входишь в штопор, даже то, что должно бы облегчить, тоже отягощает. «Штопор», «полоса неудач» и т.д. Прямо терминология целая получается, за которую прячешься.

Всё последнее время мысли мои всё крутились по замкнутому кругу, как свинтившийся винт — в чём же всё-таки дело? И смутно, и не так уж смутно чувствовал я истину. Напишу тебе несколько цитат из Т. Манна.

«Всякий духовный отход и отчуждение от бюргерски общепризнанного, всякая самостоятельность мысли и отрицание традиций родственно мироощущению преступника».

Ну ладно. Осень вовсю. Равномерно серо. «Не поймёшь, где что, да и не надо понимать». Восхищает меня конец «Особняка». Вот с чем надо периодически соизмерять политику.

По-прежнему не пишется. Есть несколько сюжетов, но уж очень мрачны. Хочу написать что-нибудь бесспорное, но без фальши. Иль невозможно это?

Часто о Генке думаю, непроизвольно как-то. И после двухлетней разлуки начинаю его понимать. И не пишу. Отписываться неохота, а по-настоящему уж очень трудно.

Насчёт жизни семейной я тебе посоветую одно — не лезь из кожи вон, чтобы не показать жене свою слабость. Позволь ты ей себя любить. А как любить человека без слабостей? Это ж страшное дело. Что может быть ужаснее человека без слабостей? Тебя б на её место, чёрт подери! А если у тебя их нет, то ты притворяйся.

Слушай, а не завернул бы ты ко мне на денёк по пути домой? Крюк не так уж и велик. У командированных ведь всегда день-два лишних остаются. От Москвы на автобусе до Тросны (она за Орлом). А оттуда до Ж. 15 км. А потом из Курска на самолёте — 1 час. А?

Ну, пора и о боли своей головной и зубной вспомнить. Будь здоров, старик. Пиши. Сходи в музей им. Пушкина. Сезанн там, Ван-Гог и прочие. Расскажешь хоть. Убогий.

06.11.1966

Здравствуй, старик!

Много раз я хотел написать тебе письмо по сегодняшним мотивам, но в большинстве случаев вообще за это не взялся, а что и писал, всё было совершенно не то. Может быть, потому, что в наших отношениях была та грань, которую люди не переступают вообще никогда. «Все мы ходим голыми под нашим платьем». А голым являться на миру не принято, даже в творчестве, не говоря уже об общении с живыми людьми.

Чтобы это начало не оказалось той неприятной невыполненной заявкой на откровенность, которой стыдишься сам, а ещё больше собеседник, я постараюсь-таки сказать кое-что.

Чёрт его знает! Может, тонус и интерес человеческих отношений держится на том, что они не говорят друг другу, как юношеская влюблённость на желании и невозможности полового общения.

Ну да что рассусоливать. Чтоб было тебе понятней: помнишь, ты года три назад писал, что понял, насколько Хемингуэй достоин Нобелевской премии, когда прочитал у него, что самое трудное — писать о том, что чувствуешь на самом деле, а не о том, что полагается чувствовать. Так я думаю, что люди в действительности не чувствуют ничего. А если и да, то вещи совершенно неудобосказуемые. А подтекста у Хемингуэя просто нет. Нет, и всё. А если и есть, то горечь от сознания, что его нет, и быть не может. Постарайся понять. Ведь как определить эту горечь, печаль, скорбь и т.д. Ведь это не от того, что чего-то нет, а оттого, что ничего и быть не может. Так сказать, антипод пустоты, хоть логически это и нелепо. А художники не воссоздают, а создают мир предполагаемых обществом чувств.

Что такое в общепринятом понимании талант? Ну, какая-то редкая способность, так сказать, «плюс-ткань».

По-моему, это ущерб, отсутствующая и искусственно создаваемая способность эмоционального отклика на окружающее. Если бы это было не так, не могло бы существовать искусство. Как творцу его, так и потребителю, было бы естественней пережить всё в реальности. Словом, художник — самое нехудожественное существо на свете.

Ну ладно. В общем, не такое уж это жгучее откровение, как можно было подумать.

Думаю на днях взяться за писание без непременного условия сделать шедевр. Пусть он получится между делом, меня и это устроит.

Дотягиваешь срок? Тут осень в дубовых лесах. Очень осенняя осень, без обманов тепла и зимних угроз. Так, дождь, солнце, синева и тучи вперемешку. Писал днём, выпив водки 200 г и плотно пообедав (неловко было отказаться). Это я тебе почерк объясняю, надеюсь, что не мысли.

Ну, будь здоров. Пиши. Убогий.

1966 г.

Купил избранное Шекспира. Есть там сонеты в переводе Маршака. Почти всё о любви. Как будто и не похоже на него, но изумительно. О вечной любви. Очень я понимаю это. Любовь всегда несёт в себе вечность, если даже кончается через полгода катастрофой или просто так проходит. Ощущение вечности и счастья даёт только освобождение от тягостной ограниченности собственного «я», его отдача, растворение, выраженные вовне. По-моему, люди только и всегда стремятся к этому, но полно это возможно в трёх вариантах: в любви, творчестве и смерти. Впрочем, не совсем так. Творчество и любовь (в предельно высшем понимании) требуют такой степени самовыражения и самоотречения, что стремятся к аннигиляции — смерти. Да и не мудрствуя лукаво — высший накал жизни и должен тяготеть к своему антиподу — смерти. И в этом случае жизнь не погибает в смерти, а преодолевает её. Ну, творец в своём искусстве бессмертен — это ладно. Но настоящее искусство всегда говорило о бессмертии любви, если даже возлюбленные и отдали концы. И именно их любви, а не вообще. Это как будто нелепо, но очень понятно мне. Любовь побеждает смерть тем, что она включает смерть в себя как составной момент, и часто нужный и желанный. Ты не подумай, что мне так уж плохо, если я об этом пишу. Это — в рабочем порядке. Точки отсчёта ищу.

Дочитал Платонова и думаю, что он был страшно одинок и страшно несчастлив. А, может, это одни из критериев таланта? Ведь подумать только — «Мусорный ветер», «Джан». А «Город Градов»!

И как это могли не печатать 30 лет? Ведь вещи говорят сами за себя. Хотя истинное искусство неприемлемо для схемы. А фашизм и культ — это, помимо остального всего, и может больше всего схема. Дело даже не в идеях, которые «противоречат» и т.д. Даже толстовская сцена охоты в «Войне и мире» ложится в эту схему живым куском и рвёт её, а поэтому исторгается ею. Знаешь, как в 30-е годы официально характеризовали писателей?

Толстой — непротивленец, Мопассан — разложенец, Пушкин — не наш настроенец.

Помнишь, ты говорил о герое Кафки, который в пещеру залез? Есть, по-моему, в Платонове от этого что-то.

За сюжет тебе спасибо, но вряд ли я воспользуюсь. Надоело мне страсти-мордасти громоздить. Столько уж времени тянет написать что-нибудь такое простое, как огурец. Но трудно, про огурец.

Видел Генку пару раз, и что-то начинает кончаться. Да что там говорить о вещах, которые неизбежны. Хоть и горько это, да что ж поделаешь. Кончается затянувшаяся молодость.

Как Фрейд? Где ж ты взял его? Слушай, если можно, прислал бы ты его мне на пару дней, хоть один том. Сколько я знаю, ничего ещё не терялось. Вышли заказной или ценной бандеролью, а? Жаль упускать такой случай. На Железногорск. Сделай, если можно.

06.08.1966

Здравствуй, старик!

Спутались мы письмами. Получил я то письмо, в котором ты о женитьбе сообщаешь. Ответил, но ещё, видно, не пришло.

Ну это пустяки. Ещё раз поздравляю тебя и Томку. Желаю вам всего, что можно пожелать в таком случае.

А пожелать можно многого, как вы сами наверняка скоро поймёте. Поэтому я и не взялся перечислять. Кажется, большое письмо можно написать другу, который женится. Да ещё, если ты сам женат уже три года. Но чёрта с два. Думаю, что и в разговоре-то было б так.

— Вот так, старина, — сказал первый.

— Такие-то дела, старик, — сказал второй.

Потом они долго молчали и наконец заговорили о том, что есть брак с точки зрения религиозной. Было интересно.

Но ты уж поверь, старина, что факт этот принимаю очень близко к сердцу. Уступаю первенство только родителям и невесте. Хотя что невесте до того, что ты женишься. Она ведь и сама-то замуж выходит.

Всем на свете женихам я пожелал бы побольше сдержанности в семейной жизни. Кроме тебя. Тебе желаю немного распущенности, хоть и странно писать это слово. Научись ссориться с женой, это для тебя архиважно. Нет для тебя ничего лучше доброй, эмоциональной, доброкачественной ссоры. Это я тебе как человек, знакомый с психиатрией, говорю.

У меня всё то же. Как разношенный тарантас. Если в ближайшее время не сумею разорвать этот заколдованный круг, есть риск потерять самоуважение, а хуже этого ничего не может случиться. Штука чуть похуже смерти.

Есть теория, по которой смерть — результат самоотравления организма. Может, и духовная смерть тоже? Погрязаешь постепенно под всякими моральными шлаками, и крышка. А разгребать их со временем всё трудней. И всё меньше сил. Духовный опыт, не корригирующийся мировоззрением

и верой (какими угодно!), в конце концов погребает человека под собой и ведёт к утере всех моральных критериев.

Купил недавно 2-томник Хемингуэя. Почитал после долгого перерыва.

Боже мой, как он был, наверно, несчастен и одинок. Уверен я теперь, от хорошей жизни в писатели не идут. Никто и никогда.

А знаешь, кто, по-моему, самый несчастный и страдающий человек на свете? Писатель, ранняя книга которого имела успех, и который потом всю жизнь старается написать «не хуже». Ей-богу, это я серьёзно.

Ну ладно, поговорим скоро обо всём. Шансов приехать 7-го один на сотню. Ко всему остальному, Андрей вчера заболел и, похоже, надолго. Да, вот ещё что, как тебе будет удобнее, приехать сразу после 7-го или подождать, пока ты оботрёшься немного в новом положении и отойдёшь после всей суеты? Хотя всё равно письмо уж не дойдёт, как получится.

Генка, я думаю, приедет и, думаю, напьётся на свадьбе крепко.

Если не приеду, счастливой вам свадьбы. Только когда выпьешь, не запевай своей любимой: «Я встретил вас». Подумают, старая любовь. Будь здоров. У.

11.08.1966

Здравствуй, старина!

Всё собирался написать тебе, но вот забавная штука — отсутствие времени именно тогда, когда его девать некуда.

Кончаю я работу в 12, и впереди бесконечный летний день, пугающе бесконечный. Проходит он, оставляя единственное воспоминание — киоски с газированной водой. Бываю на речке, часов с пяти — читальня. Но в эту чёртову жару даже книги (хорошие) кажутся переливанием из пустого в порожнее.

Окружающее нивелировано и смазано. Нет ни зелени, ни голубизны, ни солнца, а нечто пыльно-липко-душное. Да что это я как в плохом рассказе. Сам знаешь эти прелести. Года три назад, нет, когда я в армию уезжал, ты сказал очень точно — утомительная роскошь лета. И купаться мне в этой «роскоши» аж до середины сентября.

Собирался поработать, да куда там! Не могу я это в читальнях. Надо ж походить, покурить всласть, подёргать себя за шерсть на голове и т.д. Никак, никак не дорвусь я до спокойной рабочей обстановки. И боюсь её — ведь придётся вкалывать, как негру, столько уж этого жду. Афоризм такой: «Есть два страшных несчастья — неисполнение заветной мечты и исполнение её». По-твоему, конечно, второй вариант не идёт ни в какое сравнение с первым. Ужасный ты, Юрка, человек! А вот анекдот, да такой по-серьёзному глубокий, что утонуть можно.

Волшебник предложил сов[етскому] рабочему (ну или кому хоть ещё) выполнить 3 желания.

1-е. «Пусть это озеро будет из водки».

Попробовал — «она».

2-е. (После долгого раздумья.)

«Пусть речка, что в озеро впадает, тоже будет из водки». Попробовал — «она».

3-е. (После ещё более долгого и мучительного раздумья.) Со злобой и растерянностью: «Да ну её на … Дай лучше на бутылку 3 рубля!»

Вот тебе и вся мудрость века: и телевидение, и отчуждение, и слова Мориака, и «ничто» Хемингуэя.

Цивилизация скрывает от человека все начала и все концы. В этом всё дело. Люди (в индивидуальном ощущении) заняты сизифовой работой. А если человек ещё не совсем мёртв, то основное жизненное усилие его негативное. Усилие не жить так, как все вокруг, заставляет его жить. Ведь это основной сюжетный и смысловой стержень всех западных вещей. Больше того, всё держится на отвращении к цивилизации, не только и не сколько в смысле эксплуатации, жизненных тягот и т.д., которая делает из человека бильярдный шар. И что смешно, никто не знает самих игроков на бильярде. А ещё смешнее нету их. Не могу, старик, на горожан смотреть. Замученные и испуганные все. Человек вовлечён в производственный процесс, не как хозяин его, а как составная часть. Без человека завод остановится, вроде как без угля. Мясо для пушек — мясо для индустрии. Всё. И покупатель тоже мертво затянут в цикл. Покупайте, иначе всё остановится. Покупать — гражданский долг. Логически, я детские мысли излагаю, но эмоционально это кошмар. Бернар, кажется, писал: «Покорив мир, человек потерял самого себя». Ну да что ломиться в открытую дверь.

Скучаю по жене, хоть и езжу каждую субботу. Жильё, думаю, будет к Новому году. Приезжай тогда на лыжах походить. Отпуск-то у тебя зимой?

Завтра думаю съездить в Тим. Генка приехал, хоть выпьем с ним, по крайней мере.

Пишу тебе в сквере, потому криво так. Знойные сумерки, голенастые смуглые женщины бродят. Суета, любовь, огни буфета со спиртным.

Пойду, пропущу стаканчик. Ну за твоё здоровье хоть.

Пиши. Да хоть каждый день пиши, право!

Покупаю сюжет. Любой. За приличную выпивку («приличная» не значит мало).

Ю.У.

1966 г.

Здравствуй, старина.

Только что получил твоё письмо. Хорошее письмо. Просторное. В столице, что ль, так разгулялся? Вчера выдернули мне зуб, щёку разнесло до размеров детского мячика (голубого с красным). Пытаюсь изо всех сил не дать голове развалиться на части. Пока удаётся.

Тебе не приходилось испытывать странное чувство душевного облегчения, когда заболеешь как следует? Будто дали тебе освобождение и от работы, и от семьи, и от хорошей погоды, в которую уж непременно надо погулять,

и от ненаписанного рассказа, и от мыслей о том, что будет с тобой через 10 лет, и от того, что умирать придётся, ото всего. Такое ощущение определённости. Кто чем занимается, а я болею и в том не виноват. Такое самоутверждение наизнанку.

Поразмыслил я над письмом твоим, очень всё это интересно. Здесь тот уровень, где с наибольшей лёгкостью возникают противоположные и взаимосвязующие суждения, и они уже ценны сами по себе, без степени приближения к истине. Да и что истина? Как спросил этот Пилат? Поиски истины — это, может быть, путь к двум взаимоисключающим противоположностям, состоящий в отметании всяких полу-суждений. Чувствуешь разницу между настоящей беседой и настоящим же спором. Спор — желание доказать нечто. Здесь односторонняя сухость и удовольствие в победе над собеседником. Смысл настоящей беседы — в ощущении диалектической полноты и противоречивости бытия и собственной мысли.

Это всё я нагородил к тому, что мог бы кое-что добавить к написанному тобой, а истина где бог весть. Скажу одно: нащупываем мы в последнее время какие-то основные стержни, и боюсь, что может вскрыться что-то очень беспощадно-жестокое, после чего останется только вновь создавать разрушенную простую человечность, теплоту, жизнь…

Я тебе писал в последнем письме о «Там, где чисто, светло» Хэма. Это долго объяснять, но настоящий художник, по-моему, должен чувствовать не сколько текущую рядом вечность, но — ничто. Отсутствие эмоционального мира, кроме эмоций грубо животных. Тогда его личный фундамент непоколебим. И он действительно творит в своих вещах, создаёт ненависть, человечность, дружбу, любовь… Тогда он действительно нужен не как развлекатель, а как хранитель и создатель огня человечности, всего эмоционального мира. И, созидая этот мир, он борется против эмоционального нуля человечности — фашизма. В себе, в соседе, в соотечественнике, в ФРГ.

Пойми, духовный мир создан. И люди искусства как весталки. Иначе мир превратится в комфортабельный зверинец. Я очень представляю возможные контраргументы, жестокие, как удар кулаком. Но всё дело-то в том, что я не стал бы общаться с во много умнейшей человека машиной, а пишу письма белобрысому и очень нескладному, что очень трудно заметить (нескладность) парню, разве жене, которому нелегко даётся просто жизнь. В этом всё дело.

Героизм недолюбливаю. В нём всегда есть привкус догмы. И некоторая духовная слабость и узость. Героев, в официальном понятии, равно может родить и коммунизм, и фашизм. Верность долгу до конца — вот и герой. Боже мой, какое узколобое солдафонство.

Читаешь про Китай? Ну был у нас культ, так хоть под кое-каким соусом. А тут ведь косноязычная детская истерия. Прав был Чапаев: ум хорошо, два — хуже. Если и есть какая-то коллективная мудрость, но нет конца коллективной глупости.

Выпить как следует всё никак не соберусь. Есть здесь «Гамза» в стеклянных кувшинах по 2 литра, заманчивая порция. Вот приедешь ужо…

Ну что ещё? Дайте мне другое перо. Мозги в пыли. Пыльный мозг. Хорошее сочетание.

Катаешь дочь в коляске? Не любишь этого дела, но шагаешь чинно. Пиши и приезжай. И отпрашивайся на возможно более долгий срок у жены, не пожалеешь. С ней-то тебе жить до самой смерти. Это ж подумать только. Пока. У.

28.09.1966

Здравствуй, старина!

Воскресенье. Бродил сегодня целый день с женой по лесам и полям. Картошку пекли. Осенняя печаль и красота. Бунин это написал.

Вот так вот начинаешь письмо. И можно написать и про то, и про это, но ведь дело-то не в том. Дело в том, что «хорошо, когда рядом мой друг».

Помнишь, как начинали наше ресторанное пьянство?

Одиноко, старик. Чёрт его знает, слова не с кем сказать. А хуже всего то, что так можно и забыть, что есть человеческое общение.

Не пишется. Приехав из Курска, просидел я за столом неделю, по 5–6 часов в день и написал страницу ерунды. Да и то, наверно, потому, что заглядывает изредка жена в мой пенал, и совестно перед чистой страницей сидеть.

Отвращение к каждой написанной фразе. Напряжённость. Гайки затянулись. Кураж потерял, как циркачи говорят. И острое понимание незначительности и ненужности не только того, что получается, но и того, что предполагается в идеале. Да что там о своём бумагомарании говорить, читать книжки неинтересно. Кажется мне, что все искренние писатели (в бога не верящие) могли бы подписаться под «Там, где чисто, светло» как под манифестом, ей-богу.

«Ничто» в этом рассказе, по-моему, не смерть, не бездна, не мрак, не существующая за тонким барьером моральных и эмоциональных оценок жуткая хлябь безразличия, безграничия, область, где всё равно всему, как в мире элементарных частиц.

Вышла сейчас книга Олеши «Ни дня без строчки». Хоть и говорили мы, что скверно ему пришлось, но я никогда не мог представить, что в такой степени. Хуже не бывает, быть не может. Её можно почитывать долго, по странице в день. Если не боишься отбить у себя всякую охоту к сочинительству, купи. В сущности, книжка совершенно уникальная, и стоит она вся на костях, крови и муках Ю. Олеши. И ведь талант у него был, и в высшей степени оригинальный. Но какой-то патологически требовательный к самому себе, до самоуничтожения.

Что до моих рассуждений о любви, о смерти, кое-что, я, видно, плохо изложил, кое-что ты не совсем понял. Ну да бог с ними. Самая лучшая рыба — колбаса. Есть такая дурацкая шуточка.

Умаялся небось в Москве? Хорошо ещё, что осень. А вообще, тяготишься командировками?

Начинал я письмо с чувством извозчика в чеховской «Тоске», поплакаться хотел, а не вышло. Ну ты хоть между строк постарайся разглядеть.

Целая гора, семь восьмых айсберга. Вот этот чистый кусок страницы, тут, считай, горючие невыплаканные слёзы мои. Можно бы и ещё листик приложить. Пиши, старик. У.

12.11.1966

Здравствуй, старина!

Снег у нас. «Первый снег, первый зазимок… В этом было что — то волнующее и знакомое. И с новой силой почувствовал Аверкий — сладка жизнь!»

Помнишь, из «Худой травы»? Хочется Бунина почитать. (Само собой, не намёк.)

Художественный стоицизм и обречённость. Не последняя ли это соломинка? Скверно, брат. Жуткие какие-то мысли меня одолевают. И написать-то их почти нельзя. Что-нибудь вроде — жизнь есть онанизм материи. Это ведь и до положения пациента в оном заведении достукаться можно. Как ты думаешь?

Писать не могу. Проклятая привычка снимать сливки с проблемы. Ведь это паралич. Проклятая привычка искать не ответ, а возможность уйти от ответа. Проклятая гибкость мысли. Проклятая — да все они проклятые, в три господа через семь гробов.

Спекулятивность мышления, научно говоря. И какое-то скучное напряжение, как булыжник в груди. Свобода ведёт к самоистреблению.

А на другом полюсе — сон работы, исполненного долга (перед кем и чем угодно), в сущности, сладкое рабство самоотречения.

Прочитал у Сартра: «Повелевать, в сущности, то же, что и подчиняться». Изумительно! А «страшись попасть в руки бога живаго», это, по Фрейду, всего-навсего комплекс вины, или в просторечии — «совесть заест».

Ну ладно, глядишь уморюсь я этой дурью мучиться, что и спасёт.

Все праздники проболел. Ухо воспалилось, чуть не подох. До сих пор им не слышу. «Глух на одно ухо» — благородно звучит, как-то даже уверенней себя чувствуешь.

Привыкаю к сыну. Избаловали его бабки, актёрствует, сопляк, с утра до вечера. Жду снега, встряхнуться надо как следует, на лыжах походить.

Как Манн? «Смерть в Венеции» непременно осиль. Может скучно показаться, но потом поймёшь. Как Воронеж? Забыл я его совсем. Кончилась молодость. Зачем же она была? Так вот в старости подумаешь и о жизни. Ладно там, хорошо или плохо, но зачем?

Зачем она так прекрасна? (восклицание влюблённого эпохи возрождения). Вопрос риторический. А ведь каждый вопрос риторический перед лицом жизни, ей-богу. Напиши мне, старик, что-нибудь про мокрые тротуары Ф. Энгельса вечером. Каблук стучит, и поднят воротник, и руки в карманах.

Пиши. Убогий.

24.01.1967

Здравствуй, старина!

«Покой нам только снится». Опять переехал я. Не смейся и не крути головой. Уехать, может, всем хочется, но уезжаю только я. А что толку?

Значит так: Обл[астная] псих[иатрическая] б-ца, 15 км от Калуги, берег Оки, лес, двухкомнатная квартира с так называемыми удобствами. Работаем оба психиатрами. Деньги. Дальше хуже. С харчами плохо, детсада нет. Мотивы переезда? С психиатрией в Железногорске дело не выгорело, с квартирой тоже. Да и рентген для молодого мужчины с порочными наклонностями тоже не дело. Вот так. Жена психов боится. Пишу в пустой комнате, на животе, на полу лёжа. Хотя стулья есть.

Ну ладно. Пиши, старик, почаще и побольше. Как ты там? Отцом не стал?

Будь здоров. Пиши. Ю. У.

03.02.1967

Здравствуй, старина!

Всегдашняя это моя мука — начинать письмо. Минут уж 20 размышляю в дыму. Дело-то не столько в том, чтобы написать письмо умное или интересное. И для адресата, и для себя. Дело в том, чтобы написать письмо откровенное. И прежде всего откровенное для себя самого. Иначе переписка теряет смысл и превращается в «отписывание» ответа.

И основная ценность и прочность нашей переписки, и некоторый недостаток её в том, что она имеет оттенок дневника для каждого из нас. А дневник не ведут для того, чтобы записывать в него каждый день хоть что-нибудь.

Как я сейчас? А попал я в психиатрию, как в перчатку рука. Всё хорошо, всё в пору, нигде не жмёт. И поэтому страшно и совестно, и немного брезгливо как-то. Похоже на то, когда днём ложишься в постель под одеяло просто полежать. Я, правда, не пробовал, но представляю. Можно на работе и в рабочем порядке обсуждать вопросы, которых мы касались за бутылкой «Гамзы». Жутко, брат.

Я всегда боялся стереотипа. Стереотип — это физиологический термин, вроде привычки, но сложнее. Стереотип ведёт к исчезновению, незамечанию своей собственной жизни. Например, если и можно вспомнить, что было третьего дня, то только потому, что всё было «как всегда». Небытие проникает, пронизывает, поглощает бытие. Смерть этакая при жизни. Понимаешь?

Ведь люди активно создают в жизни элементы небытия: стремлением к однообразию, стремлением быстрее удовлетворить желание. А это убивает жизненный потенциал, стремление застраховаться от неожиданностей и т.д. Словом, жить так, чтобы как бы и не жить. Боюсь я этой штуки. «Сладок сон работающего», вот чего боюсь. И это не умозрительно. Давно уже, с института, время, проведённое в увлечении каким-нибудь делом, казалось мне выпавшим из жизни, пустым пятном. А теперь у меня все карты на руках. Занимаясь с интересом психиатрией, можно превратить и всю жизнь в белое

пятно. И сладок будет этот сон. А что противоположность «сну»? Жизнь духа? Но в чистом выражении это не талант, не писание книг и не открытие законов природы. Это, может быть, Гегель, Магомет, Толстой и Бунин последних лет жизни, по их мироощущению, насколько я его представляю.

Какой это огненно-холодный, бесчеловечный, эгоистичный героизм. Ну да ладно. Нам это не грозит, и слава богу. Так что, старина, заснуть мне «вечным сладким сном»? Только ты уж не пиши мудро, пусть будет, как будет. Это я, брат, и сам знаю.

Скоро весна. Помнишь, бродили по апрельскому Воронежу? Звон весны и осени шорох. Тысяча чертей! Ведь что хорошо в любви? Что ты как будто не знаешь то, что знаешь. Любовное оглупление. Игра, свежесть, «лёгкая плоть», как говорил Блок. Игра, игра... Только то хорошо в жизни, что игра. Только это...

Помнишь, как я поленьями швырял в чёрного человека в коридоре у графини? Намедни Шуранова приснилась. Из всех моих женщин вспоминается только она. Кошмарная, чем и хороша. Ты не подумай. Так, молодость жаль.

Хорошо было пить в начале мая. И выходить в плаще, а потом просто в костюме. И весенние женщины на проспекте, и толкотня в дежурном гастрономе, и холодные бутылки в карманах или руках. И напряжение до дрожи, и притворство, что скучно. А просто жаль, что та крайняя не твоя. И плечи под ладонями, а она думает, не обниматься же сразу, как пришли, и чуть отступает к стене. И волосы на губах, и звон улиц под каблуком на рассвете, и пустая голова, и виснешь на поручне в пустом трамвае. И чувство, что так будет и завтра, и всегда...

Ну что я, Юрка, пропустил? И купанье под вечер, и свиданье в 10, и трёшка в кармане на вино. И одеваешь белую рубашку, и кожу жжёт...

Остальное в другом письме. Пиши, старина. У.

10.02.1967

Здравствуй, старина!

Поздравляем вас с рождением дочери. Велика ли девка? Как семейства здоровье? Плохо, что такие вопросы приходится задавать.

Платонов, спора нет, отличный писатель. Но ведь и дети у нас далеко не каждый год рождаются. Мог бы написать побольше о том. А так же «американку» жене проспорил, думал сына родит. Жду вот теперь, чего ей надо.

Стал ты отец и гражданин. Социальный комплекс полноценности. С богом, старик!

Дочери не бойся, поладите со временем.

Живу я теперь хорошо. Впервые почувствовал, что такое без отвращения идти на работу по утрам. Это как пробуждение от кошмарного сна, когда даже не верится, что проснулся. Так было скверно.

Врачи тут в большинстве не старше 30 лет. Возможно кое-какое общение. Уже 2 раза пили вино вместе. Танцуют они при этом некий танец вприпрыжку, словно бы дети. И заставляют петь песни с гитарой, через одного.

Я спасовал в обоих вариантах, хотя они говорят, что «ерунда, стоит только попробовать».

Пьют мало, всё больше веселятся. Я себя чувствовал, как проспиртованный алкаш с уголовным прошлым.

Говорят, что так будет всегда, 1–2 раза в месяц, под названием «Огонёк».

Без шуток, я доволен. Может, привыкну. Ведь институтское наше, и моё армейское питие теперь исключаются. А сосать в одиночестве сухое вино по субботам тоже геморроидально.

Хожу на лыжах после работы. Прямо от крыльца в лес, к Оке.

Жизнь духовная? Очаровательно поглупел. Или так только о женщинах говорят?

Новая работа, люди, место. На всё это уходят силы. Да и психиатрию надо познавать.

С 8 до 12 читаю. Мусолю рассказик один слегка, без нажима. Тема хороша, но чувствую, что написать его можно только на подъёме, а не спустя рукава. А для «подъёма» нужно снова почувствовать себя страдающим и несчастливым, а для этого… и т.д.

Похоже, что годика на два, три сведу я здесь свои счёты с литературой. Подходящая тут для этого обстановка. Главное, не пыжиться, и без надрыва.

Как там Бунин мой? Выкупаешь?

Купил 10 томов Томаса Манна. И тебе советую, если попадётся.

Например: «Мы, одинокие, мы, уединённые мечтатели и обездоленные жизнью, что влачим свои дни в искусственной и ледяной замкнутости и обособленности, мы, от которых веет холодом отчуждения. Стоит нам показать своё отмеченное клеймом познание и малодушие чело среди живых … которых спешат поскорее опять предоставить самим себе, чтобы своим гнетущим и знающим взглядом мы не нарушили общего веселья… Все мы таим в себе щемящую тоску по простодушным, обыкновенным, живым. Жизнь, из которой мы исключены, манит нас не идеями величия и дикой красоты. Нет, мы тоскуем по царству обыденного, добропорядочного и пошлого, по жизни во всей её соблазнительной заурядности».

Ей-богу, не знаю писателя, который бы заинтересовал меня больше. Не скажу, что люблю Манна, но его надо читать, чтобы не пугаться собственных аналогичных размышлений.

Ну ладно. Пиши, старина.

Знаешь песню: «Я теперь слишком старый твой друг, чтоб привычке своей изменить»? Будь здоров. У.

05.04.1967

Здравствуй, старина!

Снова переехал я, не дождавшись-таки твоего письма. Наверно, думаешь, ну, разумеется, переехал, может он, разве иначе. Командоры по курсу!

Значит так: была совершена следующая сделка с областным начальством: мы едем на 3, в крайнем случае, 4 месяца в один из городишек области

и открываем, организуем там психоневрологический диспансер. Позарез им это было нужно. Два дня уговаривали. Квартира в Ахлебинино и возможность вернуться остаются за нами.

За этот подвиг или, как они выражаются, «гибкость» нам весной 68-го года дают квартиру в Калуге (строится дом) и берут на работу в городскую больницу психиатрами. Согласился из-за жены, уж очень она себя обделённой чувствует, живя в деревне. Ну и для Андрея детсад.

На днях переехали. Опять же, квартиру дали 2-х комнатную, само собой. Вот чудеса, третью квартиру получаю за три года. Это в наше-то время. Наверно, за «гибкость». Ох, и обрыдла ж мне эта цыганщина! Вот вернусь в Ахлебинино и доживу там свой век. Никуда не поеду.

Диспансер как-то пока всё не организуется по причине ненужности никому, включая меня. Насчёт твоего приезда, разумеется, не меняется ничего. Какая разница? Спать будешь на кресле-кровати, специально привёз.

Думаю, что здесь смогу взять несколько дней без содержания. И поедем мы с тобой в Ахлебинино, поживём в моих меблированных комнатах недельку, с креслами, холодильником и сухим вином.

Кончаю письмо, употребив 2 ст[акана] рислинга, и с бутылкой полной на столе. Жена на дежурстве, погода — мразь, сумерки. Комплекс полноценности, как мы говорили когда-то насчёт похмелья, последующей беготни, бани, пива. Давняя у меня привычка, размышляя в одиночестве и под хмельком, вроде бы говорить тебе что-то «в уме». Так и тянет написать откровенно обычную в таких случаях фразу: скверно, старик. Вот и написал. Принципиально скверно. Негодным я себя чувствую для этой пресловутой, так называемой «жизненной борьбы». Работаешь всё время каким-то вторичным, искусственно созданным уровнем личности. И надрывная усталость от того.

Ну чего бы хотелось в самой глубине. Помню, как-то из армии, в снегопад, писал я тебе путано. А на днях прочитал стишок (японский, конечно), как будто так:

— Всё в лунном серебре. О, если б вновь родится сосною на горе…

Да, только это. Всё. Остальное не выдерживает критики. Точнее, во всём остальном нечистый, подглядывающий элемент самосознания.

А сколько фиглярства в творчестве? Вот и кончают до конца честные художники самоубийством, юродством или безумием. Чёрт его знает, старик. То, что делает тебя человеком, как раз и мешает жить, на плаву держаться.

Сидел я, сидел, пришли соседи, робко так, лекарства у соседа-доктора попросить. А откуда у меня лекарства, если я не верю в них? Не то что не верю, а не люблю и не держу.

Музыка сейчас из репродуктора, серьёзная. Есть у Томаса Манна (опять Т. Манн) роман, «Доктор Фаустус». Страшное дело! Так там, что напрасно бог дал людям музыку. Ибо композитор творит в полном смысле мир, а это божественная прерогатива.

Шёл я сегодня, нёс вино из центра города. Танцплощадка на пути, сосны вокруг, женщины божьими ножками шевелят, торопятся туда. Неужели никогда мне не будет больше 10 лет, и «Робинзона Крузо», и её глаз, когда

не знаешь, как там дальше бывает. И всё, как пропасть. И выпускного вечера, и вечера, когда институт кончил. И даже вот так пойти на танцы и потанцевать там. Ведь и этого не будет! Никогда, хоть и можно хоть сейчас.

Сельвинский (поэт такой) придумал-де, могут же так соединиться атомы вновь, что вновь получусь я. Ведь нельзя же это принципиально отрицать в бесконечности времени. Никак меня и это не утешает, всё равно это буду не я, потому что не будет ни Тима, ни Воронежа, ни Ирки, ни той выпивки, ни того вечера, ни Генки, ни тебя. А если всё повторится, то это уж хамство. Даже противно как-то.

Ну ладно, старик. Я думаю, что ты понимаешь всё, что я и не написал в этом письме. Должон. Придумай, пожалуйста. Приезжай и приезжай. Напиши побыстрей, чтобы я знал, что ты «в курсе». Будь здоров. У.

02.09.1967

Здравствуй, старик!

Так вот, о «серьёзной» жизни, об игре, о моей «стабилизации».

Есть у Толстого интересная мысль. Что-де, любить женщину и заниматься одновременно делом невозможно. Любовь тогда как груз, который несёшь в руках. Нужно освободить руки, увязав груз за спину. А это — женитьба.

Так, по-моему, и вопрос жизни нужно увязать в пакет мировоззрения, понимая его очень широко: от коммунистических идеалов, соломоновой суеты сует до «много будешь знать, скоро состаришься».

И освободятся руки. Для чего? А для «игры». Какой угодно серьёзной. Луначарский писал про Ленина: «Я с ним работал, играя». Нужно избавить себя от безнадёжного, парализующего стремления «однажды понять». В этом есть подспудное желание покоя, бессрочного, но честно заработанного отпуска, может быть, смерти. Тогда будешь иметь право на то, «чтобы тебя оставили в покое». Помнишь, говорил: «Делить жизнь на «игру» и «серьёзное» нельзя». Ею, игрой, должно быть всё, а это возможно при наличии относительно абсолютного для тебя мировоззрения.

Человек жаждет «догмы» как духовной смерти. Возможно, это один из истоков фашизма. Абсолютная догма убивает жизнь, цементируя её. Полное отсутствие догматизма делает её бесформенной и безбрежной и потому невозможной. Пожертвуй, старик, частицей своей духовной гордости и сколоти себе маленькую удобную догму, и гуляй на воле.

А моя стабилизация? Моя «легенда». Мир — театр, люди — актёры... Все мы вышли из таблицы Менделеева и проч. И, с другой стороны, человечность, ответственность. «Предавая, предаёшь прежде всего себя самого». Зыбковато, конечно.

Перечитал я написанное, и что-то сволочизмом как будто попахивает. Чёрт его знает, почему. Блудливость ума...

Пишется туго, постоянное чувство, будто и близок локоть... Очень нужно поработать как следует, иначе в лужу превратится жизнь.

Перед сном минут по 15 читаю Хэма. Мог, покойник. Вряд ли на «заре туманной юности» мы его понимали. Пиши, старик.

«…стать деревом. Кое-что я уже умею. Смотреть на облака. Молчать». Где-то прочитал. У.

20.09.1967

Здравствуй, старик!

Получил вчера телеграмму от Генки: «Поздравляю. Не исключён более тесный контакт». Письмо, что ли, он намерен мне написать? Не пишет, каналья, даже о женитьбе не сообщил. Как это понимать? Тебе-то не писал?

27 годиков мне. Много. И не думается как-то, что вот-де срок. Искусственное членение. Индейцы говорят: «Завтра, это всё равно, что сегодня».

Осень, брат, чудесная. Холод, блеск, воздух как проточная вода под солнцем. Купаюсь по утрам в огненно-холодных водах. И солнце за рваным занавесом тумана.

Чувствую, что жизнь можно прожить до ужаса незаметно. И просматривается она вся из конца в конец.

В газетах стали какие-то жуткие вещи писать. Человек-де не человек, а гомо сапиенс как часть системы «Человек». Весёленькое дело! И ещё: человек есть результат переданного на землю информационного штампа. Зябко становится проживать — уж очень все стали умны. То ли дело старый, добрый Саваоф. Да, посмотрел этого «Фантомаса». И не очень скучал. Поджидает человечество духовный инфантилизм. А «Снега Килиманджаро»? Ведь, задавшись целью, так Хэма не оплевать. Самоучитель по отстрелу львов! Ирка говорит (ведь с образованием и не дура): «А что, хорошее кино». Вот именно. Как про фашизм сказал Миллер: «Самое страшное в том, что они тоже люди».

Думал как-то про Лорку. Именно его и должны были угробить в самую первую очередь. Он не боролся против фашизма, он органически, всем своим существованием отрицал его на сто процентов. Даже такой гигант, как Маяковский, был бы для них безопасней. Ведь можно его представить в теперешнем Китае сторонником Мао. Ну и дальнейшие аналогии. Эзра Паунд (что Хэм писал) ведь святой был почти, а стал фашистом. Лорку же можно было только убить.

«Не моли её о молчанье» и «Неустанно гитара плачет».

Плач исключает фашизм сам по себе. И любовь тоже.

По-моему, суть фашизма в отрицании ценности отдельной личности. Как будто просто, но последствия этого неисчислимы. И в конечном счёте противостоит ему признание этой ценности и право быть ею. Подумай.

Был в Ясной Поляне (не писал тебе?). Очень это нужно. Может, вдвоём как-нибудь съездим? И в Михайловское. Решительно в отпуск зимой идёшь? Мы привозим Андрея через месяц и будем с ним по очереди здесь во время отпусков. Моя порция — январь, февраль. Приезжай на лыжах походить и насчёт кофея по-шотландски. Забыл я методу. Пиши, как живёшь.

Стареешь потихоньку, я думаю. «Жизнь — обман с чарующей тоскою». Которая потом сменяется просто тоской.

В Калуге Женька Колесников живёт (что на трубе играл). Вряд ли ты его помнишь, но выпили мы с ним как-то очень крепко. До мелкого волшебства. Совсем, как когда-то.

Ну, будь здоров. Убогий

1967 г.

Здравствуй, старик!

Всё собирался написать тебе и всё никак не мог.

Безвременье какое-то у меня внутри, сам себе надоел. Не думается, не пишется. Да и что думать? Кому эти мысли скажешь без риска вызвать лёгкое подозрение в психической ненормальности. На молодость ведь теперь не спишется, потому не молод. А не будь возможности написать тебе, да не иметь Фолкнера с Достоевским в углу, и сам себя серьёзно сочтёшь ненормальным. А с другой стороны, потёмки здравого смысла, коллективное сумасшествие, когда все одинаковы и поэтому друг за другом не замечают.

Написал наконец Генка. Женился, мол, я, и всё. Конечно, рассусоливать тут нечего, но как-то жутковато мне стало. Вроде неизбежно это и естественно, как смерть, например. И потому не подлежит обсуждению. Своей отчаянной независимостью он прямо-таки страшен. Не унижается до конкурентной борьбы в чём бы то ни было.

Был как-то в воскресенье Колесников с женой у нас в гостях. Ох, фальчь... Нам с ним выпить как следует охота, а жёны этого-то и боятся. Инквизиция. Я уж и не верю, что пьянствовал когда-то. Хочется иногда хлебнуть по ноздри, а то пыльный весь какой-то, серый, упорядоченный. Муравьишко-семьянин. Это тебе не пыль странствий, а на зеркале пыль, и пахнет она мышами.

Как-то прочитал дневниковую запись Блока про Менделеева: «У моего тестя всё яснее видно равнодушие государственного человека».

И стих его: «Неужели и жизнь отшумела? Отшумела, как платье твоё».

Не дотяну я, видно, до конца страницы. Оскудел. Не обессудь, старик. Пиши, пожалуйста, что-нибудь повеселее.

Рвите ценный конский хвост...

Говорят, на 7-е водку будут на площадях и перекрёстках за так из бочек наливать. Не слыхал? У.

08.06.1967

Здравствуй, старина!

Пытаюсь на дежурстве написать тебе, но в голове лень и запустение. К чёрному кофе, что ль, привык? Думается мне в основном в начале 1-го, после 2-х стаканов и десятка сигарет. Вот тогда в мыслях какой-то разнузданный галоп.

Позавчера кончил рассказ. Чёрт его знает, недостаёт во мне какого-то винтика, может, даже и маленького совсем. Так бы и стукнул себя кулаком по голове, как по испорченному будильнику. А может, лишний, даже скорей и всего. Он-то и тормозит. Нужна или безоглядность, или флоберовская узда. А в общем, как получится.

Так думаешь, идеалист я? Ну это вряд ли. По-моему, не совсем ты понял меня. Потолкуем как-нибудь. На майские праздники поедем домой и на обратном пути я, наверное, заеду в Воронеж. Скорей всего — 5-го. Есть сведения, что в Орловке можно устроиться, и даже квартира предполагается. Докторица тут одна говорила. Я бы и здесь поработал пока во благе, но ясли, чёрт их дери. Парня-то некуда девать. Надо бабку-домоседку нанимать, а они и тут нарасхват, да и радость невелика. Попробую, хотя вряд ли что получится, в Орловку заглянуть. На переезды я ведь уже от фонаря смотрю, привык.

Ты, наверно, и не понимаешь, какого кошмара избежал с этими квартирами, яслями, бабками…

Ну, ладно, не выйдет, перемелется как-нибудь. Вообще-то, мне здесь пока хорошо, без всяких натяжек.

Читаю перед сном Анатоля Франса — «Сад Эпикура», 3-й том. Мудр и спокоен он был в старости, прямо до чувства брезгливости. Но умен, сволочь. Заражаюсь нигилизмом. Да подумай, никакая точка зрения, никакая теория не выражают степень приближения к истине, ибо: что есть истина? А просто силу и остроту мысли создателя. Всё интересно ровно настолько, насколько это интересно. И всё. Ты говоришь, идеалист. Да все великие художники не только чувствуют «ничто», они прорываются в «ничто». И Толстой, и Бунин, и Стейнбек, и Фолкнер.

— Молчите, проклятые книги,
Я вас не писал никогда.

Блок это.

А потом или бога себе заводят, или шарахаются обратно. Это и называется, «вернуться к самому себе, или пробиться к людям», или «человек один не стоит ни черта» и т.д.

«Ничто» — это фон творчества, антипод жизни, придающий ей силу и прелесть. Помнишь:

Ледяная ночь, мистраль, он ещё не стих.
Вижу в окнах блеск и даль гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет до постели лёг.
Никого в подлунной нет, только я да Бог.
Только знает Он мою мёртвую печаль.
Я её от всех таю. Полночь, блеск, мистраль.

А кто любил жизнь больше Бунина? Ладно, вот разопьём скоро винца, одну-другую бутылку, покурим. Ты там ещё не совсем, как прикованный Прометей?

Весна тлеет вроде мокрой головешки. Туманные утра, лягушачий дождик ввечеру. Ока пухнет понемногу, жду обещанного разлива, хожу смотреть каждый день. Лёд уже сошёл.

От города отвык как-то, хоть почти каждую неделю езжу в Калугу. Вот только весенних девчонок, очень принаряженных и моложавых, и многочисленных и повсеместных, жалко.

Старый французский поэт сказал как-то за бутылкой (сначала он обиделся, что целуются прямо на улицах, не стесняясь, а потом передумал):

— Дорогие мои влюблённые, без вас мир был бы ужасен.

Очень я это понимаю, хоть и не старый, и не француз, и не поэт. Будь здоров, старик. Пиши обязательно. У. Ю.

06.07.1968

Здравствуй, старина!

Тяжко летом жить. Удивляюсь, как в жарких странах цивилизацию создавали — ведь не до того. Серое и незначительное всё вокруг — и вещи, и книги, и мысли.

Выходные проводим в байдарке и усталость поутру в понедельник — каторжная.

Писание моё в основном сводится к бесплодным попыткам думать — только что пальцами в мозгах не ковыряюсь. Дела неважные. Чувствую, что попал я в заезженную, набитую колею, а выбраться из неё как? Против — вся масса прочитанных и усвоенных книг. Реально скатиться до более или менее удачной симуляции творчества. Помню, говорил ты из Хэма: главное — написать, что чувствуешь, а не то, что полагается чувствовать. Да, но ведь культура — культивировать и искусство — искусственно. Это созданная человечеством сфера. За ней — животность, мистика, ничто.

Где ты Ницше достал? Прочитай как следует, расскажешь. Чудеса, Экзюпери писал: «Я обожаю этого человека». Может, он и вправду был ничего? Есть у меня о нём смутное и неизвестно откуда взявшееся представление. Думаю, что он против пошлости воевал. На высшем, так сказать, уровне. А? Может, пришлёшь мне на недельку?

Процесс твоей «стабилизации» я бы тебе не советовал форсировать. Всё придёт, что должно.

Ницше сказал: «Художник должен приниматься за своё произведение с таким чувством, с каким преступник совершает злодеяние».

«Основной элемент богемного мироощущения человека искусства — нечистая совесть». Т. Манн.

Мне не хочется объяснять и комментировать всё это. Уверен, что ты это поймёшь. Это, по-моему, один из самых глубоких вопросов в творчестве и жизни вообще. На уровне религии, фрейдизма и т.д.

Может быть, это чувство вины не только перед обществом, но перед жизнью за то, что творец дерзает вырваться из плена общества и жизни путём осознания её. А мы с тобой (и сколько ещё таких) в самом пиковом

положении. Мы едим один дёготь творчества (чувство преступности и вины) и, так как дело идёт туго и не имеет официального признания, не имеем даже той крохотной ложки мёда. Да и вообще, тонус общества держится на чувстве вины перед кумирами и символами (Бог, коммунизм, Сталин, Гитлер), а тонус искусства — на чувстве вины перед обществом (перед той тёткой Марьей, которая просто вкалывает до седьмого пота). А путь больших художников, может быть, бесконечные попытки прорваться к мещанству (личному). Есть ли принципиальная разница между Буддой, мещанином и смертью? Ведь все это растворение в быту, в духе, в земле с червями.

Забыл — любовь тоже в этот ряд. Главное для личности, осознающей себя, — избыть себя. Кто-то сказал: «Книги великих писателей — отчёт об их работе над своей титанической личностью». Я бы сказал — попытки опустошить и уничтожить свою личность.

Вспомни третий закон термодинамики. Почему в психике этому не быть.

Не думай, что это стихийный наплыв парадоксов. Для меня всё это витало в воздухе уже долго. Не думай, что это для меня субъективно — усугубление пессимизма. Ни в коем случае. Я полубессознательно всё время ищу тот нуль, от которого можно вести расчёты. И даже не «нуль», а тот фундамент изначального, на котором можно строить жизнь. И ценить жизнь. Тот фундамент, стоя на котором можно сказать, что «нет в жизни ничего страшного». Знаешь, в чём гениальная черта «Войны и мира»? В том, что там нет отрицательных героев. Ну, разумеется, и положительных тоже.

Как Воронеж? Видишь ты хоть его? На ком Витька женился? Не на той девчонке, что на свадьбе твоей была? Ну бывай, старина. Не помню точно дня рождения твоего. 17? Так и телеграмму пришлю. Пиши. Убогий.

10.07.1967

Здравствуй, старина!

Посетовал я в прошлом письме на жару — и сглазил. Такая мерзость вторую неделю: холодно, ветрено, неустойчиво, беспокойно, ядовито. Даже купаться по утрам не решаюсь — сизые волны, мусор по берегам.

Чертовски что-то работать трудно летом. Все в отпуск разъезжаются, больные так и норовят в бега податься, пристают, выписки требуют, в голове чугунный звон, хвостики мыслей.

Хорошо Гоголь лето описывал. Нега, хохлацкая лень, дыни, ярмарки. О дураках и лентяях нежно он писал, с завистью. А летом лень и глупость как-то к месту. Всё удивляюсь, как египтяне создавали свою цивилизацию в 30-градусную жару.

Ерунду я какую-то горожу как будто. Ну лето и лето, о чём говорить.

«Вещи» читал. Не сказал бы. Ворох слов, в нём и барахтаешься.

Насчёт плана твоего — не выгорит дело. На всю больницу в июне остаётся шесть врачей, и даже на день-то не вырвешься. Да и вряд ли это имело бы смысл. Нагуляешься и так вволю. Воскресенья да два дня в неделю

я кончаю в половине второго. Если мало, можешь после нашего ухода на работу шагать по розе ветров, как у Генки.

Ты напиши, как соберёшься ехать, вышлю инструкции, начиная с Воронежа.

Только что прочитал в «Лит[ературной] России» письма Пушкина Керн. Вот свобода гения. Писал себе про ножки, ручки, губы, нежность … Да все так чувствуют, а слабо не то что написать, но и себе иногда признаться. Я могу себе представить, да и были, конечно, поэты с большим творческим потенциалом, чем у Пушкина. Но гений — это свобода и гармония. Это уверенность, что никто до тебя на свете не жил, не любил, не думал, не писал, во всяком случае тебе до этого мало дела. Да, вспомнилось, знаешь, как Достоевский определял счастье: уединённое сознание силы. А Толстой: полная бездеятельность, но с сознанием выполненного долга.

Ну ладно, пиши, старина. Как живёшь? Осточертело, наверно, всё к чертям собачьим.

P. S. Да, дома конвертов всё нет. Ирка ходит на почту с голыми письмами, там их и подписывает. Вот и сейчас так будет.

07.12.1967

Здравствуй, старик!

Воскресенье нынче, сумерки. Серый такой, жестяной, пронзительный, ветреный, скрипучий день — как ржавая консервная банка. Поутру погуляли с женой по лесу, а потом я бумаги свои в папки раскладывал, которые купил в канцтоварах чинно.

Попадались письма — твои, Генкины. Хорошо излагаете, сукины дети!

У Генки местами этакое старинное витиеватое красноречие. Да и ты тоже хорош гусь. Письма твои лучше рассказов. Живые они. Почему? Может быть, от доверия к аудитории, уверенности, что понято будет? Это важно, иначе выходит коровья жвачка. В одном из писем ты говоришь (хорошо говоришь), что полное, «конечное» понимание между людьми невозможно принципиально. Погибнет человек, на части разорвётся, а в руки другому не дастся. По-моему, это не совсем так. Скрывается не что-то существующее, а отсутствие всего, некое «ничто» души. Ну вот Гёте говорил: «Все мы ходим голыми под нашим платьем». Понимаешь? Обычно предполагается, что открываемое в общении есть производное от каких-то главных основ личности, а в действительности основ этих нет. Или они просто физиология. Это очень страшно — ощущать «конечность» своего я, будто висишь над бездонной пропастью. И в этом мы с трудом сознаёмся себе, а уж другим никогда.

…

Открылся ещё один писатель — Булгаков. Найди 11-й номер «Москвы», 66-й год. «Мастер и Маргарита». Хорошо.

Как и Платонов, в чуланах литературных пребывал. Вот извлекли. А в 1-м за 67-й год «Нового мира» воспоминания Пастернака.

А с выпивкой-то плохи мои дела. Только что не считается — бросил. Открываются странные вещи. Оказывается, можно выпить 200 г и повеселиться. Немного с натугой, правда, но всё-таки. Безнравственно это, конечно. Ты как? Тоже всё больше трезвый? Женщин у тебя в семействе многовато. Хоть и маленькая дочь, а туда же.

Жду весну. Снега тут по ноздри. Если потеплеет резко, поплывём в Каспийское море. Купаться пораньше начну. Первая листва, зелёные холмы, очень тут будет красиво.

Будь здоров, старик. Пиши, пиши и пиши. Оттачивай перо. Елена кричит по ночам? Я в своё время не спал из благородства, а потом плюнул. Убогий.

02.01.1968

Привет!

Пощёлкал 68-й. Что-то уж очень быстро стало идти время, знобит от этого, как на ветру. И уверен — дальше будет хлеще. Точно, чем однообразнее жизнь, тем быстрей она проходит. Как будто отдал дань традиционным размышлениям «на тему»?

Ничего нового, дни подогнаны тесно, словно кирпичи в стене. Перешли на пятидневную неделю, работаем теперь до шести. По-моему — плохо.

Вечерами курю, пью кофий, пишу. А что ещё делать?

Как говорил Ж.-П. Сартр. Серьёзно — что ещё делать? — Февраль. Достать чернил и плакать... Пастернак.

Восхитил меня Манн: «Реальность всегда смертельна». Вот как острят философы!

Позволю себе ещё, а то мучаюсь вторую неделю и некому сказать:

— Он был очень хорош, маршал Ней... Стоял, опираясь на шпагу, и за ним никого.

Насчёт профессионализма ты прав. Комплимент весьма и весьма сомнительный. Есть это, и это всё равно, что обматывать бинтами растущее тело, как китаянки ноги. А что делать? Каждая палка о двух концах.

На днях ухожу в отпуск. Как насчёт командировки у тебя? Хочется потолковать.

Купил байдарку, теперь палатку и спальные мешки присматриваю. Думаю, что тебе это б подошло. Багажом можно куда удобно отправить, в пресловутую Карелию, скажем. А как ещё проводить летний отпуск? И вообще, всё надо исключать, чтоб деться было некуда, кроме одной лазейки. Жизнь от противного. А? Пиши, старина. Убогий.

07.08.1968

Здравствуй, старина!

Нет, нет, да и вспоминаю о твоей «стабилизации». Сложно это очень. Знаешь, как женщины часто пытаются убить в человеке именно то, за что

они его полюбили. Не провести бы эту кастрацию над самим собой. Единственная утрата для человека — уменьшение чувства жизни. А оно зависит от меры противопоставления себя окружающему. Стабилизация снижает эту разность потенциалов, делает жизнь более лёгкой, терпимой, а по существу более незаметной. В крайнем же варианте — почти несуществующей. Впрочем, думаю, что всё это ты понимаешь сам.

Недавно прочитал: «Может быть, главная задача коммунизма — сохранение личности». Вот под эти хоругви я иду.

Социальность? Куда ж от неё денешься? Ты и пришёл к размышлениям о ней, как какой-нибудь больной волк находит целебную травку. Это хорошо. Но от слабости ли ты не можешь её до конца понять и принять? Нет. От силы? Тоже нет. Оттого, что ты личность. А вот Митька Федотов и перед вопросом таким не стоял, он его решил заведомо. Потому что он весь соткан из социальной пряжи данного момента. Не надо, Юр, обжимать себя, расти, как растётся, с самыми необходимыми коррективами. Личность противопоставлена обществу, но это противопоставление формальное. Не будет личностей — всё остановится. Путь такой: формирование, «накопление» личности. Здесь-то и противоречивость, и трудность, толкают, если занимаешь объём. Потом «отдача», работа личности на общество. И отдача, может быть, не только в том, что она производит что-то, но и просто есть. Для окружающих.

Ну ладно. Живу, осень жду. Читать как-то нечего, книги вдруг перевелись. Пишется плохо. Насчёт «ненормальных» людей ты прав. Да ведь, иначе говоря, это просто способность создавать живые характеры. А раз жив — значит, ненормален, т.е. индивидуален, неповторим. Много думаю обо всём этом и скверно. Работаю-то ведь я не на сырьё, а на полуфабрикатах. Хуже этого мало что есть. Хотя участь почти всеобщая. Будь здоров. Пиши. Не забывай же о выпивке. Помнишь: «Пил он быстро, зная, что советская власть не одобряет водки».

Юрий Убогий.

11.10.1968

Здравствуй, старина!

Опять хомут будней. И все думаешь — проходят не дни и годы, и даже не время, а — жизнь.

У Генки я пробыл всего два дня — нужно было срочно отвезти сына в Тим, Ирка вызвала телеграммой. Генка в порядке. Ему и вообще любая женитьба в пользу, а этот вариант далеко не худший. Думаю, что для «стабилизации» необходимо найти, почувствовать пределы себя, и он их, как будто, нащупал. Обещал приехать ко мне в июне, посмотреть. Не исключено, что переедет в Ахлебинино, склоняется вроде к тому. Есть тут и квартира, и работа. Для меня это важно — не был бы уже казанской сиротой. Да и ему полный резон. А то ж это мы все друг от друга шарахаемся, как ты в том рассказе написал. На высоте друг перед другом боимся что ли не оказаться от дружбы слишком большой?

Никак не втянусь в работу. Сидишь, ещё солнце за окном, и таким бредом представляется вся эта писанина. Так оно и идёт: сначала пытаешься что-то познать, а потом с помощью так называемого творчества (чёрт бы его побрал), загородится от того, что увидел. А если и этот заслон просвечивает — под подол к богу или голову в петлю. Все занятия человеческие суть или суета, или попытка затушевать сознание этого той же суетой, творчеством именуемой.

Не успел я тебе сказать и думаю, что это практически важно: ты упорно стараешься принять на себя всю ответственность за всё. Стремишься свести на нет объективные факторы и сделать жизнь самодельной и тем подстраховать себя по возможности на 100 процентов. Это хорошо, но до тех пор, пока не превращается в свою противоположность: из активной позиции человек переходит в некий душевный спазм, судорогу. Нужно всегда ощущать объективные изгибы, струи жизни. Чувство меры здесь — возможно, самое важное в жизни (понимай это широко). А от стремления отвечать за всё до желания ни за что не отвечать — один шаг. Тут возможны вечные прыжки из огня в полымя. Подумай об этом.

Все великие реформаторы (и Маркс, и Ленин) шли в струе истории, а не садили по ней кувалдой. Тем-то и утёрли всем нос.

Ну, будь здоров. Живи бодро и пиши письма своим друзьям. Убогий.

10.09.1968

Здравствуй, старина!

Похмелья что-то тяжёлые стали, даже от сравнительно невинных доз. Мучаюсь сегодня. Скучно пить в компании, и оттого тянет нарезаться в лоск, и изредка бывает это.

Полистал Уитмена. Читать не могу — уверенно кажется, что знаю наперёд всё, что он написать может. «Жаба не менее прекрасна, чем звёзды», — весь он тут. И странно, такой поэт неизбежно должен был появиться. Витающая в воздухе мысль, которая многим могла прийти в голову, и доведённая им до логического конца. Он велик, но игрушечно, бутафорски. И чуть уловимо схоже с Фолкнером, в омертвляющей монументальности, может быть.

Удивлён, что ты заинтересовался Фединым. Читал как-то продолжение его «Костра». Похоже на попытку импотента полюбить женщину, что к тому же вызывает у него отвращение. Но попробую.

Хорошо думается. Только без особой надежды додуматься до чего-нибудь. Вечное «чем дальше в лес, тем больше дров». Но повторю в десятый раз: не так важно для формирования личности иметь правильное мировоззрение, как важно его просто иметь. Старина Гёте лажанул нас, сказав перед смертью о Фаусте: «Это очень серьёзные шуточки». А? А Толстой про «Анну К.»: «Это как барыня офицера полюбила». Вот и учись у них после этого жизнь понимать!

Думал как-то о форме и содержании. Вот если бы был бог (а там кто его знает), то основная его черта — формообразующая сила. Равномерная

материя — ничто. И много тут ассоциаций с искусством. Стремясь освободиться от оков формы (ты правильно сказал), оно стремится к чистому листу бумаги или туманному пятну на полотне. Форма — способ существования содержания, то есть всего сущего. И человека в этом смысле тянет в обе стороны — к фашизму (который, по сути, воинствующий формализм крайней степени), и к растворению, потере формы (алкоголь, самозабвение работы, риска, любовь, вплоть до оргазма, который по сути — аннигиляция личности с привкусом смерти и, наконец, сама смерть).

Как будто неплохо работается. Написал два рассказа за отпуск, хотелось бы прочитать тебе. Я тебе верю. Знаешь, что ты думаешь о моих рассказах, в частности, об «Охоте»: «Хорошие плохие рассказы» — так? И ты прав. Надо работать. Поставить «голос». Да если бы любой 16-летний мог полно и хорошо выразить, что чувствует, кого бы он за пояс не заткнул? Но получаются — сопли. Я как-то подсознательно не берусь пока поднимать «невподъем». Корчи будут одни, да и были. Скажешь-де, порочность тут есть. Возможно, но это мой путь.

Очень советую тебе работать. Хотя бы по принципу: «А что ещё делать?» Он успокаивает, освобождает и подстраховывает от катастроф. Писание как форма духовной жизни. Всё равно ведь думаешь! Куда ж денешься, не кастрироваться же! И главное — без надрыва. Я теперь удовольствие получаю, хоть и тяжко (тьфу, не сглазить). Не пишется, покуриваю, кофий гоняю, опять же мысли всякие. Я уверен, что нам надо писать даже при огромных шансах не стать официально писателями. Ведь проверено жизнью — нечего делать больше (в смысле, деваться некуда).

Генка молчит, представлю иногда, как он там с ней — и жутковато. А, может, и ничего? Мощный же парень, но без приводов к внешнему миру. Мелет сам себя, поедом ест. Вот есть люди как узел, фокус внешних условий. С ясным челом, как Федотов. А вот он — наоборот.

Как бессознательная самовлюблённость нужна. Истинно — полюби сам себя, тогда тебя и люди полюбят. А без этого человек страшен другим, словно укор. Ох, недаром Христа распяли, высшая логика в том. И недаром кумиры толпы часто сволочи. Люди видят в этом позволение иметь недостатки, если большего не сказать. Недаром в народе к пьяницам так снисходительны.

Часто бывает очень скверно — не знаю, как бы в постель ложиться, если б жена не лежала в ней. Без женщины погибель. Мои ежевечерние бдения как-то неизбежно приводят к прорыву в ничто. Сживаться с этим надо, что ли. Интересно, сколько бы лет Хэм обивал пороги наших редакций с «Там где чисто и светло»? До смерти, наверно. В сущности, сейчас с этим играешь, заигрываешь от избытка сил, но ведь станет же оно когда-то как леденящая реальность? В этом высшее мужество художника — аванпост человечества перед пропастью. Неудивительно, что часто пускают пулю в лоб. Всё пожрёт смерть. Но куда ж деваться — не возвернешься уж назад.

Ну ладно, старик, держи хвост морковкой. Пиши.

У Франса: блудницы будут на страшном суде стоять первыми у престола господня за то, что много возлюбили (в физическом смысле). Очень понравилось, обрадовался прямо. Противоречивость религии равнозначна оной в жизни, вот что, проклятье, здорово. Убогий.

11.10.1968

Здравствуй, старина!

С этим переездом в город попал я в дурацкое положение. Дом сдаётся «на днях» уже два месяца. Я по ряду причин перешёл работать в Калугу и езжу туда на работу четвёртую неделю. Конца что-то не видно. Не говоря о маете осенним делом, хуже всего положение между стульями. Писание забросил, и как-то без видимых причин пропала «струя». Остались формальные способности, пробовал на них смастерить кое-что и плюнул. Пугает тяжесть работы, как перед лыжной гонкой предчувствие предельного физического напряжения. Устал я, что ли, за год? Вот ужо отпуск дождусь в ноябре-декабре… Когда у тебя? Может, соорудим недолгий совместный раут? Скажем, Ясная Поляна, Михайловское? Или навестишь меня проездом? Все дороги ведут в Москву.

Страшная вещь — повседневность, сколоченная крепко, без щелей. Знаешь, какая модель пресловутого отчуждения? Человек в клетке: через месяц он будет соприкасаться даже не с её стенами, а лишь с собственными испражнениями. Говоря грубо и с огромной натяжкой — в процессе отчуждения человек начинает питаться дерьмом. Когда закрывается отдушина работы, чувствую, дыбом встаёт вокруг всяческая суета. И уже не вызывает она юношески-чистого вопроса «зачем?», а только думаешь — «какая разница, так или этак?»

«Постороннего» читал. Чем-то напоминает «Смерть — моё ремесло». Отдалённо. Искренний ведь был парень. Без затей, без того, «что полагается чувствовать». Ну, будь здоров. Пиши на Ахлебинино. Убогий.

11.11.1968

Здравствуй, старина!

Третий день праздников — такая это нуда. Выпито было в стиле лучших воронежских выступлений. Но тогда всё было под маркой молодого озорства, теперь же отдаёт жутью. Завязывать надо. Вообще, дела неважные. Полоса безвременья. Сплошное барахтанье. Давно чувствую необходимость каких-то внутренних перемен. Определённость, форма, самоуважение. Быть сразу всем и всяким — значит вообще не быть. Существует только оформленное, ну и ограниченное, разумеется. Не подумай, что это похмельное раскаяние.

С большим удовольствием перечитал 2 тома статей Манна. Одно место оттуда напомнило мне наш разговор в мае, в сквере глухонемых. Ты говорил, что понимаешь положение, так сказать, «противника» (о Томкиной

бабушке шла речь), и это тебя парализует. Так вот: «Нужно иметь большую силу, чтобы жить, понимая, насколько это одно и то же: быть несправедливым и жить». Понимаешь? Какая глубокая мысль! Трудно, почти невозможно, разумом оценивать поступки. Тут нужно какое-то шестое чувство. Что-то похожее на то, как природу, в сущности, не интересует ничего, кроме продолжения рода.

Осень меня доконала с этими поездками по ноздри в грязи. Дом все ещё «на днях» сдаётся. Жаль, что с отпуском так. Может, ты не понял? Я имел в виду самый немудрёный вариант: скажем, если будешь проезжать через Москву, завернуть ко мне на несколько дней. Или вместе совершить 4-х, 5-дневный вояж, скажем, Москва — Новгород — Псков — Москва. По вольной зимней дороге. Не мудрствуя. А нет, так нет, извиняешься зря. Ведь не думаю же я, что ты мне «уважить» не хочешь.

Напоследок вместо анекдота, тоже из Манна: «есть люди, настолько полные обыденности и суетности, что трудно поверить, что они когда-нибудь умрут». А?

Ну, будь здоров. Живи помягче. Пиши. Убогий.

12.11.1968

Здравствуй, старина!

Третий день в новой квартире пытаюсь гвозди в бетонные стены заколачивать. Состояние, как у того диккенсовского героя, который сам себя за волосы со стула поднимал. Бродим с Иркой среди мусора, ошеломлённые бытпроблемами и отсутствием «струмента». Глаза безумные. Периодически она находит очередной изъян и сообщает мне доверительно и с нажимом. Я говорю: «Ага». Наконец, рассказал ей, что даже Фауста ослепила Забота и лёг на диван. А она, сам знаешь, что... Вообще, быт страшная вещь. Смертельно серьёзная. Всегда я знал свою несостоятельность в вопросах практических (понимая широко), и доволен, что мы сюда переехали. И для жены, и для матери надо было соблюсти великий принцип — «не хуже людей».

Здесь как будто неплохо. С одной стороны город, с другой лес. Посмотришь как-нибудь.

Недели две назад был в командировке в Тарусе. На могилу Паустовского сходил. Холмик на краю оврага, без ничего. Видел дом его: небольшой совсем, деревянный, чистый, окна маленькие. Хорошо в таком век доживать. Говорят там о нём разное, и такое: собаку-де, колбасой кормил.

Вот, тоже, думаю, где-то могила Бунина, так, ничего особенного, на соседнюю похожа. Стоило ли всё так близко к сердцу принимать, или, по твоему выражению, смотреть на вещи слишком пристально. Если бог человека создал, то в злую шутку. А если он сам произошёл, то не надо было. Материя, сознающая себя, это какой-то вывих. Хотя подавляющее большинство людей от этой прерогативы сознания благоразумно отказываются, так как сознавать себя в пределах квартиры и конторы значит —

не сознавать. Да, ты прав — работать и работать. Это единственный способ продержаться.

Как ты там жизнь мыкаешь? (От слова мычать.) Подтянутый и сдержанно-нервный? Окружающих тем отпугиваешь? Вот я про себя думаю: отпустить узду, и окажешься весь в соплях, с ног до головы. У многих бодряков оборотная сторона такая. Ну ладно, пока тут дом полупустой, почту не носят, пиши мне: Калуга, главпочтамт, до востребования. Да, есть подписка на антологию мировой философии в 4-х томах, может, соблазнишься? Оно и жутковато, конечно, но я рискну. Будь здоров. Убогий.

5.12.1968

Здравствуй, старина!

Только что дописал рассказ, набит кофеем и никотином, ещё не поздно, решил накропать письмецо, используя, так сказать, запал.

С писанием скверно. Произвожу я на свет рассказы, и неплохие, и никчёмные одновременно. Это худший вариант. И чувствую, что, если идти дальше, они будут, возможно, становиться лучше, но и никчёмнее. Бросить? Страшно и представить себе. Смутно, почти безнадёжно, надеюсь на какой-то поворот, струю, возгонку…

(Продолжение в следующем выпуске.)

Марина Улыбышева

ВОЗДУШНОЕ, НЕУЛОВИМОЕ, КАКИЕ-ТО БЛИКИ...
(Инна Теплова)

Вот начинаешь вспоминать о человеке и думаешь: что остаётся? И получается — ничего такого фундаментального, ничего такого основательного в виде глыбы мрамора, из которого можно отсечь лишнее, и — памятник на века. Наоборот, что-то воздушное, неуловимое, какие-то блики: там блеснёт, там погаснет, а там опять блеснёт…



Инна Теплова

Инна. Красавица. На неё можно было просто смотреть и смотреть, как на реку, как на лес, как на море… Мы удивлялись: откуда такая? Из Питера, говорили нам, из Питера… А вот и не из Питера. Стопроцентная калужанка, уехавшая в своё время в Питер, а потом вернувшаяся домой.

Однажды мы литературной компанией гуляли по Тарусе. Я держала наготове телефон, чтобы фотографировать красивые тарусские пейзажи, да всю «плёнку» на Инну и израсходовала. Глаза серые, как Ока за её спиной, в ушах блестели серёжки — серо-голубые, и я всё ловила блики, блики… Это было красиво.

Не то чтобы мы дружили. Сложно дружить, когда по возрасту ты ей годишься в матери, а она тебе в дочки. Но мы были родные. Тепло обнимались при встрече: от Тепловой, и правда, всегда шло тепло, и всегда она вкусно пахла как цветок или карамелька.

Жаловалась мало, почти никогда.

Помню мы были в Кольцове у Саши Трунина и Оли Клюкиной, веселились, дурачились, разговаривали, пили травяной чай под яблоней, а у неё вдруг началась жуткая аллергия, насморк, слабость, глаза опухли… Знаю я, что это за состояние — врагу не пожелаешь, и видела я, как она осторожно

пыталась с ним справиться, так, чтобы мы не заметили, чтобы не нарушить наш маленький праздник общения… Зато сочувствовала вокруг многим — знакомым и незнакомым, иногда просто какой-то пьяной девчонке-дуре на улице. Сочувствовала людям, сочувствовала кошкам, сочувствовала собакам. Когда началось в двадцать втором, сочувствовала всем подряд. Вот просто не могла остаться равнодушной и принимала всё на себя как удар.



Марина Улыбышева, Инна Теплова и Дмитрий Кузнецов

Девушка на проходной Бехтеревки
возбуждённо шепчет охраннику:
«Помогите. Я, стоя под душем,
осознала, что все мы — жители
огромного круглого кладбища,
носящегося где-то в космосе.
Я не могу справиться с этим знанием.

Не могу оставаться среди покойников.
Проводите меня к лучшему доктору,
ему точно всё это известно.
Уверена, он тоже напуган,
но у него есть таблетки от страха,
и он может справиться с этим знанием.
Проводите меня к лучшему доктору.

Он обязан сейчас же принять меня,
пока я тоже не стала покойницей,
пока чувствую, как это жутко —
лететь на огромном кладбище
в ужасающе тёмном космосе,
не умея забыть это знание,
пока я ещё живая и юная».

Вот! Поняла — у неё не было чувства самосохранения! Ну все мы умеем себя как-то беречь, от чего-то отстраниться, про что-то забыть, на что-то посмотреть трезвым взглядом, мы знаем, что мы хрупкие, так чего ж лететь бабочками на огонь? А она летела, даже понимая, что будет больно.

Кстати, у неё был ещё один талант — она очень хорошо чувствовала музыку и пела. Однажды мы с ней записались в хор. Наш чудесный хормейстер



взяла всех подряд, и кому медведь на ухо наступил, и у кого нет ни слуха, ни голоса. И мы старались и пели. А Инна просто сразу стала звездой: пела сильно, красиво, точно… Потом она даже стала солисткой одной музыкальной группы и сочиняла тексты для авторских песен. А мы ходили на её концерты и аплодировали. Хорошее было время…

Зачем ей было писать стихи, не знаю. Она сама была как поэзия. Но себя совершенно не ценила. Показательное в этом смысле стихотворение — «Звучу».

Послушай меня. Я пустой человек.
Не спеши возражать. Постарайся услышать.
Голос мой — это звон оцинкованной крыши
Под атакой дождя. Он из тех фонотек,
Где хранятся шумы пустотелых предметов,
Когда в них попадает имеющий вес
Посторонний предмет. Голос мой — это где-то
Заплутавшее эхо, словарный регресс.
Я пустой человек и звучу только если
В меня, словно в гулкий объёмный сосуд,
Льются чистые звуки и новые песни.
Послушай меня ещё пару минут…

Ей нужен был другой. Ей казалось, что другой — умнее, лучше, что другой — это и есть содержание, а она только форма. Как она ошибалась, как она ошиблась… Но ведь это так по-женски, так, в целом правильно, только если бы ей чувство самосохранения. Но оно не сработало.

А потом она таяла и таяла, как Снегурочка: меньше звонила, меньше приходила на наши собрания, меньше присылала стихов, да и сама становилась меньше и меньше. Встретила её в январе — удивилась, как похудела, как истончилась… как проявка фотоснимка, только в обратном порядке. Но те же глаза, та же, какая-то стеснительная, улыбка.

— Инна, что с тобой?

— У меня всё прекрасно! У меня — любовь! Такая любовь!!!

— Что ж, я рада за тебя…

И вдруг в феврале двадцать пятого стихотворение:

Я смертельно замёрзла. Ну, знаете ли
Это чувство от окоченевшей земли,
Над которой река подо льдом.
Нынче месяц так холоден и тонкорог,
Это вам не нечаянный в небо плевок,
Это песня моя кверху дном.
Мой язык молчаливый завязан узлом,
Моё русло имеет печальный излом,
На недели года не делю.
Я теперь помолчу и всегда помолчу,
Помню было «звучу», но остыло «звучу»…

Промолчала. Ничего-то мне не сказала. Не договорила, не высказала… Или сама ещё не понимала, что происходит, только стихами почувствовала.

А потом кладбище. И сухая земля. И она, отделившаяся от всех, молчащая, уставшая сочувствовать всем нам и этому миру. Замолчавшая навсегда. Устала, не справилась, не разглядела опасность, сожгла свои крылышки, летя на огонь. Как жаль…

С кем мне теперь обняться на перекрёстке Суворова и Московской возле калужской кофейни «Хочу кофе»?

Владимир Арепьев

ВСПОМИНАЯ ОБУХОВА

Легендой Обухов (так в обиходе звали Владимира Михайловича Обухова) стал ещё при жизни.

Например, откроется выставка в Доме художника, а Обухова нет. Это считалось катастрофой. Можно было смело говорить, что открытия не состоялось, а сама выставка — неинтересная.

А вот ещё случай. Как-то в Калугу с выставкой приехал художник-космист Алексей Константинович Соколов. Обухов пригласил его в мою маленькую мастерскую — попить чаю. И мы, компания (В. Обухов, Г. Табаков,



Владимир Арепьев *(слева)* и Владимир Обухов

М. Мантулин, В. Арепьев), с семи вечера до часу ночи пили именно чай, а не водку. Крепкого чаю было выпито, наверное, «ведра» два. И конечно, главным мотором и смыслом той беседы был Обухов.

Неделей позже я приехал в Дом творчества «Сенеж» для подготовки к международной выставке «Космос на службе мира». Поздно ночью лёг спать, а утром меня разбудил сам Алексей Константинович. В руках у него был гранёный стакан водки.

Наверное, это было что-то вроде мести за нашу прошлую, слишком трезвую встречу в Калуге.

Познакомился с Обуховым осенью 1976 года. Калужский парк залит утренним солнцем. Я шёл со своим этюдником, а на скамейке у дороги сидел молодой Володя Обухов.

Нашу беседу начал он, спросив об этюде. Разговорились. И в какой-то момент он неожиданно попросил: «Покажи-ка правую руку». Взглянул на мозоль от кисти на среднем пальце и улыбнулся: «Видно, что ты с кистью на короткой ноге!» В ответ он показал мне большой мозоль на среднем пальце своей руки. Я всё понял без слов — печать настоящей работы.

В 1979 году А. П. Шубин организовал в Обнинске выставку трёх молодых калужских художников, среди которых был и я. А вскоре после этого я сам выступил организатором уже более масштабной выставки — семи художников — в Калуге.

Именно после этих событий Владимир Михайлович стал пристальнее присматриваться ко мне: и к моим картинам с этюдами, и, думаю, к моим организаторским способностям.

В это время из Клайпеды приехал П. П. Козьмин, который предложил организовать выставку авангардного искусства. Но в СССР это было крайне проблематично. Тогда мы решили замаскировать её под производственную тематику. Так родилась выставка «Индустрия — Искусство».

У неё было несколько ключевых особенностей:

1. Анонимность: на этикетках под работами не было фамилий авторов, только порядковые номера.

2. Формат: все работы были выполнены в модульном формате (М19).

3. Концепция: все тексты и логическое обоснование проекта принадлежали Владимиру Михайловичу Обухову.

В 1987 году в Калуге состоялась «Экспериментальная выставка космического искусства».

Её главной и революционной особенностью стал строгий запрет на привычную космическую иконографию: никаких космонавтов, ракет, станций или космодромов. Вместо этого художники исследовали идею о том, что космос — вокруг нас. Он растворён в каждом предмете быта, в структуре материи, в самом восприятии мира. Это был взгляд на космос не как на внешнее пространство для покорения, а как на внутреннее свойство всего сущего.

Как и прежде, все программные тексты и философское обоснование проекта принадлежали Владимиру Михайловичу Обухову.

1990–2003 годы. Калуга, Тула. Целая эпоха, отмеченная серией выставок «Контравангард» — с первой по десятую.

Калужские художники пытались сформировать новое течение в искусстве. При этом само понятие «Контравангард» каждый из нас понимал по-своему, что и было, вероятно, главной творческой силой и внутренним противоречием движения.

После десятой выставки, кажется, накопившиеся разногласия вылились в открытый спор с Владимиром Михайловичем. Он заявил, что забирает у нас это слово. Мы ответили: «Не отдадим!»

…И в конце концов помирились. Так и остались мы вместе — а слово КОНТРАВАНГАРД не пригодилось, осталось в прошлом.

Тут Владимир Михайлович предложил сделать акцент на Академии аналитического искусства (АКАНИС), которую он организовал из калужских художников-контравангардистов. Так мы, можно сказать, стали академиками. Выбрали президента (П. П. Козьмин) и вице-президента (В. М. Обухов). И всё бы ничего, но, как это часто бывает в жизни, начались странности. Некоторых академиков — меня, например — стали то забывать приглашать на выставки, то вновь приглашать, то опять забывать. C'est La Vie, как говорится.

Но главное — несмотря на эти организационные зигзаги, Владимир Михайлович Обухов по-прежнему оставался сердцем и мозгом всего дела. Он беспрестанно разрабатывал новые концепции и формировал глубокое теоретическое обоснование для программ этих выставок.

Вспоминая Владимира Михайловича Обухова, невольно задаёшься вопросом: что можно сказать о нём сейчас, когда память ещё свежа и кажется, будто он вот-вот войдёт в дверь, поздоровается и скажет самое важное — о настоящем?

Но что же искал он сам в своей многогранной деятельности — искусствоведа, художника, поэта, литератора, математика? Думается, вся его жизнь была подобна клубку, сотканному из нитей идей. Клубку, который не переставал расти, захватывая новые смыслы.

Он жил, осмысливая прошлое, вглядываясь в настоящее и намечая пути в будущее. Реализуя одну идею, он тут же рождал несколько новых — и так до бесконечности. Однажды на заседании художников АКАНИС от сделал доклад по математике. Суть его была кажется в том, что можно складывать (нули). Далее он запротоколировал его, и мы подписали, что прослушали доклад и подтвердили дату и время.

Лучшим свидетельством тому служат его книги, статьи, полотна и наши долгие частные беседы, где любая мысль могла стать началом нового поиска.

Понимая ценность его мыслей, я пытался записывать его выступления на открытии выставок, наши разговоры на диктофон, чтобы потом передавать записи ему. Но я не журналист, и получалось у меня некачественно — шумы, обрывки фраз. Всегда думал: «В следующий раз постараюсь лучше».

Теперь же сожалею, что не проявил тогда должной настойчивости. Кажется, этот бриллиантовый пласт его суждений — о настоящем калужском искусстве, о художниках, о времени — утерян безвозвратно.

Из истории известно, что большие таланты часто бывают одарены в разных искусствах: поэзии, музыке, живописи. Но у В. М., кажется, музыкального слуха не было.

Как-то раз, следуя обычаю, заведённому не нами, устроили мы посиделки. Это были 80-е годы XX века. В магазинах — пусто. Вино (по-мужицки — «керосин») продавалось в трёхлитровых банках. Купив пару таких банок, мы засели в мастерской… Пили и пели популярные застольные песни.

И всё время чей-то голос упрямо и громко звучал невпопад. Когда этот голос окончательно выбился из общего строя, кто-то из компании (кажется, Валерий Борисов) возмущённо произнёс: «Кто там мешает петь?!»

Этим «кто» оказался Володя.

Обухов говорил о нашем искусстве серьёзными, порой трудными словами. Приходилось переспрашивать, вникать в его смыслы. И мы верили его словам. А главное — начинали верить, что калужское искусство есть, и находится оно в достойном ряду российского искусства.

Он открывал нас самих — внутри нас самих. Его анализ и осмысление того, что мы создавали, никогда не были скоротечным фоном. Он тщательно готовился к каждому выступлению, потому что для него было невозможно говорить «просто ни о чём». Он хотел что-то увидеть в нас. Или даже — открыть.

И что ещё важно: Обухов сам часто брал в руки кисть и как настоящий мастер воплощал свои идеи на холсте. Поэтому его суждения об искусстве были проверены практикой, а не просто набором заученных фраз.

Да, Обухов всегда писал и говорил со знанием дела. Его влияние на моё творчество было огромным.

Помню, в 90-х он увидел мою картину «Параллельный мир», написанную для космической выставки в Калуге. И вместо простой оценки он дал совет, который стал для меня стратегией: «Напиши серию. Чтобы понять и убедить себя в том, что нашёл интересную идею».

Он тогда привёл слова Льва Толстого об «энергии заблуждения». Суть была в том, чтобы писать и верить — верить, что ты видишь и мыслишь космическими мерками.

Что я и сделал.

Однажды, рассматривая мою работу и слушая объяснения её концепции, он сказал: «Никому не говори концепцию своих картин. Во-первых, живопись очень трудно описывать словами. Во-вторых, слова имеют множество смыслов. И главное — картина должна говорить своей пластикой».

Этот урок я запомнил.

Вскоре я показал ему новый натюрморт — «И жизнь становится стихами» (2022, х/м).

Он посмотрел и спросил:

«Что ты хотел сказать?»

Я ответил:

«Но ты же советовал не говорить концепцию. Не могу сказать».

Он настаивал:

«Но мне-то скажи».

Я стоял на своём:

«Нет — и есть нет».

Кажется, он в тот момент немного расстроился.

Очень интересный момент нашего общения возник, когда мы готовили буклет к выставке «В.О.В.А.» (1996).

Сначала я предложил сфотографироваться как будто мы бодаемся лбами — в шутливой, почти дружеской схватке. Володя эту идею решительно отверг.

Но когда родилась другая мысль — воспроизвести композицию фрески Микеланджело «Сотворение Адама», где Бог касается руки человека, — Владимир Михайлович сразу и с очевидным интересом согласился.

(Мне, конечно, понятно, кто в этой композиции был Богом, а кто — Адамом.)

Один из своих натюрмортов я хотел назвать «И жизнь становится музыкой», переиначив строчку из обуховского стихотворения: «И жизнь становится стихами».

Я поделился с ним этой идеей. И он не просто согласился — он с увлечением взялся её развивать. Начал рассуждать о том, что его строка более выразительна, пожалуй, даже вернее и жизненнее. Что для картины, для живописи — это более точное и подходящее имя.

Ещё один пример его умения видеть в картине самую суть замысла и техники.

Рассматривая работу «Родные воспоминания» (2024, х/м, 80×70), написанную с натуры в маленьком деревенском доме, он сказал: «Во всём здесь присутствует какая-то механичность приёма».

Я был поражён. Он попал в точку. Условия были стеснёнными: крошечные окна, слабое освещение холста, невозможность отойти, чтобы увидеть работу целиком. Всё это невольно заставляло писать «от детали к детали», как бы на ощупь.

Его замечание привело меня к важной мысли: можно принять эту «механичность» как условие задачи и рисовать осознанно-ритмично, подобно работе мотора, но держа в голове общую композицию и цель.

Это открыло для меня новый технический вариант в рамках реалистической живописи — не бороться с обстоятельствами, а включить их в метод.

Искусствоведение, живопись, скульптура, графика, ДПИ, архитектура, поэзия, проза — всё это было важно для Калуги. И всё это жило в нём.

Существовало в его личном клубке-шаре знаний, связей, идей и оценок. Этот шар, этот цельный мир, сплетённый из нитей всего калужского искусства, неудержимо разрастался до последних его дней.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ

Марина Улыбышева
Не стреляйте в пианиста… *Стихи* 4

Евгения Киселева
Руки в земле и в небе *Рассказ* 7

Александр Климов-Южин
Мы все влекомы поиском родства *Стихи* 12

Андрей Убогий
Золушка из Мещовска (святочная история в семи картинах) 17

Анна Бахаева
Вещее вино *Стихи*. 29

Ольга Шилова
Имена на конверте *Стихи*. 31

Сергей Михеенков
Хрол *Рассказ* 34

Наталия Елизарова
Это просто февраль… *Стихи* 44

Вячеслав Некрасов
Было смешно и больно *Короткая проза* 48

Иван Макаров
Новые слёзы старого крокодила *Стихи* 62

Ольга Клюкина
Страна Ольговка *Неопубликованная страница из Википедии* 67

Алексей Жемчужников
Золотые горошины *Стихи* 78

Вадим Шевяков
От меня останется датасет *Стихи*. 82

Юрий Холопов
Однажды осенью… *Рассказ* 86

Ольга Ерёмина
Ветер на Оке *Стихи* 90

Александр Зорькин
Время «вдвоём» *(Стихи для Галины)*. 93

Юлия Рахаева
Лестница *Рассказ* 95

Дарья Вавилова
Мягкий свет *Стихи* 110

Игорь Красовский
Из точки *Стихи* 112

Александр Муленко
Пашкины лоси *Рассказ из повести «Наша пропадала везде»* 115

Валентина Курицина
Сады стихами говорят *Стихи* 120

Максим Крайнов
Художник *Цикл стихотворений* 122

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

Георгий Куликов
Ход чёрной королевы 125

НАШИ СОСЕДИ – ОРЁЛ

Валерий Анишкин
Художник Митя *Рассказ* 148

Анастасия Агошкова
…Ещё не выпали снега *Стихи* 152

Дмитрий Порушкевич
…Не сдерживай порыв *Стихи* 155

Геннадий Майоров
Студентка Рассказ 157

Ольга Аристарина
Белые сказки *Стихи* 170

СЛОВО, ИСКУССТВО, СУДЬБА

Сергей Михеенков
Николай Полунин: «Я сгорел не дотла…» *(из книги «Писательская рота»)* . . . 174

Андрей Убогий
Калужская лирическая школа *(наброски к ненаписанной книге)* 182

Владимир Лущиков
Поэт и Наталья Гончарова 220

Юрий Холопов
Второе прочтенье судьбы *(биографический очерк)* 229

Алексей Мельников
Притяжение Оки *Борис Зайцев и Юрий Казаков* 248

Виктор Боченков
«О земляки! Мне вечно славить их…» *Валентин Алексеевич Волков: первые шаги в литературу* 251

ЭПИСТОЛЯРИЙ

Юрий Убогий
Письма Гребню 266

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Марина Улыбышева
Воздушное, неуловимое, какие-то блики… *(Инна Теплова)* 326

Владимир Арепьев
Вспоминая Обухова 329

ОБЛАКА

Калужский литературный альманах

Выпуск 9

В оформлении обложки использованы фрагменты картин
Владимира Обухова «Русь» (1993) и «Крым. Воспоминание» (1992)

Редактор-составитель *А. В. Трунин*
Художественный редактор *М. А. Улыбышева*
Компьютерная вёрстка *С. И. Захаров*
Корректор *Н. Г. Любомудрова*

Издатель Захаров С. И. («СерНа»)
Тел. +7(910)914-95-30, e-mail: sergei-zah@mail.ru

Подписано в печать 06.06.2026. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объём 21 п. л.
Тираж 500 экз. Зак. 53

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
248025, г. Калуга, ул. Кирпичного завода МПС, 9.
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99
Тел. (4842) 77-00-75